

София Прегель

МОЕ ДЕТСТВО

Том II



34.

Гости собираются уходить, но мне как-то не по себе. Я съела большое количество печенья, похожего на пастилу. Оно называется зефир и, действительно, легче воздуха. Когда пришел Вова, не оставалось ни одной зефиринки. Он был возмущен и предсказал, что у меня будет болеть живот. Про других он не заикнулся, ему не позволили правила приличия, но он так посмотрел на Борю и на Женю, что они почувствовали себя провинившимися младенцами. На самом деле они к зефиру не притронулись.

В общем справедливости нет. Почему же столько книг говорят о пороке, который должен быть наказан? Правда в конце книги: сначала герои страдают, а на последней странице выясняется, что они будут за это вознаграждены. Чаще всего они женятся. Но разве женитьба — счистливый конец? Мама Бори Гаевского совсем не счастлива и каждый день хочет выброситься из окна или лечь под поезд. Это я знаю от Бори. Он признался мне, что следит за своей матерью, чтоб она не сделала непоправимого. Он так и сказал: матерью. А непоправимое означает смерть. Остальное, по его мнению, поправимо. Мне страшно подумать, что можно следить за своими родителями. Мне всегда твердили, что родители должны следить за детьми.

За нами, слава Богу, не ходят по пятам. Вова

говорит, что у нас все построено на доверии. Зато у близнецов — сплошное недоверие. Их папа роется в ящиках и ищет прокламации. Один раз он нашел резиновую печатку и орал, что это подпольная типография, что их всех сошлют на край света, куда Макар телят не гонял. Зато сын артиста свободен, как ветер. Отцу не до него: за ним гоняются кредиторы, а он убегает от них. Кредиторы, что за непонятное слово! Вова меня успокаивает, ничего непонятного нет, это просто люди, которым он задолжал много денег. В таком случае его могут посадить в долговую тюрьму, как мистера Доррита, эсквайра. Вова начинает сердиться, при чем тут Диккенс. В Одессе нет долговых тюрем. Не стоит портить себе кровь. Он как-нибудь устроится, не маленький.

Меня удивляет вовино равнодушие, по-моему оно напускное. Он, видно, не хочет, чтоб я занималась жизнью его товарищей. Но он сам мне рассказывает про близнецов, про Андрокардато и еще про одного мальчика. У него под носом капелька. Вова говорит, что это стыд и срам. Мне почему-то жалко мальчика, его, наверное, обижают. Я хотела бы подарить ему полдюжины носовых платков, но Вова смеется: дело не в платках, у него хронический насморк. У дедушки тоже хронический насморк, но у него капелька не висит. Он так громко сморкается, что однажды задул свечу. А мальчик не смеет высморкаться, он запуган. Вова говорит, что это чепуха на постном масле, вовсе он не запуган, он порядочный нахал и ябеда. Еще в первом классе ему кричали: «Доносчик-извозчик!». Но я продолжаю вступаться за незнакомого мальчика: он доносит потому, что хочет наказать товарищей за то, что они его травят. Это месть. Она неблагородная, но надо его понять и подружиться с ним, несмотря на капельку. Вова обещает сосватать меня с этим капельным мальчи-

ком, чтоб у наших будущих детей тоже были капельки под носом, а сейчас он хочет вызвать близнецов. «Алло, алло», — кричит Вова и в ответ на это в телефоне начинается какой-то странный свист.

У меня в комнате полная тишина. Только изредка, неизвестно откуда, долетает знаменитая сонатина Шпиндлера. Неужели во всей музыке нет других, более приятных сонатин? Почему учительницы музыки помешались на Шпиндлере и на этюдах Черни! Я бы хотела играть вальсы Шопена, но не так, как Матя. У нее они слишком скучные и неграциозные. Когда Матя играет, мне за нее обидно. Она потратила столько труда, а ноты не склеиваются и каждая из них, как обрубок. Нельзя топтаться на месте. Надо, чтоб вальс кружился. Я никогда не сумею играть так, как мне хочется. Поэтому не стоит мучить себя маршами и баркароллами в переложении для юных музыкантов. Но мама не уступает. Мадам Трейн наговорила ей много лишнего про мою замечательную руку, и она верит, что когда-нибудь я поступлю на средний курс консерватории. Это зависит исключительно от меня. «Ха-ха-ха!» — это я смеюсь про себя, если б от меня зависело, я давно бы кончила консерваторию с золотой медалью, как одна знакомая Мати. Никто ее в глаза не видел, но она существует и даже сняла комнату на Херсонской улице.

Завтра у меня трудный день: пять уроков в гимназии, мадам Трейн и Хейфец. Вчера он был у нас с визитом. Хейфец боится, что за лето я все успела перезабыть. Он не так далек от правды. На даче мне было не до спряжений. А наш Хейфец очень похорошел. Может быть, он влюблен? Хочу себе представить, как он ухаживает. Наверно, говорит все время о своей карьере дипломата, а его будущая невеста тает от восторга. Действительно, понедельник — тя-

желый день. Геня меня предупредила. Но пока воскресенье еще не кончилось и нечего забегать вперед. Постараюсь стащить со стола несколько миндальных печений. Я грызу их в постели, а ночью просыпаюсь от того, что миндалинки врезались мне в ногу. Вова не верит, что можно проснуться из-за какой-то миндалинки. Он называет меня: «принцесса на горошине». Вова мог бы спать на целом миндальном торте и ничего бы с ним не случилось.

У меня нет мужской выносливости, но я не такая трусиха, какой меня хотят изобразить. Когда мне рвали зуб, я приоткрыла глаза, чтоб посмотреть на щипцы, и ничего, не упала в обморок, как мамина кузина Маня. Вова издевался: зуб молочный и его можно было удалить домашним способом — обмотать ниткой, а другой конец нитки привязать к дверям. Потом одним рывком открыть дверь и трах, зуб выскочил бы, как живой. Это только так говорится, когда речь идет о чужих зубах. А сами небось ходят к зубному врачу и ждут у него в приемной. Вова прочел уже все журналы со столика между двумя креслами. Журналы всегда одни и те же. С годами они начали разваливаться. С ним ждет пожилой человек с флюсом и маленькая девочка. Ее приводит бабушка, а у нее ни одного зуба. Как бы я хотела иметь бабушку, пусть старенькую и беззубую! Она бы говорила про мою маму, какой она была чудной девочкой, какой хозяйственной, а какая у нее была коса...

Папа по дороге на завод рассказал мне, что он был когда-то большим театралом. Он часами ходил вокруг сарая, где помещался Летний театр. Наконец, над ним сжалился пожарный, и он вместе с ним из-за кулис смотрел на представление. Родители, упаси Боже, не должны были об этом знать. Их заел бы дедушка с бабушкиной стороны. Он не признавал теат-

ров и тому подобного неприличия. Правда, у них в городе не было постоянной труппы. А приезжие артисты жили в гостинице. Иногда театр лопался и нечем было заплатить за комнаты. Тогда они уходили домой по шпалам. Это значит, что у них не было денег на билет, и они ехали, как зайцы, под скамейкой, или шли пешком вдоль полотна железной дороги. Папа говорит, что жители его городка были люди темные и не ценили театр. Я уже съела по крайней мере десять миндальных рогаликов и все не могу заснуть, я думаю о театре, как там дуло из всех щелей и каждую минуту от ветра потухали керосиновые лампы. И мой бедный папа, совсем маленький, стоял рядом с огромным пожарным и ему казалось, что он в раю.

А мы не только сидим в ложах и в первом ряду амфитеатра, мы еще ходим в антрактах в буфет, и Вова съедает сразу три бутерброда с красной икрой. Дома он критикует кетовую икру, а в театре у него разыгрывается невероятный аппетит. Сын артиста говорит, что это от переживаний. Театр меня тоже потрясает, но я так взволнована, что не могу смотреть на бутерброды. Я иду в буфет, чтоб не прослыть эфирным созданьем. Там я беру с блюда последнее пирожное: наполеон. Оно течет и поэтому никто им не соблазнился. Я приношу себя в жертву. Конечно, таких вещей нельзя говорить, меня поднимут на ура. Как это непохоже на папин театр, деревянный сарай, где скамейки вместо кресел и билеты проверяет кто-нибудь из труппы. Интересно знать, какие там были декорации! В театре на Большом Фонтане дверь сама открывалась, и окна сами закрывались. У главного артиста из-под черного парика виднелись седые волосы. А по пьесе он был молодым испанцем.

Сын артиста говорит, что это условность. Можно, вообще, играть без декораций, в сукнах. Когда я под-

расту, он поведет меня на такой спектакль! Но ведь мы «Стрекозу и муравья» тоже играли без декораций, и никто не заметил. Муравей-мельник должен был выйти из своей старой мельницы, а он выходил из-за портьеры. А стрекоза прямо из публики. Я так увлеклась театром, что забыла приготовить книги на завтра. Ничего, успеется. Пока будут поджаривать яичницу я набросаю в сумку, а в гимназии разберу. Все равно, как бы я их ни укладывала, никто не поверит в мою аккуратность. Все знают, что я рассеянная, и приводят мне в пример разных девочек, которые стирают пыль с безделушек и складывают белье правильными стопками. Свою плохую репутацию я буду поддерживать. Это удобно. Можно читать толстые книги в то время, как другие помогают по хозяйству.

Вова сказал, что для меня самое главное — объем. Он прав, тоненькие книги я читаю редко и то, если это Чехов. В толстую книгу можно погрузиться с головой и читать до тех пор, пока не начнуть звать: сначала ласково, а потом с возмущением. Но и эти книги кончаются там, где должны были бы начаться. Пусть герои думают за себя, автору с ними больше не по пути. Я пробовала присочинить новый конец к «Домби и сыну» и получилось хуже, чем у Диккенса. Надо иметь дарование, без этого самая большая правда кажется детской выдумкой. Сейчас я вытаскиваю из-под одеяла толстого Марка Твена, чтоб немного почитать перед сном. Взрослые без этого не могут заснуть, а дети должны почему-то засыпать немедленно: положила голову на подушку и готово. На самом деле мне тоже необходимо читать в постели, без этого день как-то незакончен. Скоро потушат свет и я тороплюсь дочитать про Одессу. Марк Твен молодец, он был в Одессе. Она ему понравилась.

Там прекрасное мороженое и весь город напоминает шахматную доску, заблудиться невозможно.

Это было очень давно, до того, что родились папа и мама. С тех пор Одесса успела похорошеть и ее называют «южной Пальмирой!». Но над одесситами любят подтрунивать, потому что они говорят «две большие разницы». Не вижу тут ничего дурного, Две разницы больше, чем одна, это ясно даже маленькому ребенку, вроде нашей Кати. «Набитый битками трамвай» тоже звучит не так плохо, как хотелось бы критикам. Они воображают себя москвичами. В Москве будто бы говорят на настоящем русском языке. Там, где у нас о, у них а. Все это я знаю от Вовы, а он от сестры близнецов, Тиночки. Она поступила в Театральную школу, и Вова уже был на одном их спектакле, где все, кроме Тиночки, играли, как жалкие ученики. Но Вова пристрастен к Тиночке, это его старая любовь. У нее глаза голубой сиамской кошки. Ничего сиамского я в них не заметила, но молчу. Вова не верит в мое молчание и начинает горячиться. Ни у кого нет таких лучистых глаз. То, что они немного на выкате, придает им невыразимую прелесть. Она не такая уж невыразимая, если он говорит об этом пять минут подряд. Я не хочу быть скептиком, как Боря Геавский, и готова восхищаться Тиночкой, но ничего не получается. Чтоб доставить Вове удовольствие, прошу его взять меня на ученический спектакль. Не тут то было, он вовсе не собирается меня приглашать, это не то, что театр, там все свои.

Но откуда такой треск? Оказывается, я заснула и Марк Твен упал на пол. Сейчас прибегут мама, Людмила, Матя и начнется разговор о том, что я могу ослепнуть. Я порчу себе здоровье. Мне станет неловко, все мы знаем, что никто еще не ослеп от того, что читал в постели. А здоровье... Библиотеч-

ный мальчик, брат эфиопа, говорит, что книги дезинфецируют. Я думаю, он врет. Дезинфекция бывает после кори и скарлатины. Я хотела бы знать, как поступают с книгами во французской библиотеке, куда меня раз в неделю водит наша мадмазель. Я встречала там только дам в цветных вуальках. У одной был рот, как у вурдалака. По дороге мадмазель сказала мне, что это неприличная особа. Другая на месте бровей нарисовала два вопросительных знака. Они неодинаковые. У нее, наверно, плохой глазомер. Книги во французской библиотеке выдает мальчик в узких штанах. Дамы просят, чтоб он дал что-нибудь интересное, и он с умным видом рекомендует им романы в желтой обложке и другие — с иллюстрациями. Остальных они не читают. Даме с пуховым боа он предложил путешествие, и она так затрясла головой, что я испугалась: сейчас посыпятся мелкие-мелкие пушинки. Очень хорошая библиотека, я советую всем туда записаться, даже если они не говорят по-французски. Но в мою комнату никто не приходит. Я разоспалась. А бедный Марк Твен лежит на холодном полу.

С книгами нельзя так обращаться, я это прекрасно знаю, но нет сил оторвать голову от подушки. Наша библиотекарша хочет вывесить записки: «Берегите книги», «Книга — светоч знания» и несколько других, в том же роде. Васса спросила, нужно ли беречь книгу «Серебряные коньки» так же, как Пушкина или «Мертвые души»? Библиотекарша рассердилась. Книга есть книга. Конечно, Пушкин гений и наша гордость, но и «Серебряные коньки» неплохая книга. Главное, относиться с уважением к печатному слову: не перелистывать жирными пальцами и не делать ушей, то есть не загибать страниц. Для этого существуют закладки. В библиотечном шкафу такой порядок, что мне становится неловко. И книги рас-

ставлены не по росту, как в других шкафах, а по содержанию.

Я просыпаюсь от стука. Подхожу к окну и сквозь ставни вижу, как дождь метет улицу. Какая-то женщина перебегает через дорогу. Она в шлепанцах. Юбки она подобрала так, что просвечивают колени. Сейчас она потеряет один шлепанец, и он поплывет по мутной воде. Неужели придется пропустить гимназию? Нет, из-за дождя не пропускают. Юзя даст мне мамин зонтик. Мой совсем маленький и моментально промокнет. Покуда я умываюсь, гремит гром. Закрыли все окна и дверь на балкон, чтоб не попала молния. Она может убить, о таких случаях писали в газете. Нужно только, чтоб завтра не было дождя: мы идем в порт. Нам обещали показать пароход Добровольного флота, от капитанского мостика до трюма. Вова изучил все пароходы Ропита, есть такое общество. Если б у него не было планов на будущее, он стал бы пароходным доктором. Вова может показывать Одесский порт иностранцам, так думают близнецы, а они не очень любят делать комплименты. Близнецы режут правду-матку. Это значит, что они говорят неприятные вещи. По их мнению правда должна быть неприятной.

35.

Когда мы выходим из парадного, дождь начинает утихать, но на улице еще много луж. Промчался трамвай и после этого к небу поднимается целый фонтан. Вдруг над типографией Фесенко я вижу радугу. Ага, дождя больше не будет! А насчет радуги можно поговорить с Вассой. Но она должна отойти на задний план. Иначе Ася опять надуется и этому не будет конца. Я боюсь встречи с Вассой. Она подойдет ко мне, как ни в чем не бывало, а я обдам ее холодом. Как поступить? Я не умею быть недотрогой. И потом она не заслужила такой несправедливости. Тем более, что приемная мать без конца повторяет, что она нехороша собой. А это хуже, чем некрасивая. Я не должна была уступить Асе, она собственница. Борю Гаевского она мне прощает, но с трудом. Он мальчик. К мальчикам и мужчинам Ася относится как к высшим существам. Она готова страдать от мужского непостоянства, потому что это наша участь. Так сказала ее мама тете Ивсе. Тетя плакала, она не желает страдать из-за фабриканта кожаных изделий, которого ей навязали в мужья. Ася думает, что тетя Ився неправа. Она обязана страдать молча, как полагается женщине.

По случаю дождя мы едем на извозчике. Сначала я отвожу Вову, и он сует мне в руку двадцать копеек, остальное я доложу из своих средств. Извозчик

не особенно доволен: это не один, а два конца. У него недовольная спина, как будто мы его обжуливаем. Приходится дать ему лишний гривенник. Он даже не благодарит, а что-то буркает. В дверях я сталкиваюсь с учительницей русского языка, Надеждой Игнатьевной. Она спрашивает, почему я на извозчике? Что за распущенность. В ее время на извозчиках не ездили. Я не возражаю. Ее время было очень, очень давно, а тогда все ходили пешком. Кроме того, Надежда Игнатьевна с детства готовилась в учительницы и должна была подавать пример. А может быть ее считали отчаянной шалуньей и спорщицей и теперь она почему-то прикидывается совершенством, как все взрослые. Они говорят, что прежде дети сидели у себя в детской и с утра до вечера готовили уроки. Это похоже на выдумку наших мадмазель, они хотели бы, чтоб никто не мешал им читать роман «Влюбленная дружба». Название перевела я. По-французские он называется «Амитье амурез». Я уверена, что доисторические дети тоже шалили. И если они не устроили пожара, то потому только, что не было спичек. И кажется не было огня, его нашли позже.

Сегодня у нас в классе все нервные и раздражительные. Дочка доктора кричит, что пропал ее главный карандаш Фабера и резинка, ей подсунули другую. На ее резинке слон был с поднятым хоботом, а на этой он с опущенным. Какой ужас, ничего нельзя приносить в класс! У Тони Калиниченко пропало колечко без камешка, оно нашлось, и Тоня была страшно довольна, колечко ей подарили на Кавказе. Она нам уши прожужжала своим Кавказом. Подумаешь, я знаю девочку, которая была в Сибири. Это наш Топсик. По фамилии ее никто не называет. Она говорит, что в Сибири ничего особенного нет. Они ехали, ехали, и она думала, что они никогда не приедут. Ей показалось, что она родилась в вагоне и в

этом вагоне будет до самой смерти. В конце добрались до Одессы, и она поступила к нам в гимназию. Учится Топсик плохо, но ей все прощают. Она сказала, что Одесса вовсе не юг, она здесь отморозила себе пальцы. Я безумно обиделась — как это не юг! У нас есть даже маслины, хотя они не вызревают и олеандры в кадках и пальмы. Насчет пальм я перехватила. Пальмы только в гостиных и в фойе Городского театра. Оказывается, в Сибири тоже есть пальмы и олеандры. Но у них нет порта. Завтра мы идем в порт. С нами учитель старших классов, Афанасий Афанасьевич и две учительницы, неизвестно какие. Афанасий Афанасьевич уже водил учениц шестого класса на Куликово поле, он показывал им небесные светила. Это его конек.

Шестиклассницы влюблены в Афанасия Афанасьевича: у него длинные как у обезьяны, руки, а лицо сильное и волевое. Они смотрели вверх и чуть не свернули себе шею. Только одна шестиклассница с тройной фамилией громко раскусывала конфеты и еще угощала других. Она до того забылась, что поднесла к носу Афанасия Афанасьевича коробочку с монпасье Ландрина. Он пришел в ярость и сказал, что ей не понять красоты звездного неба. В порту Афанасий Афанасьевич немного теряется. Это не его область. Вблизи все казалось огромным. Мы с Асей, конечно, отстали. Я хотела посмотреть на дубки, на которых привозят монастырские арбузы и дыни, очень маленькие. Их продают на базаре по копейке штука. Тут лежали горы таких дынь и арбузов. У берега плавали арбузные корки, на них не было никакой мякоти. Ее съели до основания, и корки были с одной стороны белые, а с другой темно-зеленые. Я подошла совсем близко к воде, и Ася испугалась. Она схватила меня за юбку. Я увидела, что она волнуется и от раскаяния чуть не упала в грязную пену

у самого берега. Как я могла критиковать мою лучшую подругу! Она в сто раз добрее и благороднее меня. Я не стою ее волнения. К счастью, я ничего не сказала, потому что Ася сразу переменила тон на деловой: если б я упала в воду, у нее были бы неприятности.

На пароходе мне больше всего понравилась капитанская рубка и салон, где все обито малиновым бархатом. Там стояло пианино и мне пришло в голову попробовать такое ли оно, как все пианино на свете. Кто-то опередил меня и приподнял лакированную крышку: «Чижик-пыжик, где ты был...» Но одна из учительниц, не нашего класса, закричала истерическим голосом: «Дети, не смейте прикасаться к чужому инструменту!». И мы отскочили, как ужаленные. Потом мы гуляли по волнорезу, где человек, похожий на грузчика, кормил голубей. При виде нас голуби сделали п-ш-ш-ш, зашелестели крыльями и поднялись на воздух. Тогда Афанасий Афанасьевич стал в позу и начал говорить о земном притяжении. Это не для второклассниц, к нам он и не обращался, мы его не интересуем.

Из порта мы вернулись в гимназию на урок французского. Мадам Тюрбо, Антуанетта Фердинандовна, объявила, что будет рассказывать про Жанну д'Арк. Я поднимаю руку: «Жанна д'Арк родилась в Домреми, она была пастушкой и слышала голоса». Мадам Тюрбо очень довольна. Но откуда я это знаю? Я хотела уже похвастать Наполеоном Бонапартом, но мне стало неловко. У нас в классе не любят всезнаек. Что было бы, если б я призналась, что тоже слышала голоса. Это случилось на даче, на Среднем Фонтане. Я сидела на главной аллее, было очень жарко и дачники прятались по комнатам. Вдруг я услышала, что меня кто-то позвал, сначала тихо, потом погромче. Оглянулась — никого не было, кроме собаки садов-

ника. А собаки, как известно, не говорят на человеческом языке.

Вова думает, что в природе есть много странных феноменов. Когда-нибудь он это обследует. После того, как он и Ланя налили бензин в подсвечник и чуть не взорвали весь дом, он опытов больше не делал. Ему неинтересно работать в ванной комнате, он хотел бы иметь научную лабораторию. Домой я возвращаюсь в веселом настроении: я была на самом большом пароходе. Некоторые ученицы боялись, что он отчалит! Это трусихи, их пугает дверной скрип. А ночью им мерещатся всякие ужасы. Вова говорит, что надо быть готовым ко всему. Если б в окно влез Арсен Люпен в черной полумаске, он и то бы не испугался. Через несколько минут они стали бы друзьями, и Арсен Люпен ничего бы у Вовы не взял, даже фотографического аппарата. Наоборот, он подарил бы ему кольцо графа Альмавивы, с невероятно большим аквамарином.

А на пароходе было очень приятно и чисто, как после генеральной уборки. Так бывает у нас накануне Пасхи, но это ненадолго. Сын артиста начинает с места в карьер переставлять все пепельницы и безделушки. Он не терпит симметрии. Она для мешан. В его будущей гостиной, которую он называет «салон», одна картина будет висеть повыше, другая — пониже и наискосок. Лишь бы не рядом. К нашим картинам он охладел, они слишком похожи на действительную жизнь. Он видел портрет, где один глаз во лбу. Второй — вообще, затеряли. Сын артиста был удивлен, когда я сказала, что не хочу, чтоб этот художник рисовал мой портрет. Но все равно он — знаменитость и мне не по карману. Всякие знаменитости бывают! И подумать, что он учился в Одесском Художественном училище. Сыну артиста наплевать на Художественное училище, он не коренной

одессит, как я, и смеет утверждать, что Москва и Петербург не хуже Одессы. Да, но не при Вове и не при близнецах! Когда он стал говорить о Киеве, близнецы заткнули уши. Как можно сравнивать Одессу с каким-то Киевом. Сын артиста не хотел замолчать: он не то, что мы. Когда-нибудь к дому на Крещатике, номера я не запомнила, прибьют мраморную дощечку... Вова его успокоил: сначала надо стать знаменитостью, а потом уже говорить о дощечке. Он забегает вперед.

Я видела такую дощечку на доме, где жил Пушкин, а теперь живет наша мадмазель. Ее это мало трогает, она называет его: Пучкин. Мадмазель призналась Вове, что знает два ругательства — «дурак и суинья». Никогда бы не поверила, что наша мадмазель умеет ругаться. Она слишком благовоспитанная. Уже с утра она надевает перчатки, немного потертые в пальцах. У нее есть совсем хорошие, блестящие, но те для выходов. Счастливицы эти француженки, они берегут свои вещи. Мадмазель постоянно рассказывает, как она стирала свои перчатки и как они сохли. Я спрашиваю, сколько лет ее брошке с анютиными глазками? По ее подсчету одиннадцать. Брошку ей подарила сестра одного женераль рюсс. У мадмазель все военные — генералы. Она знала какого-то колонеля де ля гард, но это было очень давно, когда она еще не жила в доме Пучкина.

Мадмазель обожает титулы, она помешана на аристократах. А Зиновий называл их кровопийцами и феодалами. Исключение он делает только для «Русских женщин» Некрасова, они пошли за мужьями в Сибирь, как наша начальница. Не знаю, как у декабристов, а у мужа начальницы там испортился характер: он не выносит шума. Чуть что в дверях раздевальни показывается его белая шевелюра и он с порога начинает нас отчитывать. Мы скачем, как дикие

козы, это мешает ему сосредоточиться. Он пишет большой труд по истории Движения. В нашем классе не имеют понятия о том, что такое Движение. Вова говорит, что не стоит мне совать свой нос в такие дела. Если уж я заинтересовалась, то лучше быть конспиративной и молчать. Мне очень нравится слово конспиративный, конспирация. Ради одного этого я готова увлечься Движением. Но надо молчать, а не то чужие родители строго-настрого прикажут не встречаться со мной: я опасный элемент, как Зиновий и брат близнецов. Вова думает, что я просто фантазерка. Как быть? Следовало бы обидеться. Но я не умею обижаться на Вову. В конце концов получится, что он прав, я опять залетела под облака.

У нас теперь другие интересы. Журнал, кажется, начнет выходить. Все готово. Есть бумага, несколько стопок, перья различной толщины, для того, чтоб писать с нажимом и без нажима, есть красный карандаш для Вовы. Он, как редактор, должен им все вычеркивать. Вова ведет переговоры с некоторыми выдающимися мальчиками из своего класса. О театре будет писать сын артиста. Он главный рецензент. Хотя журнал ежемесячный, у нас будет еще второй рецензент, для неважных спектаклей. Близнецы берут на себя научный отдел. Они одолжили у Вовы журнал «Вокруг света» за последние три года. Вова отлично знает, что «Вокруг света» приживется у близнецов и станет их собственностью. Сколько раз Вова видел у них в шкафу свои книги, но ему было неудобно потребовать. Вова говорит, что порядочные люди книг не возвращают, это не считается кражей, это, скорее, привычка. Главное, близнецы напишут о жизни на Марсе. Они воспользуются тем, что прочли и дополнят своими соображениями.

Самый умный мальчик в вовином классе, Жора, будет писать очерки. Я не знаю, что такое очерк, но

гордость не позволяет мне спросить у Вовы. Он подумает, что я не доросла до сотрудничества в журнале. Интересно, будет ли Андрокардато нашим сотрудником? Вова смеется: «Нет, он форменная дубина». Впрочем, Андрокардато можно поручить цирк, потому что он все еще влюблен в наездницу Тамару. Если б можно было, он бы дневал и ночевал в цирке Малевича. А я ни за что бы там не ночевала. С виду цирк очень неприветливый. Внутри он мне больше нравится. Особенно, когда сидишь в ложе. Сколько раз Вова и его товарищи говорили, что запах цирка для них приятнее всех лориганов. Но ведь это запах слонов и дрессированных крыс, запах лошадиного навоза и плохо выбитых ковров. Зачем же сравнивать его с лориганом. Гейликман, наверное, обиделся бы, если б ему сказали, что его лориган пахнет хуже, чем цирковая арена. Гейликман уверен, что таких духов, как у него, нет во всем Париже. Мы можем положиться на его обоняние. Он втягивает в себя воздух, и нос его становится совсем узеньким, как будто видишь его в профиль.

Своих покупателей Гейликман знает по фамилии. Он продает им средство собственного изготовления: помаду, от которой волосы могут вырасти на самой застарелой лысине. Но его лучшее средство — крем от веснушек. Он похож на простую мазь и горничная Юзя говорит, что маленькие веснушки от него становятся большими. Она проклинает Гейликмана: он шарлатан. Это уже слишком! Если б он был шарлатаном, к нему не ходили бы за советами. И у него не было бы витрины, где выставлены подарочные коробки. В каждой: пахучее мыло, пудра, одеколон с японкой или обыкновенный цветочный. Такую коробку я подарила мадмазель, а она передарила ее своей квартирной хозяйке. А я думала, что она без ума от моей коробки. Прежде, чем ее купить, я пе-

ресмотрела весь магазин, и Гейликман уже начал почесываться, как будто его кусала блоха.

К сожалению, у меня мало денег, я их истратила в магазине Александровского. Меня спасла распродажа. Что за чудо эти распродажи! Можно все купить за полцены. Но когда я принесла домой вазочку-кувшинчик для мамы и ноты для Вовы, оказалось, что кувшинчик надтреснут, а в нотах нехватает главной страницы. Значит и распродажи — жульничество. Вова говорит, чтоб я не увлекалась. Один рубль девяносто девять копеек, это два рубля без одной копейки. Но, чтоб поймать таких покупательниц, как я, рубль делают огромным, вроде телеграфного столба, а девяносто девять напоминает две маленькие кляксы. И все-таки я не могу разлюбить распродажу. Я тяну маму в магазин, где все распродается и цены три раза перечеркнуты: мне нужна материя для гимнастического костюма. У меня нет костюма и потому я не могу делать гимнастику. Я бы не спешила, но учительница торопит.

Будет шить, конечно, мадам Рабинович. Я уже соскучилась по ее квартире в кошачьем переулке. По лестнице у нее тоже ходят вверх и вниз страшно худые кошки. Мы попадаем туда только к вечеру. Уже совсем стемнело, но лампы пока не зажигают, зачем даром жечь керосин. При виде нас мадам Рабинович бросается к большой столовой лампе с бисерными висюльками, и мама ее останавливает: не надо, мы на минутку! Я хотела бы пробыть больше, чем минуту, но со мной считаться не будут. Мадам Рабинович сняла с меня мерку и записывает что-то в засаленную тетрадь. Потом очередь мамы, она принесла бордовую материю на капот. Мадам Рабинович говорит, что фигура у мамы еще не изменилась, но нужно думать о будущем. О каком будущем и при чем тут капот? Мама просит сделать его пошире в

талии. Меня удивляет, что она вдруг перестала быть кокеткой. Я так поглощена капотом, что забываю спросить мадам Рабинович, как здоровье ее мужа. Она сама начинает: «Вы видите мою жизнь, я здесь гну спину, а он сидит на кухне и плюет в баночку. Но ничего, в четверг мы идем к профессору, и он, даст Бог, поставит его на ноги». Мне нравится, что мадам Рабинович не унывает. Пусть унывают ее враги. Лучше быть веселым бедняком, таким воздастся если не на этом, то на том свете. Мадам Рабинович шутит. Какое ей дело до того света. И неизвестно, есть ли он. Мнения разделяются. Мы спешим домой. За это время был дождь. Прохожу под деревьями и мама сердится: я обязательно промочу голову. Оказалось, что нас ждали. У Вовы такой возраст, когда необходимо усиленное питание. Если б он мог предвидеть, что мы запаздываем, он остался бы у близнецов. Вместо этого он привез их к нам, а ужина нет.

Близнецы наши постоянные гости. Они любят красную икру, маслины, сыр со слезой. И варшавскую колбасу, тоже со слезой, но очень жирной. После ужина будет совещание по поводу журнала. Меня не позовут, я это знаю заранее. Но почему не пригласили Ланю, он столько же смыслит в науке, сколько близнецы? Вова говорит, что Ланя не владеет пером и неспособен передать своими словами то, что напечатано в журнале «Вокруг света». Это не беда, мы ему поможем. Важно, чтоб не страдало его самолюбие. Но Вова не хочет возиться с чужими самолюбиями. Дело прежде всего. Мы должны считаться только с редактором, он за все отвечает. Нас могут ругать на все корки, но главную вину будут сваливать на него. Вова спрашивает, не хочу ли я удлинить список сотрудников. И почему бы нам не завести отдел медицины и пригласить для этого мою

лучшую подругу, Надежду Моисеевну. Вова над ней издевается. Он отлично знает, что Надежда Моисеевна давно забыла медицину и умеет только ставить банки и класть согревающие компрессы. Правда, у нее есть замечательные белые халаты, но это не медицина. Она сама призналась, что всегда делает одну и ту же работу: дежурит у больных. Мне становится ее жалко. Если б не ночь, я попросила бы маму, чтоб меня отпустили к ней, или она пришла к нам. В городе Надежда Моисеевна у нас еще не была, она стесняется нашей городской квартиры.

Близнецам надоело сидеть за столом. Они стучат ложечками, а старший близнец стал громко втягивать в себя чай. Мама на него посмотрела, и от испуга он закашлялся. Сейчас они уйдут в вовину комнату, а я останусь и буду переживать, как переживает Матя, когда ей долго не звонят по телефону. Вова сказал, что она стремится к неизведанному. Мы все стремимся и ничего не выходит: надо рано вставать, готовить уроки, ходить в гимназию. А завтра учительница арифметики будет просматривать наши тетради. Она подозревает, что мы списываем. Подумаешь, во все времена списывали и несмотря на это, были великие ученые и знаменитые писатели. Но учителя должны въедаться в каждую мелочь.

У меня, например, способность ставить кляксы. Надежда Игнатьевна говорит, что всему виной моя рассеянность. Я отсутствую. Когда меня вызвали к доске, я имела вид Иванушки-дурачка. Она не знает, что я как раз думала о журнале и о стихах. Они почему-то не пишутся. Я стараюсь вызвать вдохновение, а получается дырка и ни одна строчка не приходит мне в голову. Но как писали другие поэты? Ждали ли они посещения музы или просто выдавливали из себя слова? Муза... Это неплохая идея. Напишу о том, как меня посетила подруга-муза. Пусть

Надежда Игнатьевна сердится и говорит, что я смотрю на доску, как баран на новые ворота! Она не понимает, почему я то первая, то последняя. Объяснить ей я не сумею. Она уверена, что мы скроены на один манер и похожи друг на друга, как две капли воды. Но капли ведь тоже разные. Та, что стекает по стеклу, очень длинная, а капля на листе каштана маленькая и выпуклая.

36.

Девочки все неодинаковые. Тоня Калиниченко хотела бы иметь туфли на каблуках. Несимпатичная Каля собирается стать синим чулком. Топсик хочет носить пенсне на шнурке. А дочка доктора мечтает о том, какой у нее будет дом, какие приемы. Она выйдет к гостям в платье небесно-голубого цвета и все будут восхищаться: Боже мой, что за изящество, что за шик! Пока дочка доктора считается самой толстой девочкой в классе, она целый день жует. Губы у нее, как намасленные, это от пирожков и бутербродов. Всех не перечислишь. Боря Гаевский думает, что основное в жизни — индивидуальность, она должна быть яркой, иначе ты ни гроша не стоишь. Я хотела бы, чтоб про меня когда-нибудь сказали: вот идет женщина с яркой индивидуальностью. Но как они узнают? «Индивидуальность написана на лице, — говорит Боря Гаевский. — Сразу видно, кто незаурядная личность, а кто рядовая». Себя он причисляет к незаурядным. Он не подчеркивает этого, я должна понять это без слов.

Мой дедушка с Пушкинской улицы считает, что нельзя себя расхваливать: пусть люди скажут. Но как поступить, если все молчат? Дедушку это не трогает. Молчат, значит не о ком распространяться... Переубедить его нелегко, а спорить с ним мне не позволяют — он старенький. Дядя Саша сказал, что он

врос в землю. Я так рассердилась, что готова была отказаться от родства с ним, мне не нужны глупые родственники. Дедушка, правда, стал немного меньше, но глаза у него такие же, как были. Только брови стали невероятно густыми, а борода, как — непроходимая чаща. В ней крошки от любимых сухариков. Дедушка терпеть не может, чтоб ему делали замечания. Крошки так крошки, это его дело. Он прожил жизнь, вырастил сына, о дочерях он не упоминает, и теперь может себе позволить, чтоб у него были крошки в бороде. Дедушкины друзья, Хармак и Бебеле, с ним согласны. Они всегда соглашаются. Это его двор. Дедушка король, а они придворные льстецы. Но может быть они делают это из уважения к дедушкиным сединам? Нет, Вова несогласен. Причем же тут дедушкин двор! У них тоже седины и это ровно ничего не значит. Просто Бебеле каждый день выигрывает в карты свои двадцать копеек, а Хармак тянет мелкие суммы. Больших сумм у дедушки не вытянешь. Он хотел бы до конца своих дней жить на собственные средства. Он никогда ни у кого не брал и брать не желает, даже у папы. А мой папа дает очень легко.

Дедушка сказал, что когда под рукой нет своих бедняков, папа их выискивает. Он встретил такого-то, и как он, бедняга, опустился. Его обязательно надо пригласить. Пока что папа снял ему приличную комнату, чтоб он не жил из милости у злых людей. Мама всегда соглашается. Конечно, он может прийти. Она его отлично помнит. В первый год после маминой и папиной свадьбы они жили вместе на Фонтане. Тогда он был еще старым холостяком и приударивал за хорошенькими барышнями. Вова жалуется, что к нему в комнату помещают то сына маминой подруги детства, то вечного студента. Он храпит, как целый взвод солдат. Когда Вова ему намекнул, студент воз-

мутился. Этого быть не может, это гнусный поклеп. Храпят одни лавочники. Но Надежда Моисеевна тоже храпит, и храп у нее тоненький и деликатный. Студент все перевирает. Может быть потому, что он еще не сдал экзамена по Римскому праву и, верно, никогда не сдаст. Экзамены ему надоели вот до этих пор! Он показывает на свой лоб, где два остроконечных залива. Кто к нам только не заезжает. И все говорят, что приехали на три дня. А потом эти дни превращаются в месяцы.

Скоро должна приехать папина троюродная племянница, Лизочка. От природы Лизочка очень смуглая, а когда запрется в комнате, то через полчаса она неузнаваема. Лицо белое, а щеки бледно-розовые. Она просто красавица. Вова отплевывается: тьфу, это белила, их можно купить у Гейликмана. Щеки Лизочка натирает специальным порошком. Шею она забывает набелить и поэтому ее белая голова приставлена к черной шее. В нашей гимназии одна шестиклассница недавно стала пудрить нос, и о ней говорит вся Одесса. Не знаю, кто ее научил? Она начинает пудрить его еще на Преображенской. Когда она доходит до Дерибасовской, нос у нее белый-белый. В гимназии это обыкновенный широкий нос с маленькими ноздрями навыворот, а тут он узкий и матовый, как абажур. Значит, пудра может творить чудеса. Неужели и я буду пудриться? Рассматриваю себя в зеркале. Кто-то сказал, что у меня выразительное лицо. Но в чем его выразительность? Передо мной девочка с родинкой на правой щеке. Она напоминает меня, эта зеркальная девочка и вместе с тем она слишком серьезна, чтоб быть мною. Мне надоедает смотреть и я иду в мою бывшую детскую. Там Катя, она ходит вокруг столика и поет, не фальшиво, но очень громко, как будто все оглохли: «Ка-

тя, Катя, Катерина, — Намалевана картина — Офицер молодой — Проводи меня домой...»

Я спрашиваю Людмилу, почему Катя поет такие песни? Кто ее выучил? Людмила на меня набрасывается: тоже критик нашелся! Если я буду к ней приставать, она расскажет, как я пела «Жажду свиданья, жажду лобзанья». Глаза у нее наполняются слезами. Людмила стала страшно нервной, ее нужно брать щипчиками. Когда ей говорят, что пора идти гулять, она начинает плакать. У нее, наверно, скрытое горе. Я попробовала спросить маму, но она сказала, чтоб я оставила Людмилу в покое и занялась своими делами. А какие у меня дела? Мама, конечно, говорит о музыке. Мы условились, что я буду играть двадцать минут в день. Виртуозы играют по шесть и по восемь часов. Я убежала бы в африканские дебри или на северный полюс, куда угодно, лишь бы не превратиться в раба черных и белых костяшек. А сколько играют скрипачи? Этого мама не помнит, но она может справиться. Прошу ее не справляться, я спросила только из жалости к скрипачам.

То, что я не выучила Андалузку, мне не так важно. Рано или поздно я ее одолею. Когда все выходят из гостиной, я верчусь вместе с фортепианным стулом. Ученице второго класса это не подходит, но ведь никто не видит. А время течет, еще несколько таких верчений и двадцать минут пройдут. Но мама кричит из соседней комнаты: что случилось, не заснула ли я? — Нет, я играю тихие вещи. Пианино чувствует, что я вру и как будто мстит: то у меня подворачивается палец, то он срывается, чтоб задеть ненужную ноту. У меня не такая большая рука, как кажется мадам Трейн. Для того, чтоб взять октаву, я должна ее растягивать, как настоящий фокусник. Я завидую тем, кто играет по слуху. Вова может сыграть по слуху так, что выходит лучше, чем

у композитора. Сын артиста играет Тарарабумбию и Собачий вальс. У него тоже есть слух. Но кто сочинил Собачий вальс? Сын артиста говорит, что какой-то неизвестный, скрывшийся под псевдонимом. А Тарарабумбию? Он не знает. Все это исполняется по слуху. Те, у кого нет слуха, должны играть Шуберта и Песни без слов.

А Матя? Чем больше она повторяет какую-нибудь вещь, тем хуже у нее получается. В ее игре масса претензий. Я никому этого не скажу, даже Вове. Но мне жалко, что Матя трудится над каждой музыкальной фразой. В музыке тоже есть фразы, это мне сказали, когда я еще играла сонатины Шпиндлера. Хорошо, что меня не заставляют брать уроки рисования! Этим летом я встретила одного немолодого человека, он нес складной стульчик и коробку с красками. «Он идет на этюды», — сказала дочь шпионов. Я пустилась в спор: этюды у Черни. Есть еще этюды Шопена. Но вмешался шпион, он начал объяснять мне, что такое этюд. Было немного страшно, а вдруг это имеет какое-нибудь скрытое значение. Вова тогда смеялся над моими страхами, я не должна бояться шпиона. Вряд ли ему понадобится мое сотрудничество. У него есть агенты в иностранных посольствах всего мира.

Катя уже в десятый раз поет: «Офицер молодой, проводи меня домой...» Я говорю что нельзя повторять без конца. Повторяют на бис. Когда публика не хочет расходиться. Так было на детском утре, где декламировали артисты Городского театра. Кате нравится повторять. На детское утро ее не взяли, потому что она могла бы упасть со стула или вдруг ей захотелось бы за маленьким. Мы с Вовой знаем, как бисируют. Но Матя говорит, что на последнем концерте Иосифа Гофмана я поняла бы, что такое настоящий успех. Гофман опять раздавил несколько

букетиков, которые ему бросили поклонницы. Он их не заметил. Матя в этом уверена. Она не представляет себе, чтоб Гофман мог сознательно наступить на цветы. Вова не раскрывает рта. Я слышала, как он жаловался близнецам, что ему надоели истерички. Если б Матя знала, что он называет ее истеричкой, она закатила бы истерику по всем правилам искусства. Но Вова не боится, он нашел средство. Он начнет ее утешать: «Матя, Матильдочка, успокойся, сейчас я принесу из кухни керосин!». Он думает, что при слове «керосин» Матя сразу придет в себя. Вечный студент сказал, что это безошибочный способ.

Но почему все поклонницы таланта должны быть истеричками? Почему Вове можно восхищаться Тиночкой и ее выступлениями в Театральной школе, где нет занавеса, а вместо него две простыни, как было у нас на даче? Тиночка ведь не лучше Гофмана! Теперь она учит «Разговор дамы просто приятной с дамой приятной во всех отношениях». Вова бредит Гоголем. Это первый русский писатель. А по-моему Пушкин. Но Вова говорит, что у Пушкина нет «смеха сквозь слезы». Он написал бы для нашего журнала статью о Гоголе, но боится, что ее примут за гимназическое сочинение. Вытаскиваю из стеклянного шкапа первый том Мертвых душ. Им, видно, зачитывались. А что если я начну говорить наизусть целые страницы? Вова, наверно, будет поражен. Разговор двух дам я тоже знаю: «глазки и лапки, глазки и лапки...» Но лучше не вылезать. Вова подумает, что я критикую Тиночку и хочу показать, какая я умная. Все мои знания ни к чему. Все равно меня не возьмут в Театральную школу.

Пока что я складываю в ранец мои учебники. Я беру с собой ранец, когда мне грустно и хочется доказать себе и другим, что я не девчонка с клетчатой

сумкой, а независимый человек. Никто не протестует. Мама говорит, что это полезно, я не буду так горбиться. Но разве я горбилась? Неужели меня поведут к доктору, как Асю, и он будет говорить, что я не умею сидеть, не умею лежать, не умею правильно поворачивать голову. Вообще, ничего не умею. Ася рассказала мне по секрету, как доктор ругал ее маму: «Посмотрите, что у вас за фигура! Разве это фигура?». И та чуть не расплакалась. Чем плоха ее фигура? Но доктор находил, что неприлично быть дряблой, как желе. Асина мама разобиделась: больше ее ноги здесь не будет! Она пойдет с Асей к профессору, хотя он взял однажды пять рублей за визит. Мне не нужны ни профессора, ни Цандеровский институт. Это обыкновенная комната, где стоит привинченный к полу велосипед. И есть седло, оно подпрыгивает довольно высоко. Когда Асю усаживали, она делала вид будто ездит верхом. Очень скучное и неприятное место. Я готова дать клятву, что буду ходить прямо, как наша мадмазель. Она специалистка по хорошим манерам.

Бывают дни, когда все не клеится. Я опоздала ровно на одну минуту, но мне не повезло: в коридоре я встретила начальницу. Она шла с озабоченным видом и мне показалось, что она считает в уме. Это не помешало ей остановить меня: почему я опаздываю? Это неуважение к окружающим! Я нарушаю правила и от меня она этого не ожидала. Васса заметила, что я стою, как побитая, и стала утешать. Ей начальница говорит еще более страшные вещи. Она должна немножко пугать. На самом деле она не злая, она только помешалась на долге. Ну, это не ново. Я знаю, что есть жертвы долга. Но когда я успокаиваюсь и иду в класс, выясняется, что я взяла не те книги. Нельзя будет перед уроком наспех прочесть

заданное. И все потому, что я интересуюсь разными людьми, а они об этом понятия не имеют.

Всякую вещь мне нужно додумать до конца. Я хочу, чтоб одно вытекало из другого. Пусть Вова называет меня талмудистом, я не обижаюсь. У нас был предок — талмудист. Его сожгли на костре. Он был некрасивым и горбатым, но к чему таким людям красота? Он ведь святой. Вова сто раз говорил о духовной красоте и если его послушать, у Тиночки тоже есть духовная красота. С этим я несогласна. Нельзя ставить на одну доску Тиночку и нашего предка. Он мученик за веру, а она только ученица Драматической школы. И вообще, она пока на первом курсе и неизвестно, останется ли до окончания. Сам Вова уверял, что эти школы просто-напросто жениховские факультеты, никто их не кончает. Подвернулся какой-нибудь молодой человек и все мечты о самостоятельности разлетаются, как дым. Но к Тиночке он пристрастен. Он уже видит ее на подмостках. В одно прекрасное утро она проснется большой артисткой. Ну, что ж, я ничего против не имею. Но мне как-то не верится.

На первом уроке нам рассказывали про кровообращение. Учитель, Александр Петрович, притащил рисунок человека с ободранной кожей. Видны все жилы и кровеносные сосуды. Это было до того отвратительно, что некоторые начали громко хныкать. Насилу их успокоили. На перемене я вдруг вспомнила Шабо, доктора, череп и кости на письменном столе. Череп с глазными впадинами стоит, верно, на том же месте и кости лежат, где они лежали, а я уже не прежняя, я стала гимназисткой и слушаю теперь объяснения Александра Петровича. Мне хочется спросить, кем был этот человек без кожи. Может быть это просто модель для средних учебных заведений? Но Александр Петрович не любит, чтоб его пере-

бивали. Он метит в профессора и поэтому снимает комнату в профессорской семье. Сам профессор давно умер, а дочка учится у нас в гимназии. Ее все боятся, она врывается в класс, как вихрь, все рвет и портит и даже отнимает завтраки у более слабых. Ей надо знать с чем бутерброды и какая начинка в пироге. Это, конечно, предлог. Один раз она налетела на меня и стала сверкать глазами. Она схватила меня за плечи, но я не испугалась, а попросила ее оставить свои людоедские замашки. Дочке профессора понравилось, что я сравниваю ее с людоедихой, и она загромыхала так, что стекла чуть не повыскакивали. Я не так глупа, как она думала, ха-ха-ха... Ее смех меня преследовал целый Божий день. Ася сказала, что я напрасно критикую. Она дикая, и это прекрасно. Она, как Лесовичка Чарской. Я не возражала. Мы недавно помирились и все висит на волоске. Тем более, что я не решаюсь порвать с Вассой. Чтоб избавиться от нудных разговоров, притворяюсь, что я углублена в чтение. Никто не знает, что я смотрю в книгу и вижу фигу. Ведь это задачник Малинина и Буренина. Буренин меня давно интригует. Неужели было мало одного Малинина, чтоб сочинить такие идиотские задачи. Поговорю с Вовой. Он окружен Малинимыми и Бурениными: у него и алгебра и геометрия и какая-то тригонометрия. И все это те же Малинин и Буренин.

Завтра праздник. Между деревьями будут натягивать ржавую проволоку и дворник зажжет разноцветные фонарики. Они не такие, как на даче. В них накопилось много пыли и мертвых бабочек. Видно, что их годами не протирали. А мои бумажные, как в Японии, и под ветром они вроде прима-балерин Городского театра. На тезоименитство весь город в фонариках. Их обязательно надо зажечь. Иначе придет надзиратель и оштрафует. Во двор я теперь не

хожу. Я смотрю с балкона, как дети из полуподвального этажа играют в мяч и старший громко считает: один, два... десять... двадцать... пятьдесят. У самого младшего сползли штанишки, виден его круглый толстенький живот. А пупок у него плоский, как будто его утюжили портновским утюгом. Мне кажется, что двор изменился, стал меньше. И куда девался фонтанчик, тот, что возле погреба? Вова говорит, что фонтанчик существовал только в моем воображении. На самом деле это кран, а вокруг него углубление, похожее на раковину. Как, неужели был всего-навсего заржавленный кран! Из него постоянно течет. Капли падают: кап, кап, кап... Наверное, это навело меня на мысль о Бахчисарайском фонтане. А часовых дел мастер, Жанин дедушка, вовсе не живет под крышей, как мне казалось, у него квартира в третьем этаже.

Мне жалко будет покинуть дом, где я родилась и главное, где родился Вова. Тогда на улице постелили солому, чтоб не было слышно стука извозчичьих колес. Ни для меня, ни для Кати солому не стелили. А вот я узнала, что у девочек Блазнер родился брат, и это большая радость: он наследник мисье Блазнера. Девочки не считаются, они выйдут замуж за людей с другими фамилиями, и род Блазнеров прекратится, исчезнет. Это не так важно. Вова сказал, что целые народы исчезали с лица земли и мы узнаем о них только по раскопкам. Вова знает все. Он еще ни разу не сел в калошу. Зато близнецы уже не раз садились: они любят давать сведения. Потом открывается, что они сами это придумали. Им хорошо, их двое. Когда один говорит, другой кивает головой. Они должны сейчас прийти, на праздники они убегают из дома, чтоб не попадаться на глаза своему папаше. У него много свободного времени, и он пользуется этим, чтоб разъяснить им, какие они шало-

паи и олухи царя небесного. У нас им никто замечаний не делает, они гости. А мне почему-то асина мама всегда делает замечания. Я не должна все брать руками. Тут я не выдерживаю. Мне сказал Яков Соломонович, а он был тысячу раз заграницей, что сосиски держатся тремя пальцами и даже обмакивают их в горчицу. Об этом уже говорил бледный студент, но ему далеко до Якова Соломоновича, который знает правила хорошего тона не хуже асиной мамы. В следующий раз спрошу его, можно ли сдирать корочку с миндального пудинга. Что делают по правилам дурного тона, я от него не узнаю.

До плохих вещей надо доходить своим умом. Все притворяются, что они без пятнышка. А я слышала, как сын артиста бегал по комнате и кричал: «Фарисеи проклятые!». Этими словами из какой-то пьесы он ругал своего отца, который не хочет давать ему карманных денег. Если ты любишь водить девочек в иллюзион, а потом кататься с ними на штейгере, сам зарабатывай! Сын артиста ерошил волосы. Его отец ведь не святой, он должен понять... Но Вова его удерживал: легче на повороте! Не стоит так кипятиться. В крайнем случае Вова одолжит ему рубль. Услышав слово «рубль», сын артиста успокаивается. Хорошо, он пока возьмет рубль, а там старик его образумится и придет в чувство. Тогда он отдаст Вове его кровные деньги. Вова отлично знает, что он не отдаст, но нельзя оставлять друзей в беде.

Берта Креде один раз одолжила у меня двадцать копеек. Она нашла довольно умный предлог, хотя считается самой глупой девочкой в классе. Ей эти деньги нужны до зареза. Она должна была купить на обратном пути из гимназии бумагу «смерть мухам», но деньги она потеряла и теперь бабушка ее заест. Она из Мекленбурга и любит без конца читать нотации. Она бьет Берту линейкой по пальцам, поэто-

му у нее такие распухшие руки. Через некоторое время я узнала, что никто Берту не бьет, а она сама щиплет своего больного брата. Про деньги Берта забывает, и я тоже забываю. Сейчас я случайно вспомнила и мне стало стыдно. Когда одалживаешь, надо тут же забыть, как будто этих денег никогда не было в природе. Теперь мы должны купить подарок серенькой библиотекарше: через неделю ее именины. Главный казначей — дочка доктора. Она говорит, что была казначеем с самого раннего детства. Дочка доктора принесла в класс старый кошелек, туда ее отец клал когда-то свои гонорары. Если наберется много денег, мы подарим серебряный карандашик в футляре. Тоня Калиниченко предложила купить блузку. На нее все накинулись: это неприлично. Библиотекаршам надо дарить письменные приаадлежности.

37.

Подарки — моя специальность. Когда идут в магазин, прошу, чтоб меня обязательно взяли с собой. Я помогу выбирать. Конечно, если это не материя и не какие-нибудь перчатки или митенки. Я тяну в магазин «Образование», где в витрине огромный глобус, а внутри пахнет картоном и чем-то острым. Вова говорит, что это типографская краска. Есть подарки, вызывающие обиду. Был случай, когда Мате привезли кофточку цвета раздавленной клубники, и она горько плакала: ее тетка со стороны отца должна знать, что Мате не к лицу раздавленная клубника. Тетка сделала подарок со злым умыслом, ей хотелось, чтоб Матя выглядела старше своих лет. Библиотекарша, конечно, будет рада серебряному карандашику с монограммой. До сих пор она писала какими-то огрызками. Но я ведь могу чинить ее карандаши. Мне нравится тонкая древесная спираль, она тут же рассыпается, а если чинишь осторожно она будет виться до бесконечности.

На переменах мне разрешается посидеть в библиотечной комнате. Каталог я знаю наизусть. А — Авенариус: «Юношеские годы Пушкина», Афанасьев — «Русские сказки», «Аленький цветочек»; Б — писатель Луи Буссенар, Баранцевич; В — Верисгофер; Г — длинный-предлинный список сочинений Гоголя... Все это вписано в тетрадку чистым четким почерком.

Мне никогда так не написать. Я пишу по-детски. Надежда Игнатьевна иногда хвалит содержание, но зато издевается над моим почерком. Она говорит, что похоже на то, что муха обмакнула свои лапки в чернила и прошлась по белому листу. У Аси буквы высокие, как каланча. Не понимаю, как это вышло? Всех учили одинаково, а пишут каждая по-своему. Ничего, я подрасту и почерк у меня станет более зрелым, появится наклон. От моей бумаги будет идти японский запах Сада-Яко. Но когда все это произойдет? Чтоб не думать о печальных вещах, начинаю приклеивать цветной облаткой ленточку с ангелочком. Он маленький, как птица-колибри. И круглый, как перламутровая пуговица. Мне уже перестают нравиться все эти ангелочки, анютины глазки, розы, сцепленные одна с другой. Я окончательно перейду на открытки. У Александровского я нашла «Лесную сказку» и «Последние дни Помпеи». Есть у него «Запорожцы» художника Репина, это в красках и стоит пять копеек. Когда альбом будет заполнен, Яков Соломонович подарит мне другой, с тиснеными золотыми буквами. Я видела его в окне. Это не кожа, а подделка под кожу. Лучшего мне не нужно. Там как раз поместится моя коллекция артистов. Большинство из них я знаю понаслышке, но придет время, и я их всех увижу. Вова советует мне не увлекаться: среди моих артистов много покойников, они сыграли свое. По дороге в гимназию купила Коммисаржевскую и в трамвае узнаю, что ее тоже нет на свете. На открытке она совсем молодая и мне странно, что она сыграла свое.

Прихожу с маленьким опозданием и на молитве Васса успевает мне шепнуть, что подарок вручили. Библиотекарша была растрогана и несколько раз вытирала глаза мужским платком. Она так ценит наше внимание, она не заслужила... Дочка доктора ока-

залась свиньей. Она могла подождать меня хотя бы до первой перемены. Я тоже люблю вручать подарки. Мы бы сделали это все вместе. Но она забежала вперед. Кто-то сказал, что она властная и ей это очень понравилось. Я не признаю ее авторитета. Таких девочек сколько угодно. Дочка доктора чувствует, что я недовольна и сразу же на меня набрасывается. Я постоянно опаздываю. Семеро одного не ждут и так далее. Я отвечаю, что она не классная дама. Все на моей стороне. Но почему они так поздно спохватились? Дочка доктора поворачивается ко мне спиной. Она не хочет продолжить разговор. Для нее это невыгодно. Я тоже поворачиваюсь к ней спиной и два раза пожимаю плечами, чтоб выказать ей мое презрение. На большой перемене библиотекарша меня подзывает. Она ни с того ни с сего начинает благодарить, а ведь она уже благодарила. Но нет, библиотекарша знает, что я принимала участие в подарке. Мне хочется ее поцеловать, и я не решаюсь. Может быть, она не любит целоваться.

Есть такие, что бросаются на шею и душат в своих объятьях. Я не очень люблю мокрые поцелуи. Так целуются большеротые. Люди с маленьким ртом клюют, как курицы. Боря Гаевский испытывает отвращение к таким бабским штучкам. Но разве библиотекарша рассердится, если я поцелую ее в лоб или в серенький кублик? Мимо нас, шурша своими нижними юбками, пробегает мадам Тюрбо, и моя нежность сразу испаряется. Не нужно никаких поцелуев! Она может подумать, что я подлизываюсь. И так уже говорят, что я ее любимица. Это все враки, библиотекарша просто озадачена тем, как часто я меняю книги. Она не верит, что я их прочитываю от доски до доски. По ее мнению я заглядываю в конец, а остальное перелистываю. В последний раз она дала мне «Детство и отрочество». Я должна читать с бла-

говением, это детство великого русского писателя, Льва Николаевича Толстого. Мне неловко было ей сказать, что я уже читала «Детство и отрочество». Когда я уносила книгу, она кричала вдогонку, чтоб я не смела загибать страницы. Те, что пишут на полях — преступники. Их надо посадить в тюрьму.

Я с ней согласна. Но Вова говорит, что нельзя так строго судить. Может быть, им захотелось высказаться. Мы, например, будем высказываться на страницах нашего журнала. Вчера Вова сочинил обращение к читателям и подписчикам. Это не одно и то же. Читатели одалживают журнал у подписчиков, а те просто дают деньги. У нас будут и объявления. Одно дали близнецы. Они хотели бы продать подержанный фотографический аппарат. Он уже давно не снимает, но его можно носить на ремешке. Вова сказал, что близнецы умеют втирать очки, это — комбинация из трех пальцев. Близнецы расстроены. Вова стал высокопарным, как их учитель словесности. По мнению близнецов у словесника есть еще иллюзии, но он их скоро потеряет и станет как все учителя — человеком в футляре. Объяснение я могу найти у Чехова, когда дорасту до его рассказов. Боже мой, какие дураки! Как они не понимают, что я читала всего Чехова. Я бы на их месте давно догадалась, но они не видят дальше собственного носа. При случае скажу это Жене. Он знает им цену.

Сын артиста мне больше нравится. О чем бы ни говорили, он в курсе. С ним это случилось давным давно, когда отец его держал театр в Мелитополе или Симферополе. Он переболел всеми болезнями и видел все пьесы, какие только существуют. Ну, допустим, что он их не видел, мне это не мешает. Я знаю, что он верит в свои слова. Наша начальница никогда не врет, но я боюсь ее правды. Других она постоянно уличает во лжи. А иногда она вдруг становится

страшно разговорчивой. Она рассказывает о Сибири, о сибирских морозах, о тайге. Представляю себе, какой маленькой она была рядом с сибирским кедром. Но может быть в то время она не состояла еще из трех шаров: одного незначительного и двух побольше. Не удивлюсь, если узнаю, что она была миловидной. Об этом она ничего не говорит, она против самохвальства. Ни за что не скажу ей, что мы в группе у Колачева. Она будет презирать Асю и меня: мы пренебрегаем гимнастикой, а вместо этого делаем нелепые движения под плохую музыку. Насчет танцев она права. Я готова отказаться, но мне неприятно подводить Асю. Она просила не отказываться. Ася в страхе, что группа распадется, и Колачев не успеет показать ей матлот. Этот танец матросы танцуют на палубе корабля. Эльзуня не интересуется матлотом. На следующем музыкально-вокально-танцевальном утре она будет андалузкой. Ее мама согласилась купить кастаньеты. Колачев в конце концов убедил ее, что у Эльзуни большие возможности. Ася не верит в его искренность, он подлизывается, ему жалко потерять нашу группу. Асю там затерли, у нее ведь тоже способности к танцам, но Колачев их не замечает. Ася не может ему пригодиться. В их гостиной, где столько безделушек и диванчиков, не растанцуешься. Начальница думает, что по воскресеньям мы совершаем ботанические экскурсии или ходим на дневные представления «Ревизора». А в это время мы, правда, через воскресенье, марширует под музыку тапера.

Мой гимнастический костюм почти готов. Он похож на купальный. Мадам Рабинович сделала оборки на штанах, и я боюсь, что надо мной будут смеяться. Я умоляла ее не делать оборок, но она настаивала: оборки — самая последняя мода. Она может показать мне прошлогодний парижский журнал, там все с

оборками. Какое мне дело до парижского журнала, для Одессы эти оборки не подходят! Если их срезать, получится еще хуже. Бахрома будет болтаться, как у поддельного нищего. Опять пожаловалась, что у меня болит нога. Учительница недовольна. Это ее последняя поблажка. Других не будет! Пока девочки приседают и ложатся на грязный пол, я расспрашиваю служителя Афанасия, откуда взялись его ордена? И был ли он на войне? Да, он защитник Порт-Артура. Он говорит, что Порт-Артур отдали японцам, но это не его вина. Афанасий не забудет, как японцы кричали «банзай», это их «ура», и бросались в атаку. Мы разговариваем очень тихо, чтоб учительница не могла выскочить в коридор с криком и претензиями. Когда приходит время звонка, мне грустно, я так и не узнала, нравится ли Афанасию война. Он сердито трясет головой: пора. И звонок начинает свою трескотню. Сразу перестаю хромать, не стоит больше притворяться. Я твердой походкой прохожу мимо Афанасия, но он меня не замечает. С него достаточно. А я, чтоб не забыть, твержу про себя: «Пуля дура, штык молодец!».

Ася видит, что у меня шевелятся губы. Ага, я сама с собой разговариваю, как сумасшедший Марьяшес. Она пристает ко мне, ей надо знать, что я повторяю. Она хочет удостовериться, что я не совсем еще спятила. Ни за что ей не скажу, пусть ломает себе голову. Пятого урока сегодня не было. Учительница пения простужена, она потеряла голос, и поэтому мы не будем петь. Мы спускаемся по Дерибасовской и к Асе начинает приставать какой-то старичок. У него на груди дощечка с надписью: «глухонемой». Он мычит и раздувает щеки. Наверное, он просит копейку. Но Ася ему не дает. Нам необходима эта копейка, без нее будет ровно девять копеек, а нам нужны десять. Мне неловко, что Ася так неде-

ликатно обошлась с глухонемым. Но она смеется: ей сказали, что многие нищие живут в хороших квартирах и ездят на извозчиках, когда никто не видит. Я не верю, это выдумали люди без сердца. Ася не успокаивается: ей сказал папа, что у одного нищего в тюфяке нашли десять тысяч рублей... Кто нашел? Ася не помнит. Она постарается расспросить. Говорю ей, что она может не трудиться. Ася обижена. Как, я подозреваю ее папу! Боюсь с ней спорить: может открыться, что под столом он трогал мою ногу выше колена. Меня спасает магазин Окуня. Ася бросилась к витрине: вот такие туфли с пряжками ей обещали купить! Или нет, лучше эти, с плоскими бантиками, они изящнее. Я с ужасом смотрю на мои скороходы. Мне тоже хочется иметь туфли с бантиками. Но Ася уже забыла про туфли. Мы приближаемся к кондитерской Гетинга. Ася спрашивает: зайдем? И не дожидаясь ответа, заходит. А я за ней. Старая мадам Гетинг сидит за кассой. У нее удивительная прическа. Она, наверно, подкладывает подушечку из волос, как все старые дамы. Но у нас нет времени заниматься прическами. Мы должны выбрать по пирожному. Они как будто одинаковые, но если иметь опыт, сразу видишь в каком больше крема. Ася долго думает и затем берет обыкновенную трубочку, посыпанную сахаром. У нее нет воображения. Мое пирожное вроде цветка, а по вкусу оно напоминает сухой марципан.

Я давлюсь марципановым цветком и мне противно смотреть на Асю: она наслаждается и даже причмокивает. Она довольна, что я попалась. Бог с ней, я не сержусь, лишь бы разговор опять не перешел на ее папу. Это асин идеал, он носит золотое пенсне и, вообще, он самый выдающийся отец в нашем классе. Недаром его выбрали в родительский комитет. К ним ходят учителя и один раз была начальница. Я гово-

рю ей, что если б мои родители захотели, начальница приходила бы к нам каждый день. Хотя внутри у меня нет уверенности. Мы стряхиваем крошки, расплачиваемся и в это время я начинаю чувствовать знакомое присутствие. Оборачиваюсь, — это Вова. Я совсем забыла, что он бывает здесь почти каждый день. За Вовой сын артиста с вытянутой шеей. Он выбирает пирожное. Я мечтаю о том, чтоб он взял цветок, но нет, он нацелился на самый толстый и пухлый наполеон. Вова нас заметил. Он спрашивает, почему я порчу себе аппетит. Как старший брат он должен был сделать замечание, но на этом дело кончается. Он великодушно предлагает Асе и мне выбрать что-нибудь. Ася благодарит. Она покраснела до ушей, потому что здесь сын артиста. Вовы она не стесняется, а это малознакомый молодой человек. Какой же он молодой человек! Он почти каждый день у нас и его считают членом семьи. У него свой подстаканник, и он смеется надо мной из-за того, что я пью не из чашки, а из блюдечка. Но мне горячо из чашки. И потом Матя сказала, что знаменитая красавица, Лина Кавальери, никогда не пьет из чашки, это портит форму губ. Наконец, мы с Асей выходим из кондитерской. Старая мадам Гетинг даже не удостаивает нас кивком головы. Мы плохие, испорченные дети. У нее в Дерпте таких посадили бы на хлеб и на воду. Это не мешает ей продавать нам пирожные. Значит она неискренно возмущается. Она тоже фарисейка, как Тубенкопф или асин папа! Но я держу язык за зубами. Ася стала страшно обидчивой. Она боится, что променяю ее на другую. Поэтому она провожает меня до ворот, она должна удостовериться, что по дороге меня не перехватила новая подруга.

Мы встречаем только Вениамина, бывшего конторского мальчика. Он теперь на военной службе. Се-

годня его отпустили и он пришел к нам с визитом. Пока Вениамин стоит в воротах и со всеми здоровается. Трудно поверить, что его выгнали из Городского училища. Асе не нравится, что сапоги его так ярко начищены. Она не понимает, что это очень красиво. Вениамин весь новенький и все на нем блестит. Он расскажет мне, как отбывают воинскую повинность. Лишь бы он не начал преувеличивать, он ведь порядочный хвастун. Домой я приношу радостную новость: приехал Вениамин! Но никто не проявляет восторга, даже Вова. А мама, вообще, пропустила это мимо ушей. У нее усталый вид, хотя она пополнела. Мне не нравится, что она в бордовом капоте. Я к этому не привыкла. Мама с утра одета так, будто собирается в гости или на детский утренник. А теперь она почему-то непричесана. Но может быть заболела парикмахерша? Нет, тут другое, непонятное. Я слышу, как стучат вилки и ножи, и Юзя ругает кожаный столовый стул. Он мешает ей накрывать. Но это стул панича Вовочки, и она терпит. Если б это был мой стул, она бы с ним расправилась.

Мне нехорошо от гетинговского пирожного. С удовольствием осталась бы у себя в комнате или пошла бы в гостиную перелистывать альбом с видами Палестины. Он в переплете из ливанского кедра. Не помню, сказали мне это или я сама выдумала. Все снимки в альбоме страшно голубые. Мне нравится апельсиновая роща, где апельсины похожи на желтые кляксы, а деревья так близко одно от другого, что нельзя понять, как они растут. Больше всего меня трогает «Стена плача». Это обыкновенная полуразрушенная стена. Хейфец не уверен, что на этом месте был храм. А два старика на снимке уверены. У них такие скорбные лица, как у Бебеле, когда он вспоминает свою дочь. «Ушла во цвете лет, — говорит Бебеле. — Я потерял свою единственную голуб-

ку, свою корону». Почему корону? Голова Бебеле в бугорках и шишечках, и я не могу себе представить, чтоб на ней была корона.

Дедушка не протестует. Я знаю, ему жалко Бебеле, а показать это он не хочет. Он привык подтрунивать над ним и над Хармаком. Хармак совсем старенький и борода у него почти как у дядьки-Черномора. В конце она суживается; посередине это настоящий сугроб. Мне хотелось бы их пригреть, но дедушка сказал, чтоб я не смела целовать Бебеле: у него сыпь. Может быть это нервная сыпь, как у Мани, кузины с разбитым сердцем. Дедушка сердится: нервная, никогда еще не было нервных прыщей, это выдумали доктора, чтоб снять с нас последнюю рубашку!

Несмотря на то, что дедушка критикует медицину и докторов, он постоянно лечится. А когда ему надоедает домашний врач с белыми вставными зубами, он идет в санаторию. Там мы его посещаем, Вова и я. Иногда нас просят подождать. Тогда мы сидим в роскошной приемной, где пальмы и мраморный фонтанчик. У дедушки в комнате пальм нет, там все белое. Дедушка лежит в белоснежной постели и блаженствует: его лечат с утра до вечера. Он спрашивает Вову, знает ли он, сколько сделали анализов? Вова не имеет понятия. «Пять, — говорит дедушка, — и один хуже другого!». Вот это санатория, не то, что в прошлом году. Дедушка не может без возмущения вспоминать о прошлогодней санатории, где хотели, чтоб он гулял. Что за безобразие! Разве он уехал из своей чудной квартиры на Пушкинской улице, для того, чтоб прогуливаться в их паршивом саду. Нет, дедушка хочет лежать и пусть все врачи лопнут, но они должны приходить по три раза в день. С ними говорит папа, это его прямая обязанность, но дедушка не всегда доволен: врачи мало интере-

суются его болезнью. Они считают, что он достаточно коптил небо. Мы протестуем, и тогда дедушка с умилением покачивает головой. Чужие его не умиляют. Он не умеет их любить. Он сказал мне, что дедушка из Вознесенска, конечно, святой человек, но он не понимает, что у него за дела с Господом Богом. Если б он в свое время занимался земными делами, то не должен был бы теперь, на старости лет, жить у детей. Дедушка ни за что бы не поселился у тети Иды. Достаточно того, что он взял ее в Италию. Она там выплакала себе глаза, но дедушка был тверд: он даст Мальвине все, что обещал, и ни копейки больше. Истерики и обмороки не помогли, а дедушкины дочки большие специалистки по части обмороков. Они говорят, — ах, ах, — и падают на кушетку, или на кровать. Дедушка согласен жить у нас, мы его семья, остальные — сбоку припека. Я пытаюсь вступиться за дочерей, но Вова меня удерживает. Дедушка болен, его нельзя волновать.

38.

Сам Вова начал жаловаться на горло, ему не хочется идти в училище, завтра письменный ответ. Учитель пятерок не ставит. Пять у него мог бы получить только Господь Бог. Себе и себе подобным он с натяжкой поставил бы пять с минусом. А учащимся больше четверки не полагается, Близнецы его ненавидят. Он, как нарочно, их путает, хотя они разные: один рыжий, а другой — светлый шатен. Если у Вовы разболится горло, я может быть тоже заболею. Я еще не решила. Горло как будто шершавое. Нет, буду молчать. А не то появится согревающий компресс. Никто не замечает моих переживаний, каждый занят собой. Я спрашиваю маму, всегда ли при ангине трудно глотать, и она пугается. Но потом она кладет мне руку на лоб и начинает смеяться. Лоб холодный, а нос еще холоднее, как у собачки. С болезнью ничего не вышло. У Вовы получается гораздо лучше. Он задумчив и рассеян, за ужином он отказался от своих любимых охотничьих сосисок. Все забеспокоились. Горничная Юзя в отчаянье: панич Вовочка болен. Она бежит на кухню, поделиться с Геней. Когда я вхожу туда, Геня вытирает мокрую посуду, при этом она ворчит, что ее дело мыть, вытирать должна горничная. Юзя согласна: да, черная горничная, а она белая горничная и носит наколку. Я предлагаю помочь, но меня гонят. Я перебью всю

посуду и так неизвестно, кто разбил половину сервиза. Лучше мне пойти в столовую и посмотреть, что с Вовой. Геня думает, что он слишком много учится. В их местечке был такой, у него от ученья вылезли все волосы. Геня меня напугала, и я не хочу оставаться на кухне ни одной минуты лишней. Геня любит ужасы. Стоит сказать, что у кого-нибудь болит зуб или расстроился желудок, как она вспоминает, что женщина с Базарной умерла от испорченного зуба.

Я уверена, что Вова будет читать в постели. А когда войдут, спрячет книгу под подушку: больным не следует читать. От чтения температура может подняться на несколько десятых. Но Вова болен по-особому, без температуры. Это гораздо хуже, его организм не сопротивляется. Пришел доктор, он не говорит ни да, ни нет. И прописывает микстуру малинового цвета. Вот ему суют рубль и он незаметно кладет его в карман. Врачам надо платить так, чтоб никто не видел. Они бессеребренники, то есть не имеют никакого отношения к деньгам. Но почему же мадам Ашевская рассказывала маме, что какие-то пациенты не доплатили, что они зажулили два визита? Значит, доктор Ашевский не такой уж бессеребренник. Вообще, его зовут, когда нет ничего серьезного. Вове жалко старика Ашевского, у него землистые уши, как у старой собаки. Это, наверное, геморрой. Про такую болезнь нельзя говорить в обществе, она неприличная. Не самая неприличная, потому что Вова прочел в одной книге, что у чиновника был геморроидальный цвет лица. Но откуда Вова все это узнал? Я начинаю за него бояться. Недавно я спрашивала у близнецов, не переучился ли он? Они хохочут: что со мной, Вова отчаянный лентяй, но ему все легко дается! Он счастливчик и, конечно, родился в рубашке. Когда у близнецов болит горло, никаких вра-

чей не зовут. Отец говорит, что хватит с этих оболтусов борной кислоты, пол-ложки на стакан. Они завидуют Вове. Им тоже хочется болеть без температуры, чтоб давали растертые желтки — гоголь-моголь. Такая болезнь не может длиться до бесконечности. Вове скучно. От лежания образовалась впадина, она горячая, все время в нее попадаешь. Ему кажется, что он по собственной вине пропустил много интересного. Но назад хода нет, и Вова расслабленным голосом просит немного варенья на блюдечке. Юзя приносит, и он ест его очень медленно: надо растянуть удовольствие.

У Вовы тихо. Нет ни дяди из Николаева, ни вечного студента. Он один. Вова опять сказал мне, что у него в доме будут другие порядки. Если нужно, он даст на гостиницу. А вдруг родственники обидятся? Вове на это наплевать, у гостеприимства есть пределы. Дядя, например, имеет неприятную манеру молиться перед сном. Потом он кряхтит и растирает свои старые кости. Но хуже всего, если дядя простужен. Тогда он насыпает горчицу в шерстяные носки, и Вова всю ночь чихает. Сейчас Вове повезло: дядя уехал по какому-то воображаемому делу. Когда вернется, он будет ругать своих компаньонов жуликами и кровопийцами. Интересно знать, что говорят компаньоны и называют ли они его ханжой и безмозглым дураком. Одного я видела, это пузатый человек с огромной головой и коротенькими ножками. Дядя говорит, что он из хорошей семьи. А для дяди это главное. Он перечислил всех родных и родственников коротконожки. Оказывается, у них в роду больше десяти раввинов. Один дядя со стороны матери так богат, что у него в будни ставят серебряный самовар. Он играл в карты с помещиком и тому захотелось курить. Тогда богатый дядя поднес сторублевку к свече и зажег ею сигару помещика. Вова думает, что

проще было взять спичку, но дядя компаньона не упал на голову. Сторублевка не совсем сгорела, остался номер. Он обменяет ее в банке и получит свои деньги обратно. Если племянник такой же фрукт, наш дядя скоро появится. Пока он сидит на станции и скупает хлеб. Он пишет Мате длинные письма, и теперь ее главная тема: экспорт. Она как следует быть не знает, что это такое, но Вова ей объяснит. Сначала он должен уточнить кокй-какие детали.

Пока он сказал, что экспортеры живут свыше своих средств, а их жены носят бриллиантовые брошки, величиной с тарелку. У одной экспортерши была головогрудь, как у паука. Шеи не было. Она с утра съедала целую тарелку пирожных безе. «Они легкие», — говорила экспортерша. Ее сын, вовин соученик, тоже любит пирожные безе. Поэтому он спит на уроках, и наверное, останется на второй год. Ему это безразлично, он будет экспортером, как его папа. Что за царская жизнь! С утра ходят на биржу и волнуются, а вечером играют в карты и опять волнуются. Соученик хотел показать Вове железную дорогу, так называется карточная игра, но Вова отказался. Тогда сын экспортера предложил ему поиграть в девятый вал. Вова не захотел: это семейная игра для пожилых людей. Но какое она имеет отношение к дяде из Николаева? Ему незачем играть в карты. Он неудачник и останется им до конца своих дней.

Вова говорит, что маклера вокруг дяди вращаться не будут. Маклеров я знаю. Они ждут папу и стараются быть приятными. Один сказал, что ко мне будут свататься принцы и лорды. Вове они подмигивают. Они приглашают его к Фанкони. Но Вова не верит в приглашение и не желает, чтоб я прислушивалась к дешевым комплиментам. Они делают их для папы. А ему совсем не до того. Он диктует письма иностранному корреспонденту. Это не иностранец, а

обыкновенный одессит и живет он в нашем дворе, на той стороне, где нет солнца. Зато у него пиджак в клеточку, и он смеется, как настоящий француз. Корреспондент перелистывает толстую копировальную книгу, и я вижу, как он тычет пальцем в розовый лист бумаги и говорит: «Роттердам». — «Амстердам», — возражает папа. «Нет, Роттердам», — настивает корреспондент. В это время маклера в коридоре разбирают итальянскую оперу. Им все надоело, но уйти они боятся. Один хотел бы пересидеть другого.

Мама не понимает, почему я торчу в коридоре. А мне не хочется сказать, что там интересно. Каждый вечер приходит человек с красным носом. Из его ушей торчат пучки седых волос и на правой руке нехватает одного пальца. Но он не унывает. И без пальца можно прожить. Нос у него не такой, как у всех, потому что он не брезгает рюмочкой. Он сам сказал, что грузчик должен пить, иначе он не договорится ни с лошадью, ни с людьми. С Запавским он постоянно ссорится. Запавский пьяница, а он только любитель выпивки. Пьяным его ни одна Божья душа не видела. Запавский не сдается. Он не хочет, чтоб я слушала россказни этого дурака с красным носом. Я на стороне грузчика. Запавский начинает сердиться: он скажет маме, что я вступаю в разговоры с босяками и меня больше в коридор не пустят. Я ему не верю. Он сам меня заманивал в коридор. А один раз он начал дышать мне прямо в лицо. Я чуть не умерла от страха. Запавский тоже был испуган. Руки его тряслись, как у нищего с угла Ришельевской и Базарной.

Потом я ушла, меня позвали пить молоко. Когда я вернулась в коридор, там было очень тихо. На стуле, в углу, спал маленький старичок в большой шубе, отец иностранного корреспондента. Он приходит, чтоб доказать себе и другим, что он еще человек и

способен зарабатывать не хуже этих молодчиков в шикарных котелках. Но Геня сказала, что семью содержит иностранный корреспондент. Он все до копейки отдает своей маме. Его сестры, паршивые старые девы, ничего знать не хотят. Они читают романы. Она, Геня, всем сочинителям романов надавала бы пощечин. Пусть идут работать и не занимаются всякой чепухой. Сама Геня из-за семейных дел совсем забросила ученье. Она не может тратить деньги на учительниц. У нее есть муж, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Развода он не дает и каждый раз у нее что-нибудь вытягивает. Нас он стесняется. И как заслышит шаги, сейчас же лезет на антресоли. Там он кряхтит и откашливается, а иногда мне кажется, что он плачет.

Пока что я сижу у Вовы в комнате на продавленном диване. С одной стороны клеенка совсем белая, с другой она в мелких трещинах и морщинках. Я очень люблю старые диваны. На них можно валяться и никто не кричит, что я испортила обивку. В вовином диване есть препротивная пружина. Она ни с того ни с сего выскакивает и больно бьет по спине. Нахожу безопасное местечко и устраиваюсь, как будто это надолго. Но придут близнецы и мне придется покинуть мой временный дом. Под каким-нибудь предлогом меня выставят. Сын артиста сегодня не придет. Он мнительный. Ему всюду мерещатся страшные болезни, вроде кори. Вова ничего не боится. Он мечтает об Африке, где малярия и желтая лихорадка. Вову это не страшит. Он хочет углубиться в дебри девственного леса. За ним будут идти негры с пакетами на головах. Спать он будет под москитной сеткой. Огня в палатке зажигать нельзя. Но в самом лагере негры разложат костер, чтоб отпугивать диких зверей. Мне страшно. Забираюсь с ногами на диван. А как же они будут переправляться

через реки и болота? Там ведь крокодилы. Вова меня успокаивает: ничего, он пройдет по мосту из лиан. Надо только иметь выдержку.

Я думаю, что Вова вспомнил про Африку просто так, чтоб меня напугать. Он слишком взрослый, чтоб ехать туда всерьез. Боря Гаевский говорит иногда об индусских храмах и о злой богине Кали, но это не так неправдоподобно, как Африка. Чтоб убить время, Вова рассказывает про охоту на слонов. Мне ужасно неприятно. Я не хочу, чтоб убивали слонов. Но не успевает старый слон примять половину пальмовой рощи, как появляются близнецы. Они не особенно верят в вовину болезнь. Пусть Вова покажет язык. Вова возмущен. Его лучшие друзья ему не доверяют. Но близнецы уже переменили тактику и стараются к нему подъехать. «Как температура?» — «Ха-ха-ха, температура!». Вова смеется ненатуральным смехом, как артист Горелов. Это его коронный номер.

Близнецы смущены и пытаются говорить шопотом. Но Вову это раздражает. Он не так болен, чтоб надо было шептаться. Тогда начинают орать наперебой, что Вове везет, как утопленнику. Сегодня был дьявольски трудный письменный ответ. За исключением первого ученика Галкина, все сядут в калошу. Андрокардато, вообще, ничего не написал. Он подал учителю белый лист со своей фамилией. Близнецы не замечают моего присутствия. Я для них мебель. Они спрашивают Вову, сколько он намерен болеть? Вова не знает, все зависит от самочувствия. Остальное никакой роли не играет. Термометр можно выбросить за окно. Близнецы с удовольствием остались бы дома, у них тоже плохое самочувствие, но папаша говорит, что на самочувствии они далеко не уедут. Достаточно, что у него брат, недоучившийся фармацевт. Нехватает, чтоб дети стали конторщиками. Тут близнецы смотрят на меня, как будто я упала с неба.

В прежнее время Вова бы заступился, но сейчас он болен. Он должен лежать неподвижно. А я не могу уйти, не сказав последнего слова. Из предосторожности я только в дверях говорю, что мне стыдно, что у моего брата такие товарищи. Близнецы на меня наступают: «Какие такие?..» — «Отсталые!». — Это я кричу уже в коридоре.

Надо будет поговорить с Женей. Пусть он скажет своим братьям, чтоб они не очень задавались. Женю они уважают, несмотря на его возраст. Хотя один из близнецов, тот, что старше на десять минут, называет его шибзиком. Ему это совсем не подходит. Я упрекаю его за то, что он все время смотрит в словарь и проверяет, как пишутся иностранные слова. В кармане он носит семь предметов, не больше и не меньше. Число семь в древности что-то означало. Теперь оно ровно ничего не означает, но Женя от него не откажется. Он известный педант. На его письменном столе — календарь с левой стороны, карандаши и перья — с правой, а посередине чернильница, такая чистая, что глазам больно. Все книги в синей оберточной бумаге. Мне неловко смотреть на этот образцовый порядок. У меня предметы постоянно меняют места, даже если я их не переставляю. Они живут своей собственной жизнью. Карандаши ломаются, перья обрастают тиной, а чернильница опрокидывается, когда хочет. У жениного стола есть еще одно преимущество: он запирается на ключ. А мои ящики, вообще, не закрываются, в них напихано слишком много вещей. Зато я не боюсь нарушить порядок. Когда пишу, я почти ложусь на стол. Вова говорит, что от усердия я высовываю язык. Конечно, он меня дразнит и нарочно путает с Катей. Если б у меня были такие детские замашки, разве я могла бы стать сотрудницей журнала? Ведь в нем никто из вовиных знакомых девочек не участвует. Он думал

привлечь Тиночку, но потом перерешил. Она будет долго ломаться и в конце концов скажет, что должна готовить роль Снегурочки и у нее нет времени для ученических журналов.

Сейчас я хотела бы вызвать Асю, чтоб спросить ее, можем ли мы завтра ехать в гимназию на извозчике. Но меня останавливают. Что за манера беспрерывно телефонировать! Никто не понимает, что мне приходят в голову разные идеи, а Вову нельзя беспокоить. Кроме того, я ни за что на свете не вернусь в его комнату, пока там будут близнецы. Они специалисты по удалению младших братьев и сестер. Один раз они довели меня до припадка. Я, кажется, кричала: «Пусть моя кровь падет на головы ваших детей!». Я это вычитала в юзиной книжке «Страшный колдун». Но близнецы смеялись над моими библейскими проклятиями. Тогда я им сказала, что это не Библия, а книжка Юзи. Ее принес солдат в бескозырке. Близнецы окончательно развеселились. — Так-так, я читаю солдатскую литературу. Интересно знать, что думают по этому поводу мои уважаемые родители. Если б Женя читал такие книжки, они бы ему свернули шею.

Близнецы забыли, как им нравился Ник Картер и как они восхищались красавцем Натом Пинкертоном. Все свои карманные деньги они тратили на покупку выпусков в краской обложке. Их тогда чуть не исключили из реального училища. Классный наставник поймал старшего близнеца в тот момент, когда тот пытался спрятать последние похождения Пинкертона. Он так долго тряс несчастную книжку, что она рассыпалась и листы разлетелись во все стороны. Он начал рыться и нашел еще один выпуск. На обложке был изображен человек в цилиндре и крылатке. «Это разврат! — кричал классный наставник. — Ничего подобного еще не было в стенах реального училища!».

С трудом его успокоили. После этого Вова перестал читать Пинкертона и Ника Картера. Он перешел на Арсена Люпена. Это — перевод с французского и купить его можно только в магазине, в киосках он не продается. В нашей гимназической библиотеке таких книг нет и не будет.

Я попробовала заикнуться относительно Арсена Люпена, но библиотекарша посмотрела на меня с таким ужасом, что я чуть не проглотила язык. Взрослые всегда преувеличивают. Если их послушать, конец света уже за углом. Они всегда грозят страшными карами, а сами потихоньку читают вредные книги. Это не относится к нашей начальнице. Она вся—из принципов. На пустом уроке она нам объяснила, что мир состоит из принципиальных и беспринципных. Люди беспринципные не заслуживают уважения, даже в тех случаях, если они занимают высокие посты. Надо жить согласно своим принципам. Тогда дочка доктора спросила, бывают ли плохие принципы и нужно ли им следовать? Начальница побагровела. Лицо ее покрылось пятнами, а воротник блузки вдруг стал узким. Она чуть не задохнулась. Вот с какими ограниченными личностями ей приходится иметь дело! Если б Владимир Галактионович Короленко это узнал, он, наверное был бы очень расстроен. Неужели ученица второго класса не в состоянии понять, что есть только положительные принципы? Она надеется, что в дальнейшем ей таких вопросов задавать не будут. Дочка доктора задрожала от испуга. Но никто не злорадствовал. Мы не смели пошевелнуться. Недаром я боюсь принципов. Когда вырасту, постараюсь о них забыть.

Я могла бы поговорить об этом с Вовой, но близнецы прочно засели у него в комнате и будут сидеть до тех пор, пока им деликатно не намекнут, что час поздний и Вове пора на боковую. Я видела, как Юзя

понесла в вовину комнату большую тарелку с бутербродами. Есть их будут близнецы, а Вове дадут кашку или суп из овощей. Он проглотит это в две секунды, а потом будет долго скрести ложкой донышко тарелки. Но добавочной порции не получит: у больных не должно быть аппетита. Иду в столовую. Там пусто и темно. Пахнет мастикой. В щелку двери пробивается свет из папиного кабинета. Слышны голоса: папин — громкий и возмущенный и другой, хриплый и извиняющийся. Но ведь это Данюша. Почему же он хрипит? Обычно у него мягкий и задушевный голос. По-моему — передвигают мебель. Потом папа говорит так громко, что стекла начинают дрожать: «Вы негодяй, мерзавец, вы воспользовались...» Больше ничего я не услышала, мне страшно. Опять задвигались кресла, а я стою, как столб.

Нет сил сдвинуться с места. Мои ноги приросли к полу. Выходит, что я подслушиваю, и это ужасно. Я не Урия Гип, чтоб прикладывать ухо к замочной скважине. Как быть? Ведь я не нарочно пошла в столовую. Мне просто некуда деться. Катя играет в цветочное лото. Мама вышла. Она гуляет в темноте, днем ей почему-то неудобно гулять. Я могла бы повторить географию: горные цепи Южной Америки. Но кому это нужно? Будь, что будет — я не уйду. Данюша всхлипнул, он обещает сделать все, решительно все. Папа не верит, это пустые слова. Случилось непоправимое. Что же случилось? Я успела разобрать, что речь идет о Людмиле. А вчера утром она куда-то уехала. Катя хотела ей помочь и Людмила отказалась. Она и без нас уложит свой сундучок. На самый верх она положила катину старую куклу, Матильду. Опилки из нее давно высыпались, а волосы отклеиваются. Людмила взяла ее на память. Мы с Катей страшно плакали, но меня кто-то позвал, и я забыла про куклу и про сундучок. Теперь

мне стыдно. Надо было уговорить Людмилу остаться с нами. Вчера, когда подъехали дрожки, Людмила села на главное сиденье. В ногах у нее был маленький сундучек. Геня заметила, что она даже не торговалась с извозчиком.

От бесконечного стояния все тело у меня начало затекать. Осторожно переступаю с ноги на ногу. Вдруг паркет заскрипел. Сейчас выйдет папа, и я от стыда провалюсь сквозь землю. Тихонько, крадучись, иду к себе. Если б можно было, я закрыла бы дверь на ключ. Но ключа нет, он заржавел и его выбросили. Ко мне каждый может войти, не постучавшись. Вове стучат, но ответа никто не ждет. В моей комнате все на месте. А я уже не прежняя: я слышала такое, чего я так скоро не забуду. Сказать это нельзя ни Асе, ни Боре Гаевскому, хотя он ничего и никого не боится, даже самоубийц. Но его самоубийцы живут в другой квартире, а Людмила еще недавно была здесь. Она заходила без стука и прикручивала лампу. Когда провели электричество, она просто выключала свет. Хватит портить себе глаза! Успею еще начитаться всякой ерундой! Тогда я сердилась и считала, что меня обижают, а сейчас сколько бы я дала за то, чтоб услышать людмилины легкие шаги. Мне всегда нравилась ее походка. Но Матя говорила, что Людмила шагает, как солдат в строю. Неправда, сама Матя переваливается, как уточка.

Она помешана на посадке головы. Это первый признак аристократизма. Вова сказал, что многое зависит от ютиных увлечений. Если она влюбится в революционера, то в тот же миг начнет мечтать о французской и русской революции. Впрочем, все женщины одинаковы. Каждая считает себя избранницей. Вова и сын артиста еще не решили, кому отдать предпочтение и разбирают по косточкам всех

знакомых гимназисток. И несмотря на это посвящают им стихи. Но случилась большая неприятность: они, не сговариваясь, преподнесли какой-то Регине одно и то же длинное стихотворение, где говорится о любви, о разбитом сердце и о прогулках на Ланжероне в чудные лунные ночи. Регина взбесилась. Но Вова не унывает. Пройдет время, и рана залечится. Вова знаток женских сердец. Он один сумеет мне объяснить, куда уехала Людмила и почему это непоправимо. Она ведь уезжала к своей сестре и все было, как при настоящих отъездах. Ей напекли коржиков с маком, а в последнюю минуту Геня принесла замечательную вертуту для людмилиных племянников. Катя, Юзя и я поехали с ней на вокзал. Там я поссорилась с Юзей. Она говорит, что вокзал огромный, а я сказала, что он совсем не такой огромный и пора его перестроить. Кате понравился швейцар с булавой. Она хотела потрогать, но Юзя ее напугала: швейцар как гаркнет и от нас останется мокрое место. Юзя не знает, что швейцар кричит, потому что так полагается.

Не всякий может стать вокзальным швейцаром. Для этого надо иметь подходящую фигуру и голос, как у Якова Соломоновича. Кажется, что он горячится, а он рассуждает о погоде или о политике. Яков Соломонович как-то спросил меня, можно ли быть более красивой и доброй, чем моя мама. «Нет, она единственная в своем роде!». Наши вкусы сходятся. А ведь он знает маму с тех пор, как она была молоденькой барышней. У Якова Соломоновича есть обязанность, он сам ее придумал: это подарки. В прошлый раз он подарил мне настольные часы, чтоб я не опаздывала в гимназию. Не простой будильник, а швейцарский. Дядя вертел его и крутил, поднес к окну и только потом сказал, что лучшей марки не бывает.

У меня в комнате полутемно. Похоже на то, что я сижу в пещере. Мне неприятно вылезть на свет: все увидят, что я расстроена. Хлопнула парадная дверь. Это ушел Данюша. Я больше не прислушиваюсь, я хотела бы заложить уши ватой, как делает дедушкин приятель, Бебеле. Но у него вата желтая, она пожелтела от долгого лежания в ушах и на вату непохожа. Она стала частью Бебеле. А мне хочется белоснежной ваты, как у зубного врача. Он делает из нее шарики и сует их в чужие рты. Никогда я все так отчетливо не слышала, как в тот вечер. Неужели у меня абсолютный слух? Вот обрадуется мадам Трейн! Она говорила, что я себя еще покажу. До сих пор я себя ничем не проявила. Все та же баркаролла и те же этюды. А слышу я потому, что мне не хочется слышать. Как на зло мой слух работает, как у вундеркинда в бархатном костюмчике. И спрятаться мне вряд ли удастся. Действительно, через полминуты звонок телефона. Входит Юзя и без церемоний заявляет, что это барышня Асинька, но чтоб я долго не занимала телефон. После такого предупреждения выхожу в коридор, где уже сидит отец корреспондента.

Он приходит во всякую погоду, даже в бурю. Ему нужно только пройти через двор. Иногда он поднимается по черной лестнице и оставляет у Гени свой большой, тяжелый зонтик. Раз открывшись, зонт ни за что не хочет закрыться и тогда зовут на помощь конторского мальчика. Старичок говорит, что зонтику столько лет, сколько его сыну, иностранному корреспонденту. И до сих пор ни одной дырки! Вот какой был товар. Не то, что теперешние зонтики. Почему он сидит в коридоре, я понять не могу? Я к нему так привыкла, что иногда с ним не здороваюсь. Он отсиживает положенные часы. Когда вернется к себе, домашние будут спрашивать: «Ну что?» — А он ответит: «Ничего особенного. Ждал, ждал и не

дождался. Придется опять пойти». Мне неприятно, что он слышит мой глупый телефонный разговор. Ася звонит, чтоб сказать, что ничего не случилось. Ее папа и мама в клубе. Остальное она мне расскажет завтра. Говорю ей, что у меня нет времени. Я очень занята. И потом у меня мигрень. Это таинственная болезнь взрослых. Они заболевают ею, когда хотят от кого-нибудь отделаться. Трубку я вешаю одним рывком. Старичок вздрагивает. Он похож на маленькую сову, выпавшую из гнезда. Только совы не имеют сыновей-корреспондентов и не носят шубы до пят. Старичок думает, что у нас все благополучно, что жизнь идет своим чередом, как пишет тетя Таня. Откуда ему знать, что произошли важные события. И может быть, непоправимые. Что бы ни случилось, он будет сидеть в коридоре на кончике стула и ждать.

39.

Иду на кухню, там веселее. У стола, покрытого спаленной простыней, стоит прачка Оля. Она гладит носовые платки. Пар пыхтит и плюется. Время от времени Оля слюнявит второй палец и быстро касается им утюга. Затем она сыплет в черное отверстие маленькие сверкающие угольки. Это настоящее колдовство. Умоляю ее, чтоб она дала мне подержать утюг. Она меня сурово отстраняет: мои руки не для этого. Я гимназистка и белоручка. А если я буду к ней приставать, она может еще обшмалить папины платки. Оля явно хочет от меня отделаться. Я ей мешаю. Когда я вошла, разговор тут же прервался. Она подмигнула Юзе и затылком указала на меня. Это означает: здесь околачиваются. Трепать языком не следует. Для Оли я осталась маленькой. Несмотря на то, что я уже во втором классе, она приносит мне то постный сахар, то халву, завернутую в бумажку. Дите любит халву. Я уверена, что сейчас они разбирали Людмилу. Я слышала только: «девушки должны себя соблюдать», постоянное олино изречение. Она грудью налегла на стол и мне показалось, что сейчас он провалится вместе с паровым утюгом и кучей попрысканного белья. Людмила себя не соблюдала. Она целовалась с Данюшей на поляне при полной луне. Все их видели. Даже садовник. А испорченный до мозга костей Арнольд сказал, что они лежали на

траве. Я испугалась. Трава ведь сырая, и Людмила может схватить насморк. Я хотела подразнить ее, но что-то меня удержало. Может быть, ее бледность. Сам Данюша имел вид человека, объевшегося недозрелыми яблоками.

Как странно, у Мати столько романов, но бледнела она только, когда Вова читал стихотворение: «Барышни замуж хотят». Чем она больше сердилась, тем с большим пафосом он декламировал. На кухне тоже стало скучно. Скорей всего из-за меня. Я лишняя. Повторяю несколько раз, что уйду и никто не возражает. Наконец, я ухожу, но в последней момент задерживаюсь. А вдруг им станет стыдно! И чтоб загладить свою вину, Геня даст мне несколько пригоревших коржиков. Все молчат. Они еще пожалеют об этом. Когда Геня попросит меня почитать из хрестоматии о том, каких гусей выкармливали в Обломовке, я откажусь. А ей нравится, когда я читаю про гусей. Гене все равно, что Гончаров — известный классик. Ее интересует не Обломовка, а то, как там ели. Но она не совсем согласна с способом выкармливания гусей. У них в местечке делали иначе. И что понимает в гусях какой-то Гончаров! Откуда такая самоуверенность? Геню испортили комплименты. Она должна знать, кто хвалил ее миндальные рогалики и сколько порций рыбы съел Яков Соломонович. Прежде я ей сообщала и даже старалась кой-что присочинить. Теперь кончено: я обижена за Людмилу и за Гончарова. Вера Львовна говорит, что нельзя так носиться со своими переживаниями: «Я» — последняя буква алфавита, а не первая. Но что же делать? Ради дурацких принципов я не могу отказаться от себя. Вова тоже от себя не откажется. Сын артиста сказал, что он индивидуалист и за ним будут следовать те, кто признал его авторитет.

За мной никто не следует, одна только Ася. Она

хочет идти по моим стопам. Но всегда опаздывает на несколько месяцев. Ее теперь тянет на сцену. А я передумала: хочу стать писательницей с полным собранием сочинений в полукожаных переплетах. Вова считает, что у меня мало шансов, я слишком неусидчивая. Настоящие писатели встают в шесть часов утра и пишут до позднего вечера. Они не обедают и не завтракают, а пьют черный кофе. Я его никогда в жизни не пила, мне не позволяют. В моем кофе одно молоко и капелька кофе, чтоб его подкрасить. О вставании в шесть часов утра не может быть и речи. Каждое утро убеждаю себя, что часы спешат. Впрочем, до писательства далеко. Пока я поэтесса. Для этого не надо вставать на рассвете. Стихи пишут по вдохновению, а оно обычно приходит по вечерам. У меня есть конкурент: Ланя. Он начал сочинять. Ланино стихотворение начинается так: «Смерть и время царит на земле, Ты владыками их не зови...» Но я видела его в отрывном календаре. Оно подписано: Вл. Соловьев. Ланя обиделся. Выходит, что я сомневаюсь в нем. Соловьев — это он, Ланя, это его псевдоним. Вове он просит пока не говорить об этом. Я обещаю, хотя на душе у меня неспокойно. Мне стыдно подозревать Ланю, но каким образом он попал в календарь, где Пушкин и Лермонтов? Не хочет ли он просто-напросто меня разыграть, как разыгрывают маленьких детей?

Я бы ему не простила. Нет, лучше не думать о ланином стихотворении. Есть другие поэты. Наконец, Вова и сын артиста тоже сочиняют стихи. Они хотели послать в «Одесский листок», но в последнюю минуту испугались — пронюхает инспектор и тогда они могут с треском вылететь из реального училища. Правда, они бы, как Ланя, подписались чужой фамилией, но инспектора не проведешь. Он будет говорить, что это глупое мальчишество и они не Ло-

моносовы. Как было бы хорошо, если б Вова и сын артиста стали знаменитостями. Инспектор сгорел бы со стыда. Он не верил в их дарование и теперь должен признать себя побежденным. Это чистая фантазия. Вова сказал, что инспектора и классные наставники никогда не раскаиваются, они убеждены в своей правоте.

Я почти жалею, что дядя занялся экспортом и его кушетка пустует. На ней развалились близнецы и в один голос говорят о том, сколько несправедливостей выпало на их долю. Они должны готовиться к письменным ответам и приносить домой пятерки, а двоечник Андрокардато плюет на все: на него махнули рукой. На кой черт ему учение, он хотел бы сделаться капитаном торгового флота и плавать между Одессой и Херсоном! Это нетрудный рейс. Вижу, что все заняты собой. О Людмиле уже начинают забывать. Уехала и слава Богу! Одна надежда на Матю. Она обожает трагические происшествия. Но Матя на уроке сольфеджио. Это самый трудный предмет на свете. Когда Матя говорит о сольфеджио рот ее становится маленьким и круглым. У меня нет терпения ждать. Под каким-нибудь предлогом опять пойду на кухню. Там я узнаю, если не всю правду, то, по крайней мере, половину. Ведь прачку Олю не проведешь, она вроде инспектора. Всех девушек она видит насквозь.

Юзя ее боится, как огня. Она ей предсказывает страшные вещи. Если Юзя не одумается, с ней будет то же, что с Фенькой. Она гуляла, гуляла, а потом очутилась в доме. Что тут плохого, Юзя и теперь у нас в доме. Но оказалось, что олин дом не такой, как дома на Ришельевской и Маразлиевской. Там живут девушки с мадам без фамилии. Я должна это сейчас же забыть, иначе может произойти большой скандал, хуже, чем у единственного пьяницы нашего

дома, когда его жена выбегает на лестницу и кричит: «Спасите!». Потом ей стыдно выходить из своей квартиры, и она носит густую вуаль, как на похоронах. Оля только теперь заметила, что я стою посреди кухни. Не знаю, чем ее смягчить. Говорю, что у нее замечательная брошка. Но она бурчит: — «Идите к себе. Нечего вам здесь крутиться!» — «В самом деле, что она тут потеряла?» — вмешивается Геня, и я готова утопить их в чане, где вываривают белье.

Скоро придет мама, и я спрошу ее, когда вернется Людмила. Она не подумает, что с моей стороны это простая уловка. Я ведь чувствую: Людмила не вернется. Но маме не придет в голову, что я закидываю удочку. По ее мнению у меня нет задних мыслей, я вся, как на ладони. Мне жалко ее разочаровывать. Пусть думает, что у меня душа младенца. Вова сказал, что она должна быть, как чистая классная доска, на ней еще ничего не написано. Про доску до него сказал кто-то другой, но Вову это не смущает. Он способен придумать вещи более глубокие. Мамина кузина, Маня, считает его не только замечательным артистом, но и философом. «Он филозоф», — говорит Маня. Ей кажется, что «филозоф» — лучше, чем философ. Она хочет во что бы то ни стало быть не такой, как все. Например, она не любит толпу. Я тоже не люблю толпу на Куликовом поле. Но ее толпа с моей ничего общего не имеет. Она употребляет это слово в переносном смысле. Когда-нибудь я пойму и буду презирать мещанство. Что такое мещанство, она мне объяснить не сумела. Она пустилась в рассуждения о вязаных салфеточках и канарейках. А мне, как на зло, нравятся салфеточки. Канареек я тоже люблю, особенно канареечные ванночки. Значит, я одна из толпы.

Маню мне жалко: она хочет невозможного. А с дядей Авдеем Ильичем далеко не уедешь. Старик

скуповат. Когда ему начинают говорить о новом бежевом пальто, он притворяется, что не слышит. Но как можно существовать без шелкового бежевого пальто в глубоких складках! Мане до сих пор сватают женихов, и она хотела бы, чтоб в нее влюблялись. Для этого она должна быть изящной и загадочной. Изящной становятся благодаря бежевому пальто и шарфу в расплывшихся розах. Но для загадочности лучше всего недоговаривать. При женихе Маня сидит с таким видом, как будто ее только что вытащили из воды. Но как только жених уходит, она сразу оживляется и готова до поздней ночи рассказывать маме, что он ей сказал и что она ответила. И что он подразумевает под словами «хорошая погода» и «как вы себя чувствуете»?.. У Мани каждое слово имеет свой тайный смысл. Один раз я вмешалась в разговор и сказала, что жених ничего не подразумевал и был бы удивлен, если б узнал, какое значение придают его словам. Боже мой, что мне пришлось тогда выслушать! С тех пор я не вмешиваюсь в манины дела. И, вобще, я разочаровалась в Мане.

В Данюше я тоже разочаровалась. Он обидел Людмилу, и папа назвал его негодяем. А папа не бросает слов на ветер. Прежде он хорошо относился к Данюше. Я помню, как он незаметно для других что-то сунул ему в руку. Данюша зарделся и после этого весь вечер был в веселом настроении. Папа не поверил бы, если б ему тогда сказали, что он целует Людмилу, и она замирает в его объятиях. При папе нельзя говорить о поцелуях и тому подобных вещах. Он этого не выносит. Сын артиста сказал мне, что его папаша — полная противоположность. Он знает все анекдоты для некурящих. Какая чушь! Я уже не говорю о папе, но дядя из Николаева за всю свою жизнь тоже не выкурил ни одной папиросы! Яков Соломо-

нович тоже не курит. Одним словом, то, что говорят о некурящих — сплошная ложь и клевета.

Самый большой курильщик — мой дедушка. У него целая гора ящичков из-под сигар. Недавно он подарил мне светло-коричневый ящик, и я положила туда носовые платки. На следующий день я взяла с собой мой самый лучший платочек с незабудками. Матя думает, что это машинная вышивка, но я не вижу разницы, они почти, как живые. Пришла в класс с опозданием. Когда я тихо приоткрыла дверь, мадам Тюрбо начала втягивать в себе воздух и принюхиваться. Она смотрела на меня в упор, как на чудовище из музея Яни, а потом заговорила французской скороговоркой: «Сигар, это сигар, девошка курит сигар... Пусть она скорей выйдет из класса, где чистый порядочный воздух». Мне так и не удалось растолковать ей, что это дедушкины сигары, что я тут ни при чем. Я совала ей носовой платочек, а она отворачивалась и фыркала, как будто я предлагаю что-то нехорошее. Больше не буду выпрашивать сигарные ящики. Лучше собирать флаконы. Они пахнут сухими фиалками.

Душиться в гимназии не позволяют. Тоню выставили из класса, и она должна была проветриваться в коридоре при открытом окне. Надежда Игнатьевна говорит, что девочки должны пахнуть марсельским мылом. У него есть запах чистоты, самый подходящий для нашего возраста. Вассе это безразлично, она не кокетка. Но другие девочки страдают. Чтоб избавиться от соблазна, подарила Юзе мой остроумовский одеколон. Она им душится с утра до вечера. Моя яичница пахнет белой сиренью. Куда бы Юзя ни шла, за ней тянется белая сирень. Вова говорит, что все провоняло белой сиренью, как в одном рассказе у Чехова, где все кушанья пахнут пудрой и монпасье. Я читала рассказ «Сирена», но на всякий случай

делаю вид, что пудра и монпасье для меня открытие. Не уверена в том, что мне полагается читать «Сирену» и предпочитаю никому, даже Вове, не рассказывать, как я увлекалась Чеховым. Теперь увлечение прошло. Он кажется мне немного однообразным. Читаю рассказы из жизни самоедов. Я дошла уже до того места, где начинается голод. И бабушка, вместо тюленьего мяса с жиром, варит когти и шкуру. Все, даже собачью упряжку давно съели. В чуме дымно и холодно. Кругом полярная ночь и, кажется, ей не будет конца. Но вот раздался треск, и стены затряслись: это откололась льдина. Пошатываясь от слабости, отец выходит на охоту, и я вместе с самоедами радуюсь приходу весны.

Мне стыдно сказать об этом Боре Гаевскому. Он подумает, что я безнадежно поглупела. После Чехова и Тургенева перейти на каких-то самоедов! В последний раз мы говорили о книгах, и он заявил, что презирает беллетристику. Почему же, когда я выхожу из комнаты, он начинает с жадностью перелистывать старое «Задушевное слово» и журнал «Юношеские годы»? Значит он не так уж увлечен наукой, но ему неловко быть таким, как все. Неужели это будущий Данюша? До сих пор он был прямым и честным и требовал чтоб все были прямыми и честными. Но сейчас у меня другие переживания: я думаю о Людмиле. На кухне мне удалось поймать обрывки разговора о ком-то, кто покрыл грех. Это не ново. Покрыть грех — значит жениться. Тогда рождается ребенок, и грех покрыт.

40.

Но разве дети это грех? Отчего же так радовались, когда у Мальвины родился мальчик? Теперь уже не радуются, с ними перестали встречаться из-за мальвининого мужа. Он плут. Он заставляет Мальвину ходить по родственникам и устраивать скандалы. Дедушка говорит, что она не лучше своего мужа, это настоящая тигрица. Странно, с каких пор она стала тигрицей, ведь недавно она была еще в зубоврачебной школе. На это дедушка сказал, что она пошла в свою мать, тетю Иду. Бедный дядя Саша очень удручен: ему неловко за Мальвину. Он даже не заходит в столовую, а сидит в коридоре с отцом иностранного корреспондента. Они говорят о том, что золотые дни миновали и вспоминают господина Баумштейна. Такой конторы ни у кого в Одессе не было и не будет. Всем конторам контора. В приемной стулья братьев Тонет, а в кабинете кресла, обитые коричневой кожей. Сколько там крутилось народа и всем что-нибудь перепадало. И это были не маклеришки с шляпами на затылке, а солидные люди. У отца корреспондента нос начинает краснеть, я боюсь, что он расчувствовался. «Я был вхож к Баумштейну», — говорит он дяде. Дядя тоже был вхож и поэтому они так хорошо друг друга понимают.

Мне этот Баумштейн антипатичен. Он, наверное, любил пускать пыль в глаза. А я терпеть не могу

задаваться, вроде дочки доктора. Она всем рассказывает, что ее папа лучший в мире диагност. У нас в классе никто не знал, что такое диагност. Оказалось, что это врач, который определяет болезнь. В таком случае и Ашевский диагност. Правда, ему не доверяют, и если температура у Кати выше тридцати восьми, зовут детского врача с круглой лысиной. Но дочка доктора не уступает: в Одессе нет лучшего диагноста, чем ее отец, остальные ему в подметки не годятся. Ася слышала от своей тетки, зубного врача, что он вовсе не диагност. И, вообще, он не занимается практикой, он водит богатых людей к другим докторам и за это получает проценты. От кого он их получает, Асе не сказали.

Опять хлопнула дверь. Это уходят близнецы. Только они умеют бросать ее так, что треск разносится по всему подъезду. Ура, враг смылся! Бегу к Вове. Он лежит страшно разнеженный и жалуется на головную боль. Еще бы, от близнецов всякий может заболеть. Но термометр ничего не показывает. Надо сначала опустить его в горячую воду. Я выпрашиваю немного воды из чайника. Она не очень горячая, но тем не менее серебряный столбик сразу поднимается до сорока. Вова говорит, что теперь термометр в порядке. Как бы мне хотелось, чтоб он выскользнул из рук Вовы и разбился. Тогда я сумею подобрать капельку ртути. Она тяжелая и очень приятная. Вова измеряет температуру ровно пятнадцать минут. А доктора держат градусник одну минуту. Вова с этим несогласен. Что за спешка! В последний момент может прибавиться несколько десятых, и ртуть перейдет за красную черточку. Но она не переходит, все те же тридцать шесть и шесть. Неужели ему придется пойти в училище? Он, конечно, принесет записку от родителей. Иначе подумают, что это был праздник святого лентяя. В казенных школах

учеников уже заранее считают лжецами и притворщиками. У нас все построено на доверии. Так думает библиотекарша. Но когда Тоня Калиниченко просит позволения выйти, Надежда Игнатьевна не сразу соглашается. Она не верит, что ей нужно в уборную. Тоня просто хочет улизнуть из класса. Она краснеет, как рак, и говорит, что ей очень нужно. Надежда Игнатьевна машет рукой: «Ну, иди и не задерживайся!». Все отлично понимают, что Тоня вернется перед самым звонком. Она забыла выучить басню.

Топсик тоже любит выходить из класса. Но ей не везет. Она всегда сталкивается с начальницей. У Топсика начинают дрожать колени. — Я ничего, я на минутку... От страха Топсик заикается. Она сейчас вернется, ей расхотелось. Нет, такие трусихи не должны учиться во втором классе. Пусть держатся за юбку своей мамы, это им больше подходит. Зато Вова не из трусливого десятка. Пользуюсь тем, что он немного повеселел и спрашиваю, думает ли он, что Данюша покроет грех. Вова возмущен. Какой грех я имею в виду? Откуда у меня такие дурацкие идеи? Разве ему известны намерения этого болтуна Данюши? Он уже один раз покрыл грех. Вова знает, что у него имеется жена и никому не известный ребенок. Его будто бы заставили жениться. Тут Вова пугается своей откровенности и просит меня забыть про Данюшу и его таинственную жену. Чтоб успокоить Вову, обещаю все забыть. Но мне вряд ли удастся. Всех чужих женщин я буду принимать за жену Данюши. Хотя Вова сказал, что она живет где-то на севере. Кажется, в Москве. Я боюсь, что у его ребенка паучьи ручки и ножки, как у нищих детей. Их берут напрокат, чтоб разжалобить прохожих. Это мне рассказала Юзя. Она знает трактир, где идет торговля детьми. Данюшина жена не такая страшная, как эти жирные растрепанные нищенки. Она должна быть

блондинка среднего роста. Почему же Данюша скрыл ее от родственников? Не думает ли он, что она слишком простенькая?

Вова ничего больше не скажет. А мне подробности не нужны. Я их сама могу придумать. Главное, Данюша трус и негодяй. Но разве писатель может быть такой ничтожной личностью? Вова смеется. Он вовсе не считает Данюшу писателем. Это жалкие потуги. Таких, как он, тринадцать на дюжину. Вова не уверен, что принял бы данюшины произведения в наш журнал. Он преувеличивает. Сын артиста и близнецы тоже не Бог весть какие писатели. Но Вова неумолим. По его словам сын артиста лучше Данюши. У него есть данные и они рано или поздно проявятся. А у близнецов слог очень бойкий, они могли бы участвовать в журнале «Сатирикон». О себе Вова умалчивает. Обо мне он тоже молчит. Нельзя расхваливать своих родных. Даже близнецов Вова хвалит только за глаза. При встрече он говорит им, что они неучи и советует почитать графа Л. Н. Толстого.

Сына артиста не так легко критиковать. Он себя в обиду не дает. Когда он был с театром в провинции, там, в самой большой местной газете, напечатали его стихотворение. А когда рецензент заболел, он вместо него писал о пьесах Леонида Андреева, и так замечательно, что многие плакали. Из остальных сотрудников журнала Вова восхваляет, конечно в его отсутствие, самого умного реалиста, Жору. Дружить с ним он не дружит. У Жоры нет друзей, у него только поклонники, или враги. Жора слишком заносчив и терпеть не может, чтоб ему противоречили. Каждого спорщика он готов раздавить своим презрением. Близнецов он считает кретинами. Но с Вовой не ссорится. Жора сказал, что Вова и он — две державы. Остальные — плебс и их нужно держать на почтительном расстоянии. Вова перевел мне слово плебс,

и я была так возмущена, что решила подавать Жоре полпальца.

Боря Гаевский тоже задирает нос. Сейчас я знаю, что он застенчивый и поэтому держится в стороне. Чужих он не любит, они задают глупые вопросы: где папа, что мама и так далее. А это его больное место. Он не хочет говорить о своих родителях. Он их не соединяет. Мама, ее надо жалеть, но она слишком нервная. Она лежит с ледяным компрессом и примочками, а в это время отец Бори Гаевского накручивает скатерть на правую руку и бум, — весь пол покрыт острыми кусочками стекла. В такие минуты Боря ненавидит отца. Но это не та ненависть, какая бывает в книгах. Когда все осколки собраны в совок, а помятая скатерть опять лежит на столе, борин отец становится маленьким и жалким. Одна прядь у него отстает и видно, что он лысый. Тогда Боря начинает его жалеть. Ему хотелось бы пригладить эту прядь, чтоб она не торчала, но он не решается. Отец уходит к себе и дома становится тихо, как в больнице. Из других гордецов я знаю еще дочку доктора. Но она, скорее загадка. У Вассы есть своя гордость. Она убила бы всякого, кто б ее пожалел. Только мне она разрешает жалеть ее. Она уверена, что я не выдам, и все тайны унесу с собой в могилу. Так выражается Матя. Просто хранить тайны — ей мало, нужно обязательно унести их подальше. Я хотела бы беречь людмилину тайну, но она ненастоящая. Все, кроме меня, что-то знают.

Пока я размышляла над моими гордецами, Вова заснул. Голова его все глубже уходит в подушку. Он поворачивается на другой бок и тяжело вздыхает. Мне страшно. Никогда бы не поверила, что во сне так вздыхают. Мне сказали, что некоторые плачут и даже смеются со сна. Это неправдоподобно. Но один раз я проснулась и вся подушка была мокрой

от слез. Мне приснилось, что я в пустом доме, все меня бросили. Я одна в комнате с ободранными обоями... А что снится Вове? Неужели длинный лист в квадратиках и на нем фамилия, имя и больше ничего.

У нас пока нет письменных ответов. Иногда на свободном уроке заставляют писать о чем-нибудь по собственному выбору. Я выбрала утро на даче. Мы все сидим на аллее и приходят разные торговки, торговцы, мороженщики, рыбаки с Большого Фонтана. В это время на всех столах кипят самовары и слышно пенье птиц, свивших гнезда в столетних каштанах. К счастью, никто, кроме библиотекарши, этого не читал. А ей кажется, что столетних каштанов не бывает. За торговцев она меня похвалила. В общем, она удивляется, почему я так много пишу об еде. Мне неприятно. Она может подумать, что меня интересуют брынза и зеленые огурчики. Пишу я об этом, потому что помидоры с колечками лука так же красивы, как цветы на клумбах. Но я не низменная натура, вроде Андрокардато. Он хочет быть капитаном, а сам боится заплывать дальше первой или второй бочки. Он сказал Вове, что многие моряки никогда не купаются. Море — не ванна, чтоб в нем купаться! Оно существует для яхт и для Русского Общества Пароходства и Торговли. К тому же в море вода холодная и легко схватить насморк. Но что я слышу: Вова чихнул. Может быть, он все-таки простужен и градусник напрасно не хотел подняться. На цыпочках подхожу к дверям, и они, как нарочно, начинают скрипеть. Но Вова не просыпается. Он спит, подложив кулак под голову.

Не успеешь разойтись, как уже девять часов и пора в постель. А в десять — глубокая ночь. Впрочем не для всех это ночь. Асины родители только что сели за карточный стол, а Матя в зале Биржи на Губермане, и теперь антракт. Скоро начнется второе

отделение. Ученицы музыкальных школ заранее сходят с ума. Обычно в это время дядя говорит о политике с Яковом Соломоновичем. Он ругает газету «Фигаро». «Вы же не читаете «Фигаро», — возмущается Яков Соломонович, — вы даже французской грамматики никогда не учили!». Но дядю не так легко сбить с позиций: он говорит, что «Одесский листок» в сто раз лучше «Фигаро». Это — своя газета, он знает, где типография и сколько там рабочих. Сейчас в столовой тихо, дядя в отъезде. А мне полагается спать, но я не сплю, я читаю последнее приложение к «Ниве». Книгу я незаметно стащила со стола и зачитываюсь рассказом писательницы с двойной фамилией: Щепкина-Куперник.

Утром все не клеилось. От лифчика отскочила главная пуговица, и я хотела заменить ее английской булавкой. Мне это не удалось. Юзя сказала, что барыня будут сердиться. Никогда еще меня так не раздражало множественное число. «Послушайте, Юзя, ведь барыня одна, значит она будет, а не будут». Но Юзя не хотела слушать. Меня не касается, как она говорит. Я вот хочу быть самой умной, а не умею пришить пуговицу. Потом она мне нарочно дала глазунью, где один глазок растекся и образовал желтую кляксу. Катя тоже сидела в столовой и пила какаву. Так она продолжает называть какао, и все думают, что это очень остроумно. Я сделала ей замечание, но она вдруг надулась и стала пускать пузыри. Ей, видно, было себя очень жалко. Она захлебывалась и повторяла: «Ма-ма, Надька меня дразнит. Ма-ма...» Но на нее прикрикнули: маму нельзя будить, она отдыхает, доктор велел ей спать очень поздно, до двенадцати часов. Про двенадцать я выдумала. Но при чем тут доктор? Разве мама больна?

Она перестала носить блузки с гипюровыми прошивками, но это еще не означает болезнь. Мне обид-

но, что блузки висят в красном платяном шкафу, в них мама была похожа на артистку. Матя прижимала руки к сердцу и прямо изнывала от восторга: «Теинька, вы настоящая примадонна итальянской оперы». Она сравнивала маму с артисткой Пасхаловой. А теперь мама с утра до вечера в бордовом капоте. Я его ненавижу. Вова его тоже терпеть не может. Он смотрит на маму с упреком и ей становится неловко. Не понимаю, почему она так привязалась к этому шерстяному капоту. Спросить нельзя — она может обидеться. К нам повадилась мамина акушерка, мадам Дунаевская. Кате и мне она каждый раз говорит, что мы ей обязаны своим появлением на свет. Она все еще похожа на Екатерину Великую из учебника истории. У нее белые ватные волосы и маленький рот. Я нахожу, что она величественная, но Вова не соглашается. Он сказал, что у нее талия в три обхвата и кажется, что она в шубе. На самом деле у нее нет шубы: она содержит больного мужа и больных детей. Мужа я знаю, он носит крылатку и мягкую фетровую шляпу. Зимой и летом он в крылатке.

Мне жалко мадам Дунаевскую, но я не радуюсь ее приходу. Она все время отдает распоряжения и хотела бы, чтоб все ей подчинялись. Она — медицинский персонал. Но и Надежда Моисеевна медицинский персонал, а она деликатная и всегда говорит: ручка, ножка, плечико. Мне не особенно приятно, когда мою ручищу в чернильных пятнах называют ручкой. Она это делает по деликатности своего характера. А мадам Дунаевская даже не пытается быть деликатной. Каждая семья должна ее боготворить. Ведь половина Одессы — дело ее рук. Она, наверно, преувеличивает. Ни Вова, ни я не хотим быть ей обязанными. Но уже поздно, поправить это нет никакой возможности. Даже папа с ней страшно любезен. Он задает ей какие-то странные вопросы, а

она в ответ называет его молодоженом. Папа просит ее приходить почаще. Мадам Дунаевская согласна. Она готова хоть каждый день навещать нас. Это ее любимое слово: она всех навещает. «Ах, вчера я навестила мою милую Фаню Петровну. И, представьте, она уже в третий раз меняет кормилицу». Но Фаня Петровна не грудной ребенок и ей мамки не нужны. Тут выясняется, что мадам Дунаевская принимала у нее мальчика. И какого мальчика! Глаза мадам Дунаевской закатываются так, что видны одни белки: этот мальчик вылитый дедушка, он весит двенадцать фунтов.

Мы с Вовой переглядываемся. Разговоры о детях нам очень неприятны, но уйти никак нельзя. Мадам Дунаевская занимает половину стола. Она, пожалуй, возьмет еще блинчик с творогом. После этого она накладывает на тарелку полдюжины блинчиков. Я знаю, что с моей стороны негостеприимно подсчитывать, но я не могу удержаться. Когда мы, наконец, идем к себе, она остается с мамой, и они бесконечно о чем-то советуются. Прежде мама спрашивала про мужа, как его здоровье и будет ли младший сын, Минчик, экстерничать. После этого мадам Дунаевская получала подарок: материю на платье и быстро уходила. Тогда она была мне очень симпатична. Мне хотелось знать, почему Минчик не выдержал экзамена. Неужели потому, что он экстерн и должен проваливаться? Я даже была с мамой у нее в гостях. Мне понравилось, что чай пили из чайника, а не из самовара. И хлеб лежал прямо на клеенке. Мадам Дунаевская упрашивала нас попробовать замечательный мед из Каменец-Подольска. Такого меда мы еще не ели. Я попробовала. Мед был такой же, как в Одессе. Теперь все изменилось: мадам Дунаевская стала у нас своим человеком. Кроме нее, часто приходит мамина кузина, Маня. Она опять переживает.

У нее мало денег, она поссорилась со своим отцом. Он сказал, что ему надоели вечные женихи. Пусть возвращается домой и живет в провинции. Но Маня и слышать об этом не хочет, и мама ее поддерживает. Она предложила Мане поселиться у нас. Маня отказалась, ей нужна независимость. Она будет питаться яблоками и ливерной колбасой, это самое дешевое.

Маня приходит с маленьким пакетом, в нем колбаса. Мама сердится. Можно подумать, что мы собираемся морить ее голодом. Маня не сдается. Сначала она поужинает со всеми, а потом будет есть свою колбасу. То, что она сделана из собачьей печенки, Мане безразлично. Мне не терпится попробовать Манину колбасу, и я верчусь вокруг нее и смотрю ей в рот. Иногда мне перепадает ломтик. На перемене рассказываю Вассе, что съела полфунта ливерной колбасы. Она ничуть не удивлена. Подумаешь, она съела целый фунт и ничего с ней не случилось! Маня приносит яблоки. Они меня не соблазняют. Снаружи они сморщенные, а внутри — червивые. Мама предлагает Мане грушу «Вера Александровна». Но Маня хочет питаться краснощекими яблоками. Мама говорит, что махнула на нее рукой. У них в семье все упрямые. Дядя Авдей Ильич из упрямства носит сапоги и играет в преферанс. А тетя из упрямства говорит исключительно в неопределенном наклонении. Надо пойти туда-то и сделать то-то. Дядя Авдей Ильич делает вид, что не заметил неопределенного наклонения. Он обнюхивает домашние салаты и уходит в клуб ужинать.

Все это я узнала случайно. При мне о клубах говорят только когда мы идем туда на детское утро с участием фокусника. Фокусник тот же, остальные артисты меняются. А фокусы всегда одни и те же. Сын артиста обещал показать мне книжку, где все

объяснено. Каждый, кто ее прочтет, может стать фокусником и душой общества. Он купил ее за десять копеек у Андрокардато. Тот мучился-мучился и ничего понять не мог. Сын артиста предложил, что спрячет меня в картонный ящик и будет прокалывать его кинжалами. А через несколько минут я вылезу и буду, как ни в чем не бывало, раскланиваться с публикой. Но я отказалась. Здесь какое-то жульничество. Пусть прокалывает знакомых гимназисток. Тогда он сказал, что будет глотать шпаги. Но мы, Катя и я, должны сначала заплатить за вход. На это мы не пошли. Потом Вова его долго ругал. Как он смеет втирать очки его сестрам. Это форменное свинство.

Сын артиста идет на кухню. Там все блестит: горшки и кастрюли. Юзя раскладывает пасьянс. Он называется «часы» и почти никогда не выходит. Она задумала что-то очень серьезное и так волнуется, что карты все время падают на пол. Геня недовольна, она загрязнит пол своими паршивыми картами. Пусть Юзя ей погадает. Но Юзя предпочитает пасьянс. Ее научил Вова и она невероятно горда. Сыну артиста надоедает на них смотреть. Он хочет показать новый фокус. Геня плевать хотела на его фокусы, ей нужно знать, на чем сердце успокоится. А всякие штучку-шмучки ее не интересуют. Она не понимает, почему сын артиста должен здесь крутиться и морочить людям голову. Говорю ей, что у него нет своей кухни, он живет на полном пансионе! На самом деле он обедает у нас. Вова сказал, что пансионская еда ему не нравится: дают суповое мясо. А его не будет есть ни одна уважающая себя кухарка. Нашим пансионом сын артиста очень доволен. Близнецы тоже хотели быть у нас на пансионе. Они говорят, что просто мученье смотреть на то, как их отец делит мясо и накладывает его на тарелки. Так будто бы делают в Англии. Здешние мужчины не умеют де-

лить: они режут слишком тонко или слишком толсто. Не то, что в Англии, где этому учатся с детства.

Я читала в одной географической книжке, что в Лондоне по улицам ходят люди-бутерброды. На груди и на спине у них вывески. Посредине они сами как начинка. По-моему унизительно ходить по улице с вывесками, чтоб все могли тебя прочесть, как будто ты неодушевленный предмет. Англия мне разонравилась. У нас в Одессе вывески там, где полагается. На одном доме я видела дощечку: доктор Портной. Возле нас, в переулке, живет портной, по фамилии Доктор. Есть еще домашние обеды: «Прием столовников с доставкой на дом». В Англии этого не увидишь. Там столовники сами идут домой, никто их не доставляет. А иллюзион, где во всю длину дома написано «Двадцатый век» и где показывают две картины с Верой Холодной, одну с Глупышкиным, несколько видовых и журнал братьев Пате. Увести меня оттуда нет никакой возможности. Я привыкаю к своему месту, к продавщицам с подносиками, к воздуху, до того спертому, что все сидят с раскрытыми ртами.

В дорогих иллюзионах дают всего одну картину, а в антрактах прыскают из пульверизатора противными сладкими духами. Не успеешь к ним принюхаться, как пора уходить. На улице длинная очередь. Все терпеливо ждут: сейчас будет нечто исключительно интересное. Мне хотелось сказать, что ничего интересного не будет, но меня, наверное, приняли бы за сумасшедшую. Я молчу. Может быть у нас разные вкусы и им понравится картина, где все страдают. Одна так страдала, что было видно, как по ее щекам катятся крупные слезы. Вова сказал, чтоб я не расстраивалась: они глицериновые. В глаз впускают глицерин, а из него образуются слезы. Мне стало неловко за героиню и плакать мне тоже расхотелось. Но

Вова говорит, что нельзя впадать в крайности. Сначала увлекаться, а потом развенчивать. Почему нельзя? Данюша постоянно говорил: «я сжег все, чему поклонялся...» И многие это повторяли. Как глупо, что я вспомнила о Данюше, я хочу его забыть. Приказываю себе: забудь! А он тут, как тут.

Значит, Боря Гаевский неправ. Он убеждал меня, что существует самовнушение. Я тогда спросила, могу ли я внушить себе, что танцую как прима-балерина Макарова? Но он рассердился: это наивный вопрос. Так и не выяснили, способна ли я стоять на большом пальце правой ноги. Боря Гаевский сказал, что внушать другим совсем просто. Надо сделать несколько пассов и человек засыпает. После этого он в вашей власти. Я не знаю, что такое пассы и мне жутко. Я не хочу быть ни в чьей власти. Вдруг, гипнотизер прикажет, чтоб я убила младшую дочь портного Питкина. А на утро я очнусь и даже не буду помнить, что совершила преступление.

41.

Возвращаюсь в столовую, где сын артиста сам себе показывает фокусы. Ему скучно. В таких случаях он готов со мной говорить о чем угодно, даже о стихах. Читала ли я Бальмонта? А Брюсова? Он хочет продекламировать: «Каменщик, каменщик в фартуке белом...» Но я это уже сто раз слышала. А вот сейчас он мне скажет вещь совершенно невероятную: один поэт, фамилию его он забыл, пишет о восковой кукле в окне парикмахерской и объясняется ей в любви. Как я думаю, можно ли любить куклу из витрины? Я думаю, что можно. Главное, любить крепко, и тогда кукла оживет — ее восковое сердце превратится в настоящее. Сын артиста говорит, что сюжет недурен, и он постарается его использовать. Его не смущает, что это я придумала. Хорошо еще, что он меня не высмеял. В конце концов он уходит и на прощание говорит, что я маленькая мечтательница. В кровати, перед сном, вспомнила слово мечтательница и мне показалось, что я поднимаюсь на воздушном шаре очень, очень высоко, под самый купол небес. Может быть, это начало сна, потому что внизу, на земле, я вижу людей, они маленькие и похожи на мурзилок. Я узнаю голос мадам Дунаевской. Она кричит, чтоб я поскорей вернулась, не для того она помогла произвести меня на свет, чтоб я улетала Бог знает куда. А рядом с ней Данюша. Мадам

Дунаевская держит его за руку. Ему нужна покровительница, иначе он никогда не покроет грех. Мой шар поднимается все выше, и мы входим в облако. Оно пухлое, как кремовая начинка, и его хочется лизнуть. Но облако исчезает так же быстро, как появилось. Опять висим над пропастью и кто-то говорит: «Балласт... Надо сбросить балласт». Я хочу сбросить, но никакого балласта нет, одни учебники в старых переплетах. Что было дальше — не помню. Я проснулась от дикого шума, над моей головой буравили потолок. Конечно, никто не думал буравить, просто звонил будильник. От него нельзя укрыться. Когда Вова прячет его под подушку, будильник хрипит и задыхается. Это еще неприятнее. Мои вещи разбросаны по комнате. Хорошо, что никто не заметил. Если нужно я умею в два счета навести порядок: ботинки под кровать, книги под одеяло, тетради в средний ящик стола. Остальное, куда придется, лишь бы выглядело аккуратно.

Вова пьет чай с молоком. Ему повезло, он еще не совсем выздоровел. Сегодня он останется дома и будет ходить по комнатам, чтоб немного окрепнуть. Мне бы тоже хотелось остаться, но никто не поверит в мою молниеносную болезнь. Хватит и одного больного без температуры! Ну что ж, пойду в гимназию, но если на перемене у меня разболится голова, я обязательно вернусь домой на извозчике. Приносят какао. Я не хочу его пить, оно для малокровных. Юзя говорит, что я встала с левой ноги. Ей легко, у нее нет ни географии с немой картой, ни Надежды Игнатьевны. В последнее время она решила нас подтянуть и вызывает то из середины, то с конца. Хуже всех приходится Топсику. Она становится еще меньше и неправильные глаголы разом вылетают у нее из головы. Зато она часами может рассказывать про озеро Байкал. Оно будто бы глубже

Черного моря. Один раз я с ней спорила до слез: мне было обидно, что наше грозное Черное море, где гибнут корабли, сравнивают с озером, пусть даже самым большим на свете. Она мне уступила, но я должна была сознаться, что никогда в жизни не ела пельменей. Про пельмени я рассказала Вове, и он пожал плечами: «Наши ушки значительно вкуснее, и потом это одно и то же. Название меняется в зависимости от климата».

А мне все-таки неприятно, что я не видела озера Байкал. Вова меня утешает: я еще многого не видела. Когда-нибудь он поедет за границу и возьмет меня с собой. Мы будем смотреть на собор Парижской Богоматери и гулять по Пале-Роялю. Он похож на одесский Пале-Рояль, но в нем нет кондитерской Печесского и газеты «Одесский листок». Сын артиста надо мной издевается, ему непонятен наш одесский патриотизм. Чтоб окончательно нас убить, он говорит, что родился в Киеве. Там Владимирская горка и тополя, и вообще Киев — мать городов русских. Одессы я ему не подарю. Он еще будет гордиться тем, что живет на Надеждинской и учится в Одесском реальном училище. «Да, — снисходит сын артиста, — к дому на Надеждинской, наверное, прибьют мраморную дощечку, где золотыми буквами будет писано, что там жил такой-то». Близнецы тоже хотят мраморную дощечку. И Вова тоже, но он молчит.

Я не смею мечтать о дощечке, она не для женщин. Это знают твердо Вова, сын артиста, близнецы и даже Андрокардато. Настоящие женоненавистники. Но стоит появиться какой-нибудь хорошенькой гимназистке, как они становятся галантными. И они готовы проводить ее до самого дома, потому что после семи на главных улицах большое движение. Некрасивых они не провожают. Им не грозит опасность.

До сих пор меня никто не провожал. Если становилось темно, за мной посылали Юзю, а раньше — Людмилу в бывшей маминой шапочке и пальто от портного Питкина. Я очень любила это пальто, оно было сшито по картинке из модного журнала. Я была с ней на примерке. Питкин лез из кожи. Он проводил рукой по людмилиной груди, чтоб удостовериться, не жмет ли. Потом он пощупал талию, и Людмила ударила его по руке. Питкин был удивлен: он не понимает, в чем дело, сидит отлично. Настоящий парижский шик. От такого пальто не отказалась бы сама директорша. В это время в бывшей катиной коляске с оторванным верхом плакал новорожденный Питкин. Другой, трехлетний, ходил, как старичок из угла в угол. Он требовал копейку. Я хотела ему дать, но Питкин не позволил. «Не нужно, он не знает, что такое деньги». Из вежливости я спросила Питкина, сколько у него детей, но он ни за что не хотел ответить. «Кто считает? Дураки! Пусть растут себе на здоровье».

Домой мы возвращались по черной лестнице. Она пахла жареным луком и еще чем-то. Людмила сказала, что это капуста. На парадной зато пахнет пылью от невыбитых дорожек. Есть другая черная лестница, но Людмила говорит, что там такая вонь, что не приведи Господи... Странно, что взрослые так боятся вони, у них особое обоняние. А мне больше всего нравится запах свежих коржиков. О духах я не говорю. Надо ждать, чтоб их преподнесли. Матя сказала, что ни одна интересная женщина не может купить себе духи. Это против правил. Но как быть, если нет преподносителей? Неужели надо плохо пахнуть? Матя недовольна, я хочу все выведать. Вдруг она вспоминает, что у меня много пробных флакончиков Брокара. Я могла бы подарить ей один или два, зачем они мне. Хорошо, я ей дам, хотя подарки не переда-

ривают, а их принес Яков Соломонович. Он узнал, что я люблю душиться и пахнуть, как куст сирени или как веточка ландыша.

В гимназии я по рассеянности только чуть-чуть капнула духами на голубой холстинковый передник и меня тут же выставили из столовой. Я порчу аппетит своими одеколонными запахами. Теперь я душусь по вечерам, когда мама и папа уходят. Все вокруг меняется. Сейчас войдет молодой инженер с выразительными глазами. Я нашла его в одной пьесе. Ее сочинил папин знакомый адвокат, не Тубенкопф, а тот, что пишет стихи. Пьесу у меня отобрали, но я успела прочесть первое действие. Инженер с выразительными глазами томится у себя в кабинете с дубовым письменным столом. Его преследует страсть к демонической женщине по имени Эльга. Но у него есть жена, Майя, и поэтому он разрывается между долгом и чувством. Потом приходит закадычный друг — инженер, но самый обыкновенный, с острой бородкой и в пенсне. Они говорят о любви и о долге. Что будет дальше — неизвестно. Книга исчезла. Я так и не узнаю, кто победил: демоническая Эльга или кроткая жена, Майя.

Вова смеется над инженером с выразительными глазами. Сам автор пьесы тоже не вызывает в нем никакой симпатии: он графоман. Пишет каждый год по пьесе. Выходит, что все пишущие — графоманы. Это обидное слово, и я боюсь, что оно относится ко мне. Правда, пьес я не пишу, но в общей тетради у меня три или четыре стихотворения. Больше всего я опасаюсь, что пронюхает кто-нибудь из моих соучениц и тогда мне не дадут прохода. Моя соседка по парте, та, что лезет целоваться, тоже пишет стихи. Но она ни капельки не стесняется и готова каждую минуту стать в позу и декламировать. Она ведь

особенная: ее дядя фельетонист, а папа — сотрудник «Одесских новостей».

Дочка доктора говорит, что ее папа тоже писатель, у него есть медицинский труд про беременных женщин. «Какой ужас!». Дочка доктора думает, что я сомневаюсь. Она предлагает пойти к Распопову. Там в окне выставлена эта книга. Она стоит рубль двадцать. Дочка доктора три раза повторяет цену. Но я даже не смотрю в ее сторону. Я сама не понимаю, откуда у меня такая ненависть. До сих пор я любила почти все книги и даже к учебникам относилась неплохо. Особенно притягивали меня книги из библиотеки приказчиков-евреев. Они пахли плесенью и были до того зачитаны, что бумага не выдерживала: без всякого повода отлетал кусок страницы. Я помню, как сердился эфиопский мальчик. Ему приходилось подклеивать, и он нарочно залеплял самые интересные места. Сколько раз меня предупреждали, что эти книги из-за микробов нельзя читать в постели, но я не верила. Бумажные микробы не опасны. Это такой же предрассудок, как то, что фрукты надо мыть в кипяченой воде.

Дочка доктора не перестает расписывать обложку книги: на ней красавица-мать и новорожденный ребенок. Она напрасно старается, к Распопову я не пойду, я уже решила обходить этот магазин за три версты. Я надеюсь, что в «Образовании» такой книги продавать не будут. Магазин серьезный и в нем все кем-то рекомендовано. Если книга рекомендована министерством, ничего хорошего в ней быть не может. Вова и близнецы сказали мно, что есть книги под названием нелегальные. Их не продают в магазинах. Вова видел одну, она называется «Кровавое царствование Николая Второго». Привез книгу старший брат близнецов. И если б рыжий отец узнал это, он сжег бы ее в печке или в плите. У них уже был обыск. Все

перерыли и нашли альбом с голыми женщинами. Надзиратель положил его в папку. Он все обследует. Но кто пишет нелегальные книги? И где их печатают? Наверное, за границей, где гораздо свободнее, чем у нас в Одессе.

По правде говоря, я никакой несвободы до сих пор не чувствовала, но знаю, что она тут рядом, совсем близко, и только такие дурочки, как Тоня Калиниченко, думают, что все замечательно. Ее мечта — кружиться в вальсе с каким-нибудь поручиком. Она помнит чины тверже, чем грамматику и синтаксис. Без синтаксиса Тоня как-нибудь просуществует, а без военных ей было бы очень скучно. Штатские не умеют танцевать вальс и мазурку, это говорит одна знакомая барышня. Она не видела Колачева. Когда он плясал мазурку, мы думали, что у него отлетят каблуки. А в вальсе он отрывался от земли, но тем не менее по дороге выправлял чьи-то носки и пятки. Он считал: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть», — и это было, как стихотворение. А глаза он поднимал к потолку. Я не думаю, что поручик мог бы проделывать такие штуки с глазами.

Попрошу Эльзуню, чтоб она пригласила Тоню на наш урок. Пусть услышит, как Колачев дирижирует танцами и кричит: «Гран рон!». Можно подумать, что по-французски, но я не уверена. Эльзуня сказала, что это язык для танцев и в нем много французских и почти французских слов. С Эльзуней я не спорила, она специалистка. Эльзунина мама долго секретничала с Асиной мамой, а та с мадам Блазнер. От мадам Блазнер через их кухарку это перешло к нам на кухню, и я узнала, что Эльзунины родители в отчаянье. Они боятся, что их дочь, не дай Бог, станет балериной. Они хотели приостановить уроки, но Эльзуня подняла дикий рев, можно было подумать, что с нее сдирают кожу. Как, им жалко, что у них

пластичная дочь! Они хотят, чтоб она была, как Надя, то есть, как я. Какое свинство со стороны этой неискренней Эльзуни. Мне она говорит, что я танцую гораздо лучше Аси, а за моей спиной утверждает, что я непластична.

Но может быть это сплетня. Подхожу к зеркалу и пробую стать в третью позицию. Получается довольно смешно. Вероятно, для этого нужны балетные туфли, а не желтые ботинки на пуговицах. Я сама себя критикую, но мне, все-таки, неприятно, что Эльзуня так задирает нос. Зато я пою теперь громче, чем дочка доктора и Лида Родиопуло. Учительница говорит, что если я не надорву себе связки моим отчаянным криком, из меня может через много, много лет, выйти певица. Неужели я буду петь, как сопрано из клуба «Беседа»? На ней было оранжевое платье с блестками, и все мамы находили, что оно невероятно безвкусно. По-моему из зависти. Если стану певицей, обязательно закажу себе оранжевое платье. И не у венгерки из нашего дома, а у самой Белопольской, где шьют к свадьбе. Оно будет облегать меня, как перчатка. Матя видела декольте до пояса. У меня тоже будет декольте, а на шее жемчуг из магазина братьев Елик. Все скажут: «Как она хороша, какая пластика, какой у ней эгрет в волосах». Эгрет — это перья райской птицы. Той самой, что поет без голоса. Они напоминают ковыль с Жеваховой горы, только ковыль желтее.

У меня будет шляпа с плерезами, как у эльзуниной мамы. Она маленького роста и поэтому любит огромные вещи. Плерез с ее шляпы свисает до самого пола. Это красиво и богато. У тониной тети белый плерез, он весь в узелках. Тоня не понимает, кто его подарил тете: у нее нет мужа, и она приходит к ним, когда тонин папа в море. Там ему не может присниться, что сейчас у них за чайным столом си-

дит его бывшая сестра, тетя Маруся. В последний свой приход она подарила Тоне перламутровый кошелек, где написано: «Ялта». В нем новенький серебряный рубль. Тонин брат попробовал его на зуб. Нет, не фальшивый! Что за смешная идея! Я рассказала Вове. Он должен знать, какие оболтусы у него в классе. Но Вова вступается за Калиниченко. Он вовсе не оболтус, он себе на уме. А я терпеть не могу недоверчивых. Ася часто спрашивает: верю ли я ей? Конечно, верю. Если б разуверилась, перестала бы с ней дружить. Но я не совсем доверяю сыну артиста. Он говорит, что летом, в маленькой провинции, играл большие роли. Правда, под чужой фамилией. Я могу справиться у помощника режиссера, Мишеньки. Он мне все подтвердит.

Вряд ли этот Мишенька существует. Но сын артиста постоянно на него ссылается. У нас в гимназии все тоже на кого-то ссылаются: начальница на Короленко, Надежда Игнатьевна на министра с короткой фамилией, а мадам Тюрбо на одного профессора. Вова сказал, чтоб я не принимала всерьез его профессорство. Во Франции всякий учитель уже профессор. Интересно, откуда у Вовы эти сведения? Наверное, от студентов с Малого Фонтана. Они все время просвещали его и Бобика. Бобик даже выучился петь «Евгения Онегина» на особый лад. «Когда бы жизнь домашним кругом...», пел Бобик и при этом рисовал в воздухе довольно-таки неправильный круг. Потом он пел: «Не отпирайтесь, я прочел...» — и делал вид, что поворачивает ключ в замке. Все смеялись, а мне не было смешно, хотя из малодушия я хихикала. После этого Вова спрашивал, что со мной, отчего я скисла? Если б я ему сказала, что меня расстроил «Онегин» наизнанку, он бы не поверил. Подумаешь, что за цаца этот Бобик! Но тут дело не в Бобике, а в Пушкине. Мне не нравится, что он его искажает. Я

старалась не прислушиваться к пению Бобика, он не такой уж прославленный певец. Кажется, что в горле у него сидит молодой петушок и некстати кукарекает.

В городе Бобик был у нас два или три раза. Както он пришел в своих знаменитых белых гетрах. Он их нацепил на парадном ходу. На улице это невозможно. Там шмыгают взад и вперед учителя коммерческого училища Гохмана. Как будто у них нет других дел! Мои учителя по улицам не ходят. Но однажды я встретила библиотекаршу. Она мне очень обрадовалась. Не хочу ли я помочь ей выбрать демисезонную шляпу? Конечно, хочу. Мы идем во второй двор третьего дома на нашей улице. Там живет дама, торгующая шляпами, у нее салон. Так она называет комнату, где трюмо и несколько пуфов с вылезающей набивкой. Всюду шляпы. Хозяйка салона внимательно осматривает библиотекаршу и та начинает смущаться. Затем, без слов, она протягивает ей темно-серую шляпу. Библиотекарша берет ее и осторожно насаживает на свой кублик. Нет, не так. Хозяйка салона почти насильно втискивает библиотекаршину голову в отверстие колпака. В конце концов, перемерив полдюжины шляп, библиотекарша останавливается на темно-серой. Она спрашивает меня, к лицу ли ей шляпа? Хозяйка возмущена: ну что дитя понимает в шляпах! Но когда я говорю, что шляпа очень изящная и, наверное, понравится нашей начальнице, она начинает меня хвалить: «Что за вкус! И в эти годы!..» Она не знает, что я похвалила из трусости. Мне хочется поскорей вырваться из салона, где еще темней, чем у мадам Рабинович.

У шляпницы в Пале-Рояле было много золотых стульев и тюлевые шляпы лежали в полосатых розовых картонках. Дама на очень высоких каблуках

говорила, что они из Парижа. Это модели. Я боялась пошевельнуться. Мне казалось, что шляпы могут вылететь в окно. Мама купила себе тогда коричневую шляпу, а Мате белую, с белыми розами. Матя не переставала восхищаться: — Ах, это мечта поэта! Она преувеличивает. Какое дело поэту до матиной шляпки? Она не красавица и стихи в альбом ей писали только гимназические подруги. На первой странице Лиза Иванова, ученица шестого класса просит ее: «Иди к униженным, иди к обиженным...» На последней странице та же Лиза Иванова нацарапала: «Любить это падать...» Все эти стихи сочинили известные поэты.

На гимназической группе Лиза Иванова похожа на Мусю Логинскую, у нее такой же вздернутый нос и аккуратные каштановые косы. Муся Логинская у нас авторитет. Она никогда не врет, и это ее ничуть не портит. В самом начале года я хотела с ней подружиться, но не вышло: ее перехватили другие девочки. А вчера Муся подошла ко мне и спросила, не могу ли я приехать к ней в это воскресенье. Она уже приглашала, и мне пришлось отказаться. Дедушка не мог допустить, что я поеду на Молдаванку. Но теперь я добьюсь своего. Мне страшно хочется к Мусе. В их дом, где столько закоулков, что сами хозяева теряются. У Муси есть старшая сестра, Ираида, у нее галлюцинации. Боже мой, неужели я так и не познакомлюсь с Ираидой? Я еще не встречала людей с галлюцинациями. У Вовы в классе один тип утверждал, что он лунатик и чуть не свалился с крыши. Но Вова думает что это выдумка. Близнецы тоже не верят ему. Они, вообще, не из доверчивых. Больше всего они боятся прослыть наивными мальчиками.

У Топсика я узнала, что в мусиной комнате географическая карта на всю стену. На карте ни единого

пятна. Муся такая: у нее в руках даже старые потрепанные книжки кажутся новенькими. И во время урока она никогда не поднимет руку, чтоб попросить разрешения выйти. Она слушает очень внимательно и при этом чуть-чуть морщит свой выпуклый умный лоб. Если нужно принести особенную тетрадь, или нитки для рукоделия, Муся приносит первая. Но она не выскочка. У нее нет желания подлизываться к Надежде Игнатьевне. Поэтому ее никогда не критикуют.

Муся Логинская всего на полгода старше меня, но я ее уважаю. Вова хочет, чтоб я привела эту чистюлю к нам. Он и близнецы выведут ее на чистую воду. Он почему-то уверен, что я идеализирую Мусю Логинскую. По его мнению девочки с гладко зачесанными волосами — самые опасные. На этот раз он ошибся. Муся аккуратна оттого, что живет на Молдаванке, на Дальницкой, в доме с большим садом. Уроки она учит в беседке. Тут же рядом она выращивает гиацинты. А я то и дело бегаю вниз, к Александровскому и закупаю у него перья с разными нажимами. Я никогда ими не пишу, они лежат в вовиной коробочке в среднем ящике письменного стола. Я должна ходить на уроки музыки, заниматься с мадмазель, с Хейфецом. А Муся Логинская даже не обязана гулять, на Молдаванке не гуляют, там всюду райский воздух. Котик так им надышалась, что две недели подряд была простужена. Теперь я жду воскресенья. Осталось еще четыре дня. Сроки приближаются. Дедушке я ничего не сказала. Вова думает, что при всем своем умении он живет в девятнадцатом веке. А мы? Мы живем в двадцатом. Он, я, близнецы, сын артиста и даже Катя должны шагать в ногу с веком. Я стараюсь шагать, хотя на один вовин шаг приходится два моих. Дедушка недоволен нашим воспитанием. Он хотел бы, чтоб мы тоже на-

ходились в девятнадцатом веке. Если б он знал про Молдаванку! Но это ведь другая Молдаванка, где нет ни хулиганов, ни пьяниц, а высокий забор с осколками бутылочного стекла, чтоб не пробрались воры, и аллея, а в самой глубине ее мусин таинственный дом.

42.

В субботу утром маме показалось, что у меня насморк. Никакого насморка не было, я случайно чихнула пять раз подряд. Неужели же я не поеду к Мусе? Я плакала, умоляла, доказывала, что у меня не свербит в носу, что глаза не слезятся, и случилось чудо: насморк прошел. Весь день я была, как на иголках, а с Женей и Борей Гаевским я говорила таким тихим голосом, что они обиделись. Мне пришлось их успокаивать: это ничего не значит, в Петербурге все говорят тихо. Матя познакомилась с одним петербуржцем, и он долго высмеивал одесситов. Ему кажется, что мы кричим. С тех пор Матя бормочет, и ее приходится по три раза переспрашивать. Мне больше нравятся наши одесские манеры. Говорят тихо, когда в комнате лежит больной с высокой температурой. Но перед Женей и Борей Гаевским я буду держать фасон. «Лопни, но держи фасон...» Есть такие куплеты, их поют в кафешантане, куда ходят одесские пижоны. Это перевод с французского. И пижон — не голубь, а молодой человек. А арап на одесском жаргоне вовсе не чернокожий, а жулик. Петербург может спрятаться: там нет ни арапов, ни пижонов. Но я уже из упрямства продолжаю говорить тихо. Боре Гаевскому и Жене это быстро надоедает, и они под каким-то предлогом срываются с места. Я их не задерживаю. С их уходом

мне становится легче. Лишь бы дотянуть до завтрашнего дня. Я как в тумане. Стараюсь не шуметь, не сморкаться и нарочно задерживаю дыханье.

После бесконечной поездки в трамвае, куда меня впихнула Юзя, наступает, наконец, долгожданная минута, и я дергаю ручку звонка. Он дребезжит и никак не может успокоиться. Никто не идет. Я в ужасе. А вдруг Муся забыла о своем приглашении. Она ведь мне не напоминала. Но нет, шаги. Я узнаю мусины скрипучие ботинки. Она очень рада. Муся здоровается, потом она берет меня за руку, и мы, как маленькие дети, бежим по аллее. Здесь Муся совсем другая, домашняя, и платье на ней домашнее, недавно выстиранное. Оказывается, будет еще одна девочка из нашего класса, Мара Гольберг. Мне стыдно, что я ее до сих пор не замечала. Я видела только ее очки. Мара Гольберг обещала сыграть сонату Моцарта. Она пианистка, а я даже не знала этого. Муся смотрит на меня с удивлением. Ей непонятно мое невнимание к людям. Мы поднимаемся по довольно крутым каменным ступенькам. Сначала прихожая и маленький коридор с веселыми крашеными полами. Никаких ковров, всюду лежат холстинковые дорожки. Оттуда мы идем прямо в мусину комнату. Мара уже там. Она тихонько барабанит пальцами по мусиной парте. Пианисты должны упражняться, где б они ни были: дома или в поезде. Мара не особенно приветливо говорит мне «Здравствуй!». Она не знает, как меня называть — по имени или по фамилии. А мне все еще неловко, и я решаю разговаривать с ней, как с самим Галкой. Может быть, она смягчится.

Но Муся хочет показать нам свою библиотечку. — Вот «Жизнь животных», а это классики: Пушкин, Лермонтов, Гоголь; Книги «Золотой библиотеки» стоят во втором ряду. Это нас сближает. У меня они тоже спрятаны в глубине шкафа. Мара не интересуется

классиками, она пианистка и хочет читать про музыку и музыкантов. Когда она наклоняет голову, я вижу белую прядку. Значит, бывают седые девочки. Наконец-то я сумею удивить близнецов. Хотя они способны сказать, что у них в классе есть седой мальчик. Они раз и навсегда решили ничему не удивляться. Бог с ними! Нас позвали в столовую. Она очень светлая, из одних окон. А на самом большом окне бутыль с вишневой наливкой. Навстречу нам идет Мусина мама. Та же Муся, но постарше. Она крепко жмет Марину, а затем мою руку. Я люблю такие рукопожатья. А Мара скривилась. Она дорожит своими руками и не хочет, чтоб их пожимали. За столом сестра Анночка, она не встает, а через блюда и чашки протягивает нам поочередно длинную, худую руку. Ираида у себя. Она придет послушать Мариного Моцарта. Ираида обожает искусство, но ее нельзя волновать, она слишком впечатлительная. А что если ей покажется, что Мара не Мара, а сам Моцарт. И пианино из орехового дерева это придворный клавесин. Муся прочла мои мысли. Она ни с того ни с сего говорит, что днем Ираида спокойна. Видения у нее бывают в сумерки. Поэтому у них в доме не сумерничают. Как только стемнеет, они зажигают лампы, и все притворяются, что уже вечер.

Мусина мама, Анна Тарасовна, приглашает нас к столу. Она, не спрашивая, наливает мне полную чашку чая с молоком. Терпеть не могу чай с молоком, но здесь парное молоко, у него особенный вкус. Потом дают странную штуку с творогом. Это кныш и Анна Тарасовна вдруг начинает смеяться, как молоденькая девушка. Муся очень горда, она обещает показать мне фотографию своей мамы. Она снималась, когда была невестой, много лет тому назад. Теперь Анночка уже в восьмом классе, а Ираида могла бы быть на курсах. Мы говорим о нашей гимназии. Ма-

ре это безразлично. А Мусина семья всем интересуется, у них принято рассказывать, что произошло за день. Они знают наш класс, от Топсика до дочки доктора и Берты Креде. Мусин папа знает всех по фамилии. Он только сейчас вышел из своего кабинета. Муся сказала, что он отдыхал. У него своя кожаная кушетка с кожаной подушкой. Поверх нее он кладет маленькую подушку, думку. Он рад с нами познакомиться. Мара молчит. А я отвечаю, что тоже очень рада. Это чистая правда. Мусин папа — чиновник, а живого чиновника я еще в глаза не видела. Потом окажется, что и телеграфисты — чиновники, и учителя гимназии. Мусин папа проглатывает три стакана горячего крепкого чая. После этого он вытирает лицо салфеткой и говорит: «Ну что ж, помузицируем!».

Мара с видом жертвы подходит к пианино. Стульчик для нее слышком высок, она его крутит и вертит и наконец устраивается. Мы ждем, как ждут в зале Биржи. Сейчас выйдет Иосиф Гофман и заиграет «Лунную сонату». Но тут не Гофман, а Мара, моя соученица. Она поправляет юбку и сразу, как автомат, берет несколько нот. После этого щеки ее розовеют, и она качается, как заправская пианистка. Муся вне себя от радости. Ее папа закрыл глаза, он переживает. А в дверях стоит девушка, похожая на открытку от Александровского — Ираида. Губы ее шевелятся. Она, наверное, произносит волшебные заклинания. Мара продолжает играть, но я уже не слушаю, я не могу оторваться от Ираиды. Как будет удивлен Вова, когда узнает, что я познакомилась с Ираидой. Не с той со спичечной коробки «Ираида Лапишина», а с лесной сказкой.

Мара взяла последний аккорд. Сейчас она сыграет вальс Шопена. Я его знаю. Вова сказал, что это самый легкий из шопеновских вальсов. За вальсом

следует ноктюрн и за ним пьеска неизвестного композитора, в ней очень много трелей. Мусин папа от удовольствия прищелкивает пальцами. Ираида все так же неподвижно стоит у дверного косяка. Она смотрит в воображаемую точку. Мара кончила и встает с фортепианного стульчика. Вот хорошо: хватит с меня Моцарта, Шопена и неизвестного композитора! Сейчас начнут делать Маре комплименты, и когда это кончится, я постараюсь подойти к Ириаде и рассмотреть ее. Издали она как восковая фигура из музея Яни. Она похожа на известную красавицу, отравившую двух мужей. Ираида обводит нас безумным взглядом и вдруг исчезает. Но она не провалилась сквозь землю, она ушла к себе. Там она увидит своего покойного жениха.

Мы возвращаемся в мусину комнату. На ее столе аккуратная стопка книг и тетрадей. А на моем полный беспорядок. Я даже не помню, что задано на завтра и таким образом у меня не может быть угрызений совести. Муся должна подавать пример. Она собирается в Педагогический Институт. Это не институт Лидии Чарской, а серьезное учебное заведение. Оттуда выходят старые девы, будущие учительницы. Я не скажу Мусе о моих планах. Она знает театр только по бесплатным представлениям для учащихся. А в мое писательство она не поверит. Оно покажется ей смешным. Но я же не собираюсь стать женским Пушкиным и Лермонтовым. Я хотела бы написать стихотворение для Вовиного журнала. Пока я молчу и говорит Мара. Она рассказывает нам о Петербургской консерватории. Когда-нибудь она кончит ее с роялем. Это значит, что ей в награду за успехи подарят рояль самой лучшей марки. Ну, а если его некуда будет поставить? Мара обижена: почему некуда, его поставят в гостиной. Мне кажется, что золотая медаль лучше, она в футляре и ее можно спря-

тать в ящик комода. Маре неприятны мои рассуждения о медали, она хочет рояль и непременно концертный.

Сейчас они берут пианино напрокат. Марин папа коммивояжер, он редко бывает дома и не хочет обзаводиться инструментом. Мара говорит, что ее прокатное пианино не хуже покупного. Это почти Бехштейн. Я знаю, что такое Бехштейн. У мадам Трейн есть новое бехштейновское пианино и на нем играют подвинутые ученики. Вова имеет шансы. Он любимец мадам Трейн. Если б Вова не был лентяем, он мог бы стать выдающимся пианистом. Его это не соблазняет. Он предпочел бы дирижировать оркестром, как Прибик или как Давингоф. Вова сторонник Прибика. А я за Давингофа. Он носит поварскую шапку и я видела, как он раскланивается с публикой. Мара редко ходит на концерты. Вера Львовна рассердилась бы и закричала: «Ходят не на концерты, а в концерты». Я отлично знаю, но мне не нравится ходить в концерты. Ходят в театр, в цирк. Вера Львовна неправа, но это не так важно — она уже не моя учительница.

Спрашиваю Мару, хочет ли она пойти к Галке на музыкальное утро. Она непрочь, хотя не уверена, что ей позволят. Ее мама не любит, чтоб она теряла время на ерунду. Ей надо упражняться. Марина мама никуда не выходит, она сидит у окна и ждет, что появится папа-коммивояжер. Или почтальон принесет толстое письмо в голубом конверте. С папиным приездом становится весело. Кладут скатерть не на половину стола, а на целый стол. Папа приглашает всех к Дитману, и они пьют там шоколад со сливками. Но папа в дороге. Мара сказала, что он объезжает клиентов и поэтому ей надо торопиться домой. Как странно! До сегодняшнего дня я не имела понятия о Маре. А сей-

час я могла бы сочинить рассказ про нее и про ее семью.

В следующий раз соберутся у меня. Я приглашу Асю и, может быть, Тоню Калиниченко. Муся ей все прощает за красоту. Она восхищается тониной наружностью. Я говорю, что это наша Лина Кавальери. Но Муся не слышала о Кавальери. Она сравнивает Тоню с богинями из греческой мифологии. Я с ней несогласна: в Тоне нет ничего мифологического. У нее симпатичный вздернутый носик, а не нос без переносицы, как у гипсовых богинь из музея. Муся обожает книжные сравнения. Интересно знать, с кем она меня сравнивает. Я бы сравнила ее с Агнесой из Давида Коперфильда, но Муся слишком далека от Диккенса. Англия не для Муси. Она мне призналась, что у нее есть заветное желание — она хотела бы поехать на днепровские пороги. Не одна, конечно, а с экскурсией, то есть с учителями, учительницами и учащимися старших классов. Странно, что у Муси такие обыкновенные желания. Она слишком рассудительная. Мне становится скучно. Когда же придет Анночка? Она обещала проводить меня. Ей это по пути. Рядом с нами живет одна тупица и Анночка ее репетиторша. Мара поедет с нами, но она сойдет за три остановки до меня.

Я прощаюсь с мусиной мамой. Она снова по-взрослому жмет мне руку, а потом гладит меня по голове. Это очень приятно. Рука у нее легкая и горячая, как у моей мамы. Приоткрываю дверь в ираидину комнату. Ираида совсем одетая лежит на постели. Мне послышалось, что она вскрикнула. Ухожу тихо-тихо и стараюсь ступать по самой середине холстинковой дорожки. Муся провожает нас до ворот. В своей кацавейке она кажется мне аккуратной чистенькой старушкой. Зато Анночка в шляпке с маками совсем непохожа на репетиторшу. Анночка рас-

сказывает про свою неспособную ученицу: «Подумайте, она все решительно пишет через ять! И даже не знает названий пяти частей света».

Меня это не смутило: Берта Креде тоже всюду сует букву ять. У нее нет репетиторш, на Берту махнули рукой, а она не понимает, зачем ее учат. Берта хотела бы сидеть дома и чистить дверные ручки. А Тоня Калиниченко долгое время думала, что на северном полюсе льдины и белые медведи, а на южном — жарко, как в Сахаре. Теперь Тоня знает, что и на южном полюсе вечные льды. И там столько же белых медведей и пингвинов, как на Северном. Во всем виноват учебник Иванова, где все очень плохо объяснено. Учитель стыдит Тоню: дочь капитана дальнего плавания должна знать географию! Но Тонин папа плавает между Одессой и Батумом и полюсы здесь ни при чем. Географию можно учить по-разному. Близнецы изучили ее, благодаря своей коллекции марок. А сын артиста специалист по России. Летом он ездит с труппой по городам, вроде Геническа и Мариуполя. Даже Ланя не слышал о Геническе, а там ведь есть Городской сад и театр. Сам Ланя тоже специалист. Он жил в Кобеляках и в Полтаве, а когда-то в Юзовке, где много шахтеров. Ланя помнит, что угольная пыль забивалась в рот и в уши, и он всегда был грязным, как трубочист. Но наша Геня считает, что трубочисты не самые грязные: шмаровозники грязнее. Я повторила это и на меня посмотрели, как на ископаемое. Откуда я знаю такие грубые слова? Пришлось соврать: я слышала их во дворе, не помню, в нашем или в асином.

Анночка ничего не подозревает. Она взяла меня на свое попечение и должна доставить до самого дома. Мара сошла на каком-то углу и сразу испарилась. Но вот и моя остановка. Анночка хочет мне помочь. Не тут то было! Хорошо еще, что я не спрыгнула на

полном ходу, как Вова. Когда он это делал, сердце у меня замирало от страха и гордости одновременно. Я слышала, как кондуктор кричал, что он себе сломает шею. Но Вова был уже далеко. Ему наплевать на кондуктора, тот бессилен и может только барабанить кулаками по своей кондукторской сумке. В таких случаях я отворачиваюсь и читаю вывески. В некоторых нехватает буквы и это очень смешно. У оптика выпало «т» и получился опик, в другом месте «улочная» вместо булочная. Вова возмущен: это портит вид города. Ему стыдно перед иностранцами. Но они ведь не понимают по-русски! Если б Вова видел, как я ловко спрыгнула с последней ступеньки вагона, он сказал бы, что я не трусиха... Но Анночка не разделяет моих восторгов. Она считала меня серьезной, а я прыгаю, как заяц. Анночка старается быть солидной, она смотрит на меня сверху вниз. Хочу раздавить ее своей вежливостью и уже у самого подъезда начинаю благодарить так горячо, как будто она спасла мне жизнь. Анночке неловко: пустяки, ей ведь по дороге.

43.

Дверь мне открыла Юзя. У нее заспанное лицо и в волосах длинные белые пушинки. Все вышли. Дома только она и Геня. И генина сестра, но она не считается. Когда с торговлей плохо, она приходит на минутку и остается на целый день. Юзя говорит, что она ночует у нас, но это никого не касается. Я очень рада, что она у нас. Не спать же ей на базаре в своем мандаринном домике. У нее есть другая квартира, она живет с тремя женщинами в комнате, где четыре угла. Каждая имеет свой угол. А у нас она может подняться на антресоли и целый день лежать на гениной кровати под старым ватным одеялом. Мне некому рассказать про Молдаванку. Пойду пока к себе и буду читать сказки Уайльда. Перед уходом я стянула их у Мати. Они не для детей, потому что Уайльд был эстетом. Это мне сказал сын артиста. Он знает Уайльда, его пьесы ставили в Геническе. Одна из них называлась: «Как важно быть серьезным». Через несколько лет он достанет мне контрамарку и тогда я ее увижу. Мне надоели эти разговоры. Как я хочу стать взрослой! Но кузина Маня умоляет меня не спешить. Предусмотрительные женщины начинают скрывать свой возраст чуть ли не с пеленок. Ей, как было двадцать пять в прошлом году, так будет и в будущем, она не собирается стареть. Но была ли она молодой? Кузина Маня посто-

янно страдает. Поэтому углы губ у нее опущены, как у Жана из Французской книжки. Того, что плачет. Есть Жан, который смеется, но он не маниной породы. Маня надеется, что с годами я тоже начну переживать. Не хочу ее огорчать, но переживания из-за женихов мне не нужны. Возможно, что я, вообще, не выйду замуж, а стану седой уважаемой писательницей, и посетители будут приходить ко мне за советом. До сих пор с моими советами никто не считался. Дяде я посоветовала разойтись с компаньоном, потому что он жулик, и дядя обиделся. А дедушке — переселиться к нам. Ему ведь скучно в его квартире с застекленной верандой. Дедушка был очень доволен, но сказал мне, что предпочитает жить у себя. С условием, чтоб папа приходил к нему ежедневно, а мы, по крайней мере, через день. Якову Соломоновичу я посоветовала не ездить в Петербург: зимой там холодно, зато летом очень жарко. Он мне ответил, что ездит не для удовольствия. Больше советов давать не стану.

Сейчас я почему-то вспомнила Ираиду. Мне жалко, что мы не поговорили с ней по поводу галлюцинаций. Я сама хотела бы увидеть мою бабушку с портрета, а не чужих — Некрасова и Пушкина. Но это уже не галлюцинации, это спиритизм. Вова и близнецы собираются устроить сеанс. Они займутся верчением стола и будут вызывать духов великих людей. Вова был на одном спиритическом сеансе, где столик отвечал на вопросы. Ответы были неприличные. Не обошлось, как видно, без верусиного брата. Он любит разные трюки. Вова сказал, что сеанс его и близнецов будет устроен по всем правилам спиритизма. Близнецы подтвердили. Им не нужны дешевые эффекты. Можно подумать, что дорогие эффекты им больше подходят! Я что-то напутала. Но на сеанс меня все равно не пригласят. Нечего ломать

себе голову. У Вовы есть в виду медиум. Это самый обыкновенный человек. Он сам, бедняга, не знает, какие силы в нем скрываются. От одного его присутствия предметы начинают перелетать с места на место. Иногда он поднимается на воздух, правда, на несколько вершков. Кто же этот человек, наделенный сверхъестественными свойствами? Где Вова его выкопал? Как мне смешно и грустно, когда я узнаю, что это ни кто иной, как Андрокардато. Он бывал у нас довольно часто, и все считали, что он дубина и второгодник. Но Вова заупрямился. Он верит в Андрокардато, у него скрытые возможности. Нужно только, чтоб он впал в транс. Вовин медиум мне не нравится. Я бы выбрала Ираиду. Она приспособлена для того, чтоб подниматься на воздух. И сама она легкая и воздушная.

Вова, конечно, скажет, что она психопатка и ее нужно отправить на Слободку Романовку, где живут сумасшедшие. Но Ираиде не место на Слободке. Она должна жить в замке с толстыми стенами и бойницами, как у Вальтер Скотта. Муся говорит, что Ираиде велели бросить курсы. Одно время она служила на почте, но и с почты ей пришлось уйти. Меня это не удивляет. Разве героини Вальтер Скотта были почтовыми чиновницами? Ведь почты тогда не было. Записки прятали в дупле столетнего дуба, и самое странное — что они доходили. Не то, что письма с семикопеечными марками. Те часто пропадают. Случается так, что Матины поклонники обещают писать, а потом письма не приходят. Матя уверена, что они затерялись: между Одессой и станцией Раздельная. Но, может быть, их перехватил дядя? Матя возмущена. Ей трудно понять, почему мне приходят в голову такие гадости. У меня испорченное воображение! Пусть Матя не считает себя неземной, она не Ираида. Она скорее похожа на Анночку. Но Анночка

в восьмом классе, а Матя давным давно кончила гимназию и ее выпускная фотография уже успела пожелтеть.

Что сказала бы Анночка, если б увидела, как я зачитываюсь Оскаром Уайльдом. Иногда я закрываю книгу и смотрю на переплет. Он бледно-зеленый с продольными золотыми полосками. Вова сказал, что это декадентский переплет. Какое странное слово. Я могла бы заглянуть в словарь, но там очень глупые объяснения. Когда все уходят, Вова и близнецы что-то ищут в словаре. Потом они начинают ржать, как молодые кони. От меня этот словарь прячут. Он высоко, на самой верхней полке. Мне туда не добраться.

За стеной кто-то громко чихнул. Это, наверное, Вова. В его комнате страшно накурено. Вечный студент выкурил по меньшей мере пять папирос, толстых, как палец. Его упрекают, и он божится и клянется, что давно бросил курение. Впрочем, он скоро переедет и у себя будет курить, сколько душе угодно. Он снял комнату у родителей иностранного корреспондента. Вова боится, как бы его не поймала одна из корреспондентских сестер. Студент только посмеивается: ничего, они увидят его чемоданчик и другое его имущество и сразу охладеют. Но Вова не отстает: он не знает этих сестер, они готовы выйти замуж за первого встречного. Тут студент взрывается — он не первый встречный! К сожалению, по тысяча и одной причине он не может расскаазть Вове о своем успехе у женщин. Вова не верит. Какой успех может иметь прыщавый студент? Ведь у него дамская фигура. Одна часть тела такая же толстая, как у дам с Среднего Фонтана. Это сильно преувеличено. Я хочу вступиться за студента, но Вова говорит, что я ничего не смыслю в мужской красоте. Он намекает на Борю Гаевского. А ведь на самом деле мне

нравится наш доктор. Но этого я Вове не скажу. Он поднимет меня на смех — Надька влюблена...

Не знаю, влюбилась ли я в доктора? Я не думаю о нем по неделям. Но когда Матя начала петь: «Ночью и днем, только о нем» сердце мое готово было разорваться. К нам доктор приходит очень редко, он занят. В последний раз я видела его на Дерибасовской возле магазина Альшванга. Мадмазель рассматривала витрину, а я приставала к ней: «Домой, пойдем домой!». И вдруг кто-то тронул меня за плечо. Это был он. Элегантный и совсем еще нестарый. Я заметила, что он был в сером пальто и в серой шляпе. Обычно я таких вещей не вижу. Когда меня спрашивают, кто как был одет, всегда отвечаю невпопад. Доктор задавал мне разные вопросы. Потом он сказал, что его ждут и поцеловал меня в щеку. Мадмазель всю дорогу надо мной издевалась. Она не понимает, отчего я покраснела. Что тут особенного, если пожилой человек, да еще дальний родственник, целует маленькую девочку. В первый раз в жизни я поняла, что можно растерзать другого в клочья. Я вспомнила, что дикари отравляли свои стрелы ядом кураре. А Иван Грозный убил собственного сына. И только потому, что мадмазель назвала меня маленькой девочкой, а его пожилым человеком. Лучше быть старым, чем пожилым! Она сама пожилая. После того, что я про себя обзываю ее пожилой, мне становится стыдно. Мадмазель ведь не так легко живется. Недавно она разошлась со своим последним женихом, Брониславом, и никому больше не отдаст руки и сердца. Мысленно прошу у нее прощения. А она даже не подозревает, какая буря бушевала у меня в груди.

Сейчас я читаю про инфанту и карлика. Несчастный карлик, как он ее любил! Она напоминает мне почему-то дочку шпионов. У той такое же надмен-

ное выражение лица и презрительная осанка. Не помню, был ли кто-нибудь в нее влюблен. На поляне она нам говорила о своих поклонниках. Одному уже восемнадцать лет, он делал ей комплименты. Вова тогда пристал к ней: кто этот восемнадцатилетний болван? Сын молочницы? Дочка шпионов чуть не лопнула от злости. У нее не может быть поклонников из молочницыных семейств. Как никак ее папа — дипломат и его знает вся Одесса. И мы не должны забывать, что живем у нее на даче. Но сын молочницы не похож на карлика, это, скорее, великан. А кто же карлик? Такого я не могу припомнить.

В комнате вдруг стало темно, как в пещере. Гроза, сейчас будет гроза. Я слышу, как хлопают двери. Юзя бежит по коридору: «Скорей закрывайте окна, а не то гром, как вдарит...» Она говорит: вдарит. Вовины и мои уроки не пошли ей на пользу. Когда Юзя расстроена, она начинает говорить так, как принято у них в деревне. Вова над ней подтрунивает. «А нука, Юзя, скажите «тудою и сюдою». Юзя не сдается. Учить ее поздно, она сама ученая. Я до сих пор не знаю, умеет ли она читать. Она очень ловко притворяется, что умеет. А письма юзиным кавалерам пишу я.

Еще больше потемнело. Неужели град? Град величиной в куриное яйцо, как пишут в «Одесском листке». А эта газета не врет. Врут копеечные газеты и поэтому их все покупают. Вова сказал, что там целые пуды вранья. Подумать только: за копейку пуды. Вот здорово! Град похож на барабанную дробь. Если б не Юзя, я вышла бы на балкон и потихоньку стала собирать градины. А чтобы они не растаяли, поставила бы их в ледник рядом со сметаной Чичкина. Одну я как-то взяла на язык, у нее был отвратительный пресный вкус. Но куда же все подевались? Мне страшно. Я не хочу оставаться одна. Вова, на-

верное, пошел играть в футбол и там его застиг этот страшный град. А я успела побывать в гостях и вернуться целой и невредимой. Я самая предусмотрительная, но почему-то все жалуются, что я недотепа. Когда я что-нибудь разбиваю, дедушка говорит: наш маленький Шлимазель опять бьет посуду. Потом ему становится жалко и он начинает доказывать, что это к счастью. Я предлагаю перебить все стаканы и блюдца, но меня останавливают: хватит, довольно счастья! В гимназии меня не подпускают к аквариуму. Я могу его опрокинуть и рыбки очутятся на грязном паркете. Гиацинты я тоже не должна сажать, потому что не могу отличить одной луковицы от другой. Прежде я обижалась, а теперь мне это нравится. Я могу преспокойно, у себя в уголке, читать книги для старшего возраста. Не думаю, чтоб Элиза Ожешко сажала гиацинты или чистила аквариум. Она была далека от житейских дел. Пока другие чистили и сажали, она наблюдала. Как бы я хотела наблюдать! Но это не так просто. Я не знала даже, что у меня есть соученица — пианистка.

Мара Гольберг не такая уж незаметная. У нее красивый утиный нос, как у Людмилы, и голос не очень громкий, но настойчивый. Она привыкла считать вслух. Ее профессорша не признает метронома. Он для ленивых и неспособных. Хорошо было бы познакомить ее с мадам Трейн! Она б на нее повлияла и метроном, а теперь их уже два, навсегда исчез бы. Так или иначе о Маре я ничего не знала. Но я сгорю со стыда, когда Васса преподнесет мне еще одну пианистку: Сахно. По словам Вассы Мара может спрятаться. Сахно — артистка, она выступала на ученическом вечере. Мне казалось, что она ничем не интересуется, у нее плоское безразличное лицо, а она играет Шопена. Правда, тот же нетрудный вальс. Может быть в нашем классе есть и другие скрытые

таланты. Дочка доктора хотела прослыть пианисткой, но она играет плохо, вроде меня. Я ее сразу раскусила, когда она начала очень старательно, по-детски, наигрывать мою несчастную сонатину. Тара-рара-там-там... Что это? Град? Нет, град кончился. Стало очень светло, светлее, чем было утром. Меня зовут, но я не спешу. Мне хочется хоть чуточку продлить мое одиночество.

Я слышу, как уводят Катю, и она хнычет — ей надоело мыть руки. Катя права. Из моих знакомых только Женя любит мыть руки: он брезгливый. В последнее время Вова тоже стал мыться и чиститься. Близнецы говорят, что он работает под студента. Но вечный студент грязнюк, каких мало. Его волосы перевисают через воротник тужурки и блестят, как будто их мазали репейной помадой. Вова сказал, что это не помада, а жир. Студент выделяет жир. Я знаю, что Вова к нему несправедлив. Справедливым быть нелегко. Я несправедлива к дочке доктора и нахожу у ней все недостатки: она всезнайка, она слишком громко жует, она любит присочинить и все приукрашивает, особенно если речь идет о ее папе. К Асе я тоже придираюсь. Я подозреваю, что она меня критикует. Что ж, значит у нее появился другой идеал! А может быть я все это придумала, чтоб казаться непонятной, как кузина Маня. Ее раздражают счастливые люди, это нищие духом. Я с ней несогласна, но боюсь спорить. Она с легкостью меня переспорит и потом я буду мучиться, что не сказала самого главного. А нищие духом — это пустые слова. Вова говорит, что кузина Маня хочет прикрыть ими свои несчастья. И, вообще, быть несчастным устарело. У него в классе теперь три сверхчеловека: Жора и два его соседа по парте. Они начитались немецкого философа Ницше. Жора, кажется, настоящий сверхчеловек, не то, что его соседи. Стоит дать подзатыль-

ник, как один ревет, а другой бежит жаловаться классному надзирателю.

Одиночество начинает мне надоедать. А меня, как на зло, больше не зовут. Я никому не нужна. Я могу сидеть здесь до поздней ночи и никто не войдет и не спросит: что со мной? Как мне себя жалко! В глазах пощипывает, я готова расплакаться, но меня начинают звать, не очень ласково, а как в казарме: «На-дя!». Захлопываю книгу. Оказывается, я не прочла и половины. Все уже сидят за столом. Мне достается стул с продавленным сиденьем. Ничего, перетерплю и это. Хуже всего, что рядом со мной мадам Дунаевская. Она зашла на полчасика и остается на ужин. Дома и без нее справятся, они привыкли. Она смотрит на маму такими глазами, как будто мама ее собственность. «Не нагибайтесь, умоляю вас, не нагибайтесь! Наденька, почему ты даешь маме нагибаться! Дети, поднимите мамину салфетку! Откройте окно! Закройте окно!». Ее голос покрывает все. Не слышно даже, как Катя под шумок пускает пузыри. Все переменилось, мы отошли на задний план. Прислушиваюсь к разговорам взрослых, они странные и малопонятные. Речь идет о какой-то мадам Гуревич. Она не хотела рожать дома и пошла в лечебницу. Мадам Дунаевская в ужасе: кому нужны лечебницы, это ведь настоящая грабиловка. В доброе старое время и слышать не хотели о лечебницах. А я не хочу слушать о том, как рожают. Но никто не велит мне сидеть, насторожа уши. Вова, например, не обращает ни малейшего внимания на мадам Дунаевскую и давно прозвал ее Екатериной Второй с Базарной угол Ремесленной.

Мне некому рассказать об Ираиде. Как только я открываю рот, меня сейчас же перебивают. А мой верный слушатель, Ланя, у бабушки на Спиридоновской. Он должен помогать по хозяйству и бегать за

пивом. Ланя непрочь сбегать за пивом. Жильцы дают ему за это пятачок или гривенник. Вначало это было унизительно, а потом он привык и даже бывает недоволен, когда его обсчитывают на копейку или на две. Нарочно перестаю есть. Пусть, наконец, на меня обратят внимание. Я коплю обиды и когда на сердце становится слишком тяжело, в столовую входит наш ежевечерний гость, Яков Соломонович. Вот кому я расскажу, что была на Молдаванке. А он объяснит мне, что такое галлюцинации. Он должен это знать, у него в семье много ненормальных. Но как до него добраться? Мама на минуту отрывается от мадам Дунаевской и спрашивает, было ли мне весело у моей подруги? Я хочу сказать, что тут дело не в подруге, а в ее сестре... Но разговор опять перескакивает на мадам Гуревич и я чувствую, что меня обошли.

Вспоминаю, как Мальвина когда-то сказала, что я уже не единственная дочь, у меня есть сестра — Катя. Я не сразу поняла и мне показалось, что теперь я стану падчерицей, как Золушка. К счастью, подоспел папа. Он схватил меня и поднял высоко на воздух, вровень со своим лицом. Я была и буду любимой старшей дочкой! При этом папа с неодобрением посмотрел на Мальвину, и она сразу скисла. Потом она жаловалась, что дети не понимают шуток. Пустячки шутка, если я помню ее столько времени! Но папа меня подзывает. Сейчас он мне что-то скажет по секрету. Он первым встает из-за стола. Его ждут посетители. Один даже заснул. Я сама видела, как он клюет носом. Хорошо, что у меня с папой секреты. С Катей он тоже хочет посекретничать: он принес нам шоколад с картинками. Они передвигаются, когда их тянут за бумажный хвостик. Шоколад у папы в кармане, но он ни за что не даст его при всех, чтоб меня не сконфузить: гимназисткам не полагается дарить всякие шоколадки.

44.

В столовую я не вернусь. Иду к себе, но через кухню. Там все в сборе. Последним пришел юзин жених в матросской форме. Он застенчивый и всегда вскакивает. Юзя делает ему знак: не стоит мол из-за нее вскакивать. Это свой человек. О том, что я пишу письма, она ему не сказала. Пускай думает, что она училась в школе и кончила с отличием. Жених малограмотный и ему нравится, что Юзя пишет таким крупным разборчивым почерком. Если б он мог предположить, что это мой почерк и за него меня все дразнят! А учительница чистописания говорит, что профессор каллиграфии Коссодо умер бы, если б увидел мое бумагомарание. Но мне безразлично. Я открыла, что кроме профессора каллиграфии, есть еще профессор мнемоники: Файнштейн. Что такое мнемоника, я боюсь узнать. Вероятно, что нибудь совсем простое. Интересно, знаком ли профессор Файнштейн с профессором Коссодо и как они друг друга называют? У одного из них борода. Профессор должен носить бороду. От докторов длинной бороды не требуется. У моего доктора совсем маленькая подстриженная бородка. Матя сказала, что он холеный, и дамы вешаются ему на шею. Я делаю вид, что меня это не трогает: гордость прежде всего. Кузина Маня из-за гордости погубила свою жизнь. Она не признает компромиссов. Ей нужна большая

любовь, построенная на выяснении отношений. Если их не выяснить, станет очень скучно и серо. В таком случае она предпочитает жить в проходной комнате. Ее девиз: все или ничего.

Папа уговаривал Маню подумать о золотой середине, но она и слышать не хотела. А Юзя и ее жених понятия не имеют о золотой середине. Он пьет чай с блюдечка, а Юзя, не отрываясь, смотрит на себя в кухонное зеркальце. По-моему оно из жести. Все в нем выглядят уродами, одна Юзя довольна собой. Как ей сказать, что нельзя с таким упоением смотреть в зеркало. Это признак плохого воспитания. Чтоб подчеркнуть, что я хорошо воспитана, говорю всем на кухне: спокойной ночи. А матросу протягиваю руку, и он берет ее с осторожностью, как будто она из горного хрусталя. Пожать ее он не решается. Тогда я сама пожимаю его огромную шершавую руку. Я вижу, что Юзя ждет не дождется, чтоб я ушла к себе. Понимаю, они хотят играть в круглого дурака. Не пригласить меня — обидно, а играю я плохо. Карты падают под стол, их надо искать. И вместо карт находят наперсток с пробитым донышком или пустую спичечную коробку. А что будет, если войдет мама? Правда, она нечасто ходит на кухню. Это генино царство. Мама предпочитает не знать, ночует ли там генина сестра.

Сейчас сестра на антресолях, и я слышу, как она кряхтит и вспоминает свою покойную тетю. Родителей у нее и у Гени не было и тетя с небес должна прийти ей на помощь. Но тетя не отзывается, она лежит на маленьком кладбище в местечке, где нет тротуаров. Попрошу Вову, чтоб на будущем спиритическом сеансе он вызвал ее дух. Нельзя же переговариваться только с Наполеоном Бонапартом и с покойными русскими писателями. Главное, чтоб меня пригласили на сеанс. О, я знаю, меня не позовут,

я могу все сорвать. Духи великих людей способны обидеться, что присутствует какая-то неизвестная девочка. Меня оклеветали близнецы. Я вовсе не такая маленькая и глупая. Я давно знаю, что мир надо перестроить. И в этом новом мире для близнецов и им подобных не будет места. Кроме того, я никак не могу поверить в таинственные способности Андрокардато. Он слишком земной и при виде его толстых красных щек духи должны немедленно исчезнуть. Лучше бы взяли первого ученика Галкина. От усиленных занятий он стал прозрачным. Но, оказывается, Галкин в сто раз хуже Андрокардато и только притворяется тихоней. На самом деле он на ходу срезает подметки.

Я почти сплю, когда в комнату входит Вова. Он забыл спросить про Молдаванку. Я чувствую, что его разбирает любопытство, а я уже выдохлась. Дом с садом и скрипучими ступеньками далеко. Но Вова неумолим. Он должен знать, какие у Ираиды галлюцинации. Разговаривает ли она со своими виденьями или просто смотрит в темноту! К сожалению, при мне ничего не происходило. Ираида поздоровалась с нами, как обыкновенная взрослая барышня здоровается с подругами своей младшей сестры. От чая она отказалась. Может быть, в следующий раз мне посчастливится увидеть ее покойного жениха. Пока в мусином доме я видела только живых людей. Мне кажется, что Вове не понравились ираидины блуждающие глаза. Он по всем признакам предпочитает Анночку. Он даже поинтересовался, какого цвета маки на ее шляпе. Они темно-голубые. Таких маков не бывает! Но Вова вступается за голубые маки: в природе все возможно, есть же черные розы, есть карликовые дубы, есть, не помню сколько, разновидностей кактуса. Я огорошена вовиными сведениями. Но для него это чепуха, детские игрушки. Рубакина

он читал еще на Среднем Фонтане. Эти книжечки достались Жене и лежат у него на полке. Поставить их трудно, они слишком тонкие. Я рада, что никто не предложил мне Рубакина, брошюры, вроде рубакинских, мне не по душе. Книга должна быть увесистой, независимо от ее содержания. Вова нашел выход: он подарит мне старые конторские книги, они тяжелее Диккенса и «Трех мушкетеров». Ну что ж, пусть издевается. Недавно он сам так погрузился в чтение «Мушкетеров», что не слышал, как звали к столу. И его бифштекс сгорел и превратился в подошву.

Но Вова не обратил на это ни малейшего внимания. Он вошел в столовую, как д'Артаньян. На голове у него шляпа с пером, так мне показалось. Видно, что он еще не очнулся и продолжает жить в романе Дюма-отца. Потом он стряхивает с себя д'Артаньяна и если б в тот момент ему сказали, что он увлекается Дюма, Вова бы разобиделся. Он вырос из романов плаща и шпаги, они не для него. В них мало исторической правды. А мне нравится Дюма. Его правда ничуть не хуже той, что в учебниках. Сейчас я борюсь со сном и поэтому отвечаю невпопад. Вова никогда не думал, что я такая ненаблюдательная. В следующий раз он поедет за мной. Нельзя же затруднять Анночку. Но я вовсе не затрудняю, она дает урок в соседнем доме. Я смотрю на Вову, и он то приближается, то отдаляется. Боже мой, неужели и у меня галлюцинации! Я ведь не потеряла жениха и сердце мое еще не разбито, а только чуть-чуть надтреснуто. Почему же Вова очутился в конце комнаты и сейчас стукнется о комод? Он, действительно, стукнулся, но это было уже во сне. Ящики стали открываться и из них посыпались голубые маки. Откуда они? Наверно, Анночка потеряла отделку со своей шляпы.

Утром я никак не могла припомнить свой сон. А он был длинный, как романы Дюма и похож на скачку с препятствиями. В гимназию иду с неохотой. Мне почему-то неловко встретиться с Мусей. Раньше она была загадкой. А теперь я знаю ее комнату, ее белый письменный стол и парту с чернильницей. Никто у них не считает Мусю совестью нашего класса. Там она просто тихая скромная девочка. Когда Муся приходит домой, она сейчас же переодевается. Надо донашивать прошлогоднюю форму. А я ни за что не хочу переодеться. Мне лень. Оделась с утра и готово. Нельзя же всю жизнь посвятить переодеваниям. Все говорят, что я не кокетка, а вот Катя — прирожденная кокетка. Что за несправедливость! Я тоже кокетка, но никто этого не замечает. Платья меня не интересуют. Особенно скучно ходить на примерки. Это не относится к мадам Рабинович. У нее я знаю каждый столик и каждую табуретку на кухне. К воздуху в квартире я привыкла: это помесь пригоревшего молока и какой-то кислятины. Зато у венгерки два трюмо и зеркало в облезлой золотой раме. Она носит прическу с валиком, а ногти у нее грязные, и она зовет своих мастериц: «Манька, Верка, Олька!». Громче всего она кричит: «Франя!». Но Франя не отзывается, она уже не подросток и ее могут переманить. Тогда венгерка останется с носом. Как я была бы довольна, если б в один прекрасный день Франя не пришла на работу. Все бы считали, что она неблагодарная девчонка, а я знаю, что венгерка хотела превратить ее в рабу, но Франя не из робких, она умеет за себя постоять.

Домашние портнихи в счет не идут. Но я предпочитаю их разным венгеркам. Кроме Мани есть еще маленькая кривая Мирра. Она из того же местечка, что Геня, они там играли в камушки и на Хануку у них был волчок: дрейдль. В общем, все портнихи,

домашние и недомашние, твердят в один голос, что я не кокетка. Мне все равно, какой фасон выберут, лишь бы поскорей отделаться. Если уж говорить о платьях, то какая красота в детских плиссированных юбочках! Я еще понимаю платье с треном, как у тети Лили или то, что в оборках, как у жены шпиона. Мне нравится мамино бархатное платье, хотя оно уже немного вытерлось. И мои платья и даже моя новая форма могут преспокойно висеть в шкафу. Я хочу нравится за свой ум и душу, а не за платья. Я слышала, как говорили, что со временем я выравняюсь и буду похожа на мамину двоюродную тетю. Впрочем, они не уверены, что я выравняюсь. Спрашиваю Якова Соломоновича. Он возмущен. Дедушка тоже возмущен. Кто посмел обидеть его внучку, самую красивую девочку в Одессе! Стыдно сознаться, но мне приятно, что они так восхищаются. Я не цепляюсь за свою красоту и не виновата, что дедушка смотрит на меня глазами любви.

Такие глаза были у папы, когда он наклонялся надо мной и приговаривал: «Косточки-росточки...» Я была совсем маленькой, меньше Кати, и мне казалось, что я расту. Косточки вытягиваются. Скоро я догоню Вову. Я буду великаншей с Куликова поля. А папа все водил и водил своей большой теплой рукой по одеялу. А какие глаза у мамы, когда мы сидим вдвоем в гостиной, и она рассказывает про свой город и про бабушку с портрета. Она умерла и вслед за ней умерла маленькая Лена, мамина сестра. Если б не скарлатина, у меня была бы теперь тетя Лена с вьющимися волосами. Но тети Лены нет, к ней можно ездить на кладбище. Юзя говорит, что всех младенцев Бог берет к себе и на небе они становятся ангелами. Почему же только младенцы? Неужели нет взрослых ангелов? Вова объясняет мне, что они безвозрастные: ангелы не могут состарить-

ся, как простые смертные. Но весь вопрос в том, существуют ли они, или это нянюшкины сказки.

Вова скорее поверит в чертей, чем в ангелов, а дядю я боюсь расспрашивать. Я пристала к Хейфецу, но он отмахнулся. Небесные дела его не интересуют. Они для стариков из синагоги. Им нечего делать, поэтому они по целым дням и ночам читают Священное Писание. Я готова поссориться с Хейфецом и прекратить уроки, так мне обидно за дедушку из Вознесенска. Он ведь не отрывается от книг в кожаных переплетах. Не знаю, на каких стариков намекает Хейфец. Дедушку я ему не отдам. Но я не могу понять, почему Борин отец обзывает моего Бога нехорошими словами. Он еврейский, а иногда жидовский Бог. Его Бог называется Господь-Саваоф. Ну и пусть так называется! Ведь не Он вывел нас из Египта. Тогда расступилось море и по нем прошли, как по суше. Это было Чермное море. В учебниках географии его называют: Красное или Чермное море.

В гимназии я задолго до молитвы. В коридорах пусто. Афанасий подтирает полы шваброй. Хочу сказать ему, что не стоит. Все равно их затопчут. Но Афанасий может принять это, как оскорбление. Он за чистоту. В классе ни пылиночки. И очень тихо. Слышно, как рыбка стучится о стекло нашего общего аквариума. В углу за печкой Тоня Калиниченко повторяет Закон Божий. Я прислушиваюсь, а она тянет, как ни в чем не бывало: «Оставь отца своего и мать свою и прилепись к жене своей...» И вдруг Тоня не выдерживает: «Надька, ты не можешь мне сказать, как это прилепляются к жене?». Я думаю, что это очень просто: женятся и забывают своих родителей. Или стесняются их, как Мальвина. Жена доктора Ашевского говорит, что вы отдаете жизнь вашим детям, а они уходят с посторонним человеком и плюют на вас. Но может быть в Законе Божьем это

имеет другое значение. Я ведь имею в виду человеческий закон. Лучше ей справиться у Муси, она, наверное, знает.

Класс постепенно наполняется. Пришла Лида Родиопуло. Она сейчас покажет карточку своей старшей сестры. Такой я еще не видела: на ней сестра с голыми плечами, а вокруг плеч боа из перьев. Дочка доктора тоже смотрит на фотографию. У ее тетки на карточке не только голые плечи, но и голая спина. Я этим похвастать не могу. Наши карточки все одетые. У дам воротнички из гипюра, подпирающие шею. Некоторые в шляпках. Я уверена, что дочка доктора соврала, ей ничего не стоит придумать какую-нибудь родственницу. Одной из последних приходит Муся. Она такая, как обычно. Трудно вообразить, что вчера она помогала расставлять стаканы и чашки. Мне бы хотелось знать, что с Ираидой, но я не решаюсь заговорить об этом. Муся может подумать, что я расфамильярничалась и вмешиваюсь не в свое дело. Буду молчать. Тем более, что Ася не отходит от меня ни на шаг. Она ревнует меня к Мусе. Для этого нет оснований. Муся никогда не станет моей подругой. Она — соученица и к ней можно изредка ходить в гости. У Муси нет подруг. Она занята уроками и тем, что говорят учителя и учительницы. Каждое их слово она обсуждает. Для этого у нее есть слушательница: Поцелуйкина. Мусю она не смеет целовать. Она только смотрит на нее влюбленными глазами. Кажется, что сейчас она задохнется от счастья.

К удивлению Муси я равнодушна к разглагольствованиям наших преподавателей. Они все страшно повторяются. Вова сказал, что их учителя тоже повторяются. У каждого — свой конек. Этим можно пользоваться, когда наступает критический момент, то есть когда тебя вызывают и ты ни в зуб ногой.

Вовин учитель истории был в Париже и это его излюбленная тема. Стоит навести разговор на его поездку и он начинает восторгаться Булонским лесом, Жанной д'Арк и парижскими бульварами. Из наших учителей никто, кроме мадам Тюрбо, в Париже не был. Она француженка и ей это полагается. Наша мадмазель была там всего один день и тот она просидела на вокзале, так как боялась пропустить поезд. Она говорит, что вокзал большой, но грязный. Библиотекарша хочет поехать в Италию, где колыбель искусства и культуры. Но пока она соберет деньги на дорогу могут быть различные перемены. Это не мешает ей говорить об Италии так, будто она в ней родилась. Боюсь, что она разочаруется, когда попадет в настоящую живую Италию. Воображаемое всегда интереснее. Я помню, как я была разочарована, когда Тоня прислала мне открытку из Кисловодска. Кавказ я представляла себе по-другому. Он так непохож на Кавказ Тони Калиниченко, что я начинаю в нем сомневаться. Кто прав? Неужели Тоня? Это было бы ужасно. А вот у Топсика в Сибири все замечательно. Если поверить Топсику, в Сибири теплее, чем в Одессе.

Сын артиста был в Сибири с труппой и ничего замечательного не заметил. Они ехали бесконечно долго и под конец все в купе переругались. А вид из окна самый обыкновенный. Если не считать озера Байкал. Сын артиста даже засвистел от восхищения. Он подробно описывает Байкал, и я начинаю думать, что он там никогда не был. Сын артиста любит говорить о том, чего не знает. Тут он дает волю своей фантазии.

Мара Гольберг хотела бы гастролировать в Европе, это она сказала у Муси в саду. Но что она подразумевает под Европой, Мара нам не открыла. Каждый пианист должен ехать в турне, и она тоже по-

едет, как Иосиф Гофман и Годовский. Сегодня она пришла очень рано. Может быть у нее были такие же мысли, как у меня. Учение она, как видно, презирает. Но без него нельзя стать свободным художником. Другие художники Мару не интересуют. А что будет с Сахно? В противоположность Маре она прилежная, но сонная. Васса сказала, что у нее лицо, как плохо испеченный блин. Васса смеется над всеми и над собой. Когда она начинает себя критиковать, мне больно. Я знаю, что она ждет, чтоб я ее разуверяла. А у меня, как на зло, язык прилипает к гортани. Сейчас она чем-то недовольна. На молитве она нарочно толкает меня в бок. Она хочет, чтоб я рассердилась или расхохоталась и тогда все начнут смотреть на меня и шикать: я нарушаю торжественность.

Нарушать нечего. Молитву читает девочка с большими веснушками. Она все смешала и получается каша. Серьезней всех читает Муся: она придает значение каждому слову. После молитвы в класс входит начальница. Она предлагает нам учить английский язык. Это не обязательно, но она советует. Все понимают, что надо учить английский. Отказываются только Берта Креде и Родиопуло. Они неспособны к языкам. Берта говорит по-русски, как немка. А немецкого языка она совсем не знает. И зачем он ей, она хочет стать кассиршей. Она будет служить в кондитерской, где персонал может есть сколько душе угодно. Заведующая сказала бертиной кузине, что через несколько дней у всех расстроятся желудки, и они на всю жизнь возненавидят трубочки с кремом. Главное, ничего не выносить. Пакетики для покупателей, а не для служащих. С Бертой в кондитерской могут просчитаться. Я не думаю, что она когда-нибудь охладеет к пирожным. А Родиопуло просто не хочет себя утруждать. Она все равно не

сдаст окончательных экзаменов. Ученик Четвертой гимназии сказал, что пока она еще бутон, но скоро распустится и станет цветущей розой. Она будет танцевать на балах и там встретит томного красавца. Он, конечно, женится на ней, и они будут жить на Маразлиевской в особняке с чугунной решеткой и мраморными львами.

А я мечтаю об английском языке. Учебник я видела и уже прочла первый урок: «Где ваша сестра Элси? Ее здесь нет. Она нездорова». А в самом конце: «Роза — цветок. Овца — животное». Написано по-русски. Это надо перевести на английский язык. Теперь у меня новая забота. После гимназии я должна пойти к господину Букинери. Но вдруг у него нет этой книги и в «Образовании» нет, и в «Знании» она вся вышла? Что я тогда сделаю? Васса меня успокаивает. В каждом магазине горы таких книг. Пока мы говорим об учебнике, в класс входит Надежда Игнатьевна. Она в плохом настроении и сразу же начинает сердиться. Почему мы не на местах? Что за переселение народов? Она обрушивается на Тоню Калиниченко. Откуда у нее эти дурацкие ленты? Тоня не русалка, чтоб играть своей косой! Все почему-то втягивают голову в плечи и как будто ждут, что Надежда Игнатьевна начнет критиковать их прически. Но она уже остыла. Незадолго до звонка мы читаем «Крестьянские дети» в лицах. Я читаю за Некрасова. Надежда Игнатьевна кричит: «Проще, проще! Пожалуйста, без пафоса!». Это повествование. А без пафоса читать неинтересно. Выходит хуже, чем в жизни. В конце концов Надежда Игнатьевна смягчается: она согласна на самую капельку пафоса. Надежда Игнатьевна хочет, чтоб все было, как в действительности. Поэтому она говорит о наших великих классиках, и мы читаем отрывки из хрестоматии. Я-то прочла Тургенева и половину Гон-

чарова. Но Надежда Игнатьевна этого не знает. Она способна была бы поднять целую бучу. Гоголя без «Мертвых душ» она бы мне простила. Но не Тургенева. Должна справиться у Вовы, считают ли Чехова классиком. Я лично не считаю, у него слишком много коротких рассказов.

На середине «Крестьянских детей» раздается яростный звонок. Можно подумать, что Афанасий хочет сорвать на нем всю свою злобу. Он зол на нас еще со вчерашнего дня, когда по неизвестной причине упала вешалка и все шляпы попадали на грязный пол. Звонок никак не может утихнуть. Все вскакивают. Дочка доктора замерла на полуслове. И рот у нее, как «о» прописное. Одна Муся не захлопнула книги. Она ждет разрешения. Муся не знает, что такое спешка. У нее, наверное, железные нервы. Такие, как у дяди Авдея Ильича. А я без всякой причины начинаю хватать все, что попадется под руку. По мнению близнецов поспешность нужна только при ловле блох. А я даже не помню, как выглядит блоха. Вова меня утешает: это брехня, они брехуны. Но девочкам лучше так не выражаться. Непонятно, почему девочки должны говорить на языке, где нет грубостей. Хорошо, до поры до времени буду молчать. Правда все равно восторжествует и все поймут, кого они проглядели.

Ася спрашивает, почему я не в своей тарелке? Не могу же я сказать, что мне не нравится гимназический зал, где по стенам висят писатели, похожие на каторжан. Она подумает, что я притворяюсь, чтоб казаться необыкновенной. За глаза Ася меня расхваливает, а в глаза говорит колкости. В дружбе так полагается. Моя правда менее обидная. Я стараюсь ее смягчить и выходит полуправда. А дочка доктора не имеет понятия о правде, хотя постоянно клянется и божится. Посоветовала ей вместо «ей Богу» говорить

«ел боб». Это из детской книжки и совсем неглупо. Она обиделась: я издеваюсь над клятвами. Если меня послушать, Бога нет, а вместо него боб. Надо будет сказать Боре Гаевскому. Он любит, чтоб к нему обращались за справками и готов рыться во всех словарях. Женя тоже книжный червяк. Мне повезло, что у меня такие друзья. Но когда Матя называет их «интеллигентные мальчики», я готова ее возненавидеть. К чему ярлыки? Кому они нужны? Разве только матям и им подобным.

45.

На третьем уроке у меня неприятность: я забыла взять с собой арифметическую тетрадь. Учительница подозревает, что я нарочно оставила ее дома. Она смотрит на меня возмущенными выпуклыми глазами и говорит, что разочаровалась во мне. Она считала меня серьезной и ответственной, а я такая же, как все, то есть безответственная. Ей легко рассуждать. Она знает решения всех задач и десятичные дроби для нее пустяк, плевое дело. И все-таки жалко, что она во мне разочаровалась. Но я не Муся Логинская, я не так завишу от учительских восторгов. На моем месте она бы, наверное, три дня ничего не пила и не ела. А я тут же, на большой перемене, после горячего завтрака, купила два бублика и целый кусок шоколада за пять копеек. Мне было так горько, что я решила заесть это шоколадом Фишера. Его продает шестиклассница с маленькой змеиной головкой. Самое странное, что у нее огромное туловище, и поэтому она похожа на мою старую ватную куклу. Змеиная шестиклассница оказывается очень милой: она отламывает так, чтоб захватить кусочек соседней плитки. И дает мне подержать шоколад с условием, чтоб я не слишком горячо прижимала его к своему холстинковому переднику. Он может растаять. В общем, я принимаю участие в продаже, а это честь для второклассницы.

Но всему приходит конец. На горизонте Афанасий со своим неизменным звонком. Он держит его высоко-высоко, как будто боится, что звонок отнимут. А на него никто не покушается. В других руках он ничего не стоит — звонок, каких много. У нас в классе настоящий переполох. Все толпятся возле парты Куцис, и она рыдает, как тетя Ида, когда ей кажется, что ее не пригласили на семейное торжество. «Вот, вот», — надрывается Куцис и показывает всем, кто только хочет смотреть, свою общую тетрадь. В ней страшные вещи: «Ты воровка», пишет кто-то большими печатными буквами. Куцис продолжает всхлипывать. Мне неприятно сознаться, что я ее никогда не любила. Она для меня девочка из провинции. Из какой — неизвестно. Сестра ее в приготовительном классе, она тоже из провинции. Но самая провинцилаьная — мама Куцис. Она носит шляпу, похожую на шапочку гриба. Совесть моя нечиста. Недавно я встретила Куцис в подъезде нашего дома и очевидно у меня было такое лицо, что она сказала: «Не пугайся, я не к тебе». Я чуть не провалилась сквозь землю и если б в тот момент она решила зайти к нам, я способна была бы отдать ей все флакончики брокаровского одеколона и даже «Маленького человека» Альфонса Доде. Но она повернулась ко мне спиной и шмыгнула во двор. Я несколько раз повторила про себя, что с моей стороны это свинство, что я должна с ней подружиться. Ведь бедной Куцис недостает ее города, где только один двухэтажный дом. И хотя в Одессе почти все дома трехэтажные, она думает, что нет ничего красивее их палисадника с подсолнечниками и другими провинциальными цветами.

Дружбы не получилось. А сейчас, когда ее обидели, мне хочется первой выступить на защиту. Но дочка доктора кричит, что она не потерпит, то есть мы

все не потерпим! Надо найти виновницу и ее выбросят из гимназии. Куцис испугана больше всех: «Не надо выбрасывать, может быть она раскается». И слезы, как дождь, падают на ее общую тетрадь, где скоро от слова «воровка» останется одно воспоминание. Многие сморкаются. Берта Креде вытирает глаза концом грязного передника. Еще минута и начнется всеобщий рев. Но входит Галина Петровна, учительница истории, и сразу становится тихо. Галину Петровну боятся. Она преподает как будто в шутку, а на самом деле может поднять целую историю из-за того, что мы не знаем, кто поляне и кто древляне. И по каким рекам живут дулебы. Я хотела бы знать, вымерли ли они, или есть остатки этого замечательного племени, но Галина Петровна терпеть не может, когда задают вопросы. Ей лень отвечать. Она боится, что мы ее разыгрываем, как делают у Вовы в классе. Галина Петровна подозрительно нас осматривает. «Откуда столько красных носов и заплаканных глаз? Теперь ведь не сезон насморков!». Но мы молчим, как будто речь идет о дулебах.

«Ах так, — говорит Галина Петровна, — тогда приступим». И вызывает Асю. Пусть она расскажет, как топили идолов в тогдашнем Днепре. Ася начинает заикаться, она забыла названия идолов. «Перун», — громко подсказывает Васса. Все хихикают. «Дажь-бог», — еще громче шипит кто-то. «Дай Бог», — повторяет Ася. Галина Петровна возмущена. Что за издевательство над русской историей! Мы, видно, не даем себе труда заглянуть в учебник. Она машет рукой и Ася сконфуженно опускается на свою парту. Поскорей бы кончился никому ненужный урок истории. Все время думаю о том, кто бы мог написать: «Ты воровка!». Не могу себе представить, чтоб кто-нибудь их моих тридцати пяти соучениц был способен на такой нечестный и злой поступок. И

почему именно эта павшая личность избрала Куцис? Я знаю, что некоторые считают ее пролазой. Она училась очень плохо и вдруг, потихоньку, стала всех перегонять. Но они неправы: Куцис хорошо учится от скуки. У нее нет ни знакомых, ни подруг. Ей ничего не остается, как готовить уроки. Но я не подозревала, что бывает такая злоба и что осуждают не только за лень, но и за прилежание. Вместо того, чтоб радоваться успехам Куцис — негодовали. А дочка доктора была главным судьей. Она, вообще, непостоянная. Поэтому у нее только временные подруги. Она ходит с ними по коридору. Каждый раз с другой. Подругам надоедает слушать ее рассказы про водолечебницу, и они быстро смываются. Сейчас она взяла Куцис под свое покровительство и даже подговаривает нас пойти к начальнице. Мы не спешим, это слишком опасно: начальница не дослушает до конца и начнет нас отчитывать. Мы не знаем, что такое гуманность. После этого она способна наброситься на несчастную Куцис. Лучше подождать до завтрашнего дня и подкараулить обидчицу.

Я жалею, что Вова охладел к Шерлоку Холмсу и Нату Пинкертону, он мог бы дать нам хороший совет. За обедом спрашиваю его, по какой системе лучше всего выслеживать преступника? Оказалось, что Вова, все-таки, за Шерлока Холмса. У него все научно и проходит через лабораторию, а Ник Картер и Пинкертон — обыкновенные сыщики. Вова заинтересован нашим скандалом. Он говорит, что это похоже на анонимные письма. Недавно он получил анонимное письмо от одной гимназистки. В нем она изображала из себя графиню по имени Ванда. Но Вова сразу напал на след. Это не графиня. У графинь не бывает детского почерка. В конце концов он выяснил, что писала лучшая подруга велосипедной девочки. У ее отца дровяной склад. Вова думает, что она хотела его

заинтриговать. Велосипедной девочке он ничего не сказал, это было бы не по-джентельменски. Прямого отношения к Куцис Вовино письмо не имеет. Оно было, скорее, приятным. Графиня признавалась ему в страстной любви. Она мучается и не спит по ночам, как Лиза из «Пиковой Дамы». Больше всего она боится, что узнает отец, старый граф, и отошлет ее в дальний замок, окруженный непроходимыми лесами.

Я как на иголках. Уже два раза звонила Асе. Она тоже, как на иголках. Ей приходят в голову немыслимые вещи. Она подозревает Берту Креде. Но почему Берта так горько плакала? Ася думает, что она хотела замести следы. Никогда не поверю, Берта неспособна на такую подлость. Больше всего она боится, что кто-нибудь возьмет ее двухцветный карандаш, а потом не отдаст. И она слишком вялая, чтоб писать в чужих тетрадях. Берта и в своей еле-еле пишет. Надежда Игнатьевна предполагает, что она останется малограмотной.

Ася неправа. Мое подозрение падает на Сахно. У нее бегающие глаза и она держится в стороне от всех. Ася начинает на меня наседать: как я смею позорить лучшую пианистку нашего класса! Еще немного и она скажет, что я завидую Сахно. Она играет Шопена, а я Шпиндлера. Но я вешаю трубку. Какая была бы клевета! Ася ведь отлично знает, что я не завистливая. Жалко, что нельзя вызвать Вассу. Она, наверное, что-нибудь придумала. Ее голова полна всякой всячины. Придется ждать до завтра. Через полминуты должна прийти мадмазель. С ней не стоит говорить о ворах и сыщиках. Она сейчас же начнет рассказывать, как три года тому назад у нее украли брошку с бирюзой, подарок племянницы бывшего помощника градоначальника. Эту историю я знаю наизусть. Впрочем, за последнее время произошли изменения: брошка из бирюзовой превратилась в брил-

лиантовую. Большой разницы не вижу. Бирюза гораздо красивее бесцветных бриллиантов. Но мадмазель считает, что я не знаю жизни и поэтому мне нравятся дешевые брошки. Вот у ее бабушки была нитка жемчуга. Все думали получить ее в наследство. А бабушка перед смертью бросила нитку в ордюр, то-есть в помойное ведро. Внучки и другие родственницы остались с носом. Одна кузина перерыла все помойные ведра и ничего, кроме картофельной шелухи, не нашла.

Я довольна, что корыстная кузина осталась ни с чем. Так ей и надо, пусть не гоняется за наследством. Мадмазель со мной несогласна: ей жалко внучек. Она ведь тоже внучка и могла рассчитывать на нитку жемчуга. У нее были надежды, но они развеялись, как дым. А сколько подарков пропало даром! Спрашиваю, любила ли она свою старенькую бабушку. «О да, — отвечает мадмазель, — но мне больно, что наш фамильный жемчуг найдет какой-нибудь тряпичник и его жена будет носить его на своей грязной шее». Все эти разговоры о наследствах отвратительны. В хрестоматии умирающий отец оставляет сыновьям честное, незапятнанное имя и несколько добрых советов. По-моему этого более чем достаточно. Попробую расспросить дядю, он специалист по фамильной чести. Кроме того, он знает, как надо обращаться с преступниками. Но дядя все еще на станции, он скупает пшеницу. Не понимаю, как можно жить на станции! Неужели он ночует в зале для пассажиров, в первом и во втором классе? Или в третьем классе на полу вместе с мужиками и бабами? Матя в отчаянье. Ей кажется, что я совсем спятила. Дядя живет в трех верстах от станции у одного почтенного еврея и спит у него в столовой на кушетке.

Пригодилась бы и Вера Львовна, но она редко у нас бывает. Вова сказал мне по секрету, что за ней

ухаживает немолодой, богатый человек. Почему немолодой? Оказалось, что богатыми бывают главным образом немолодые. Если немолодой человек на ней женится, Вера Львовна обеспечит своих родных. Ланю она поместит в самую лучшую школу и сошьет ему у портного Гофмана форму, похожую на офицерскую. Богатый человек еще окончательно не решил. Ему нелегко расстаться со своей чудной холостяцкой жизнью. Но семья Веры Львовны, как на угольях. Ее мама мечтает о том, как она попросит квартирантов очистить помещение. И все это должно случиться в такой неподходящий момент. А я думала, что только в книгах бывает стечение обстоятельств. Например, семья разорилась, она уже на соломе, и вдруг появляется американский дядюшка. Считалось, что в Караибском море его съели акулы. А он жив и пышет здоровьем: на голове у него цилиндр, а в зубах сигара, толщиной в руку. Не успевает он докурить ее до половины, как все налаживается.

Со мной этого случиться не может. Я невезучая. Стоит что-нибудь придумать, как выясняется, что это было открыто еще до моего рождения. Те, кого я ругаю, конечно, про себя, как на зло становятся удивительно милыми. А когда мне необходимо узнать, как поступают с девочкой, написавшей в чужой тетради: «ты воровка», — все почему-то заняты и уклоняются от ответа. В это время несчастная Куцис сидит в чужой столовой и слезы капают в ее недоеденный перловый суп. Перловый, потому что я его терпеть не могу. Хозяйка полного пансиона недовольна, она немало потрудилась над этим паршивым супом. Она смотрит на Фиру Куцис своими гадючьими глазами и у той от страха начинают дрожать губы. А может быть Куцис чувствует себя ге-

роиней, все ее жалеют, она центр внимания. Даже дочка доктора готова идти за нее в бой.

Все это я выдумала по дороге к мадам Трейн. Мне сегодня особенно не хотелось заниматься музыкой. Урока я не знаю. Моя баркаролла никак не может стать плавной. Она вся состоит из толчков и напоминает мне лодку у берегов Большого Фонтана. Чтоб придать себе храбрости, покупаю на лотке кусочек косхалвы. Я решила в случае чего сломать себе зуб, но, все-таки, довести до конца. Косхалва отвлекает меня от Куцис и от баркароллы, но мои руки становятся чудовищно липкими, я не могу их оторвать от клавиш. Мадам Трейн обеспокоена. Ей не может прийти в голову, что это косхалва. Она посылает меня в кабинет своего мужа, а мое место занимает подвинутая ученица. Прежде, чем начать, она подкручивает фортепианный стул. Игры ее я не слышу, я погрузилась в чтение.

Я знаю, где лежит толстый роман писателя с необыкновенной фамилией: Мамин-Сибиряк. Даже сын артиста о нем не слышал. Он, будто бы, знаком с его собратом по перу — Папиным-Сибиряком. Это глупая шутка и я ей не поддаюсь. В романе выведена поэтесса Апушкина. Какой неприятный псевдоним! Мне бы не пришло в голову называтфся Эмлермонтовой или Ачеховой. Сразу видно, что Мамин-Сибиряк над ней издевается. Не успеваю прочесть главу до конца, как уже зовут. Подвинутая ученица отыграла свое. Она скучает, ей не хочется слушать ганоны и упражнения для левой руки. Скоро она поступит на средний курс консерватории и забудет мадам Трейн и американское пианино фирмы Стейнвей. А я всю жизнь буду ходить на уроки музыки и, даст Бог, одолею мою баркароллу. Но к этому времени у меня, наверное, появится седая прядь как у Мары Гольберг.

Осторожно, чтоб не обидеть мадам Трейн, спрашиваю, знает ли она Мару Гольберг и слышала ли о такой знаменитой пианистке, Верочке Сахно. Мадам Трейн говорит, что такой знаменитости не существует. Тогда я объясняю, что она знаменита в нашем классе. Мадам Трейн смеется, хотя это совсем не смешно. Труднее всего прослыть великим среди своих. По их мнению неряха или обжора не может быть гениальной. У нас в классе исключение делают только для Муси Логинской. Она высший авторитет. Но при всем моем уважении к Мусе я не представляю себе, что она станет философом или писательницей с громким именем. Больше всего ей подходит роль учительницы. Муся будет распространяться о долге и о принципах, и все потихоньку ее возненавидят.

Две-три девочки из нашего класса считают меня чем-то вроде Иванушки-дурачка. Ну что ж, я ничего против не имею. Как никак, а он обкрутил вокруг пальца своих умных братьев. Еще в прошлом году Вова сказал, что у великих людей бывает «священное безумие». Но до этого надо дорасти. Священные безумцы не имеют ничего общего с сумасшедшими со Слободки-Романовки. Те просто несчастные, обиженные Богом. После «Записок сумасшедшего» я долго боялась открывать шкаф, где стоит Гоголь. А недавно я проснулась посреди ночи, часов в одиннадцать. На голову мне капала холодная вода. Кап, кап, кап... Потом страх прошел и мне стало неловко: нельзя же так верить в литературу. Но Вова верит и сын артиста тоже. Почему же я должна во всем сомневаться. Я верю в старосветских помещиков и в Поприщина. А хозяин иллюзиона с Канатной улицы ей-Богу, похож на Чичикова. По виду он такой же круглый и приличный. Сын артиста говорит, что он может всех обжулить. Вместо двух драм дает одну,

а малороссы у него только на афише. Их заменил куплетист из бывших писателей.

Но какое это имеет отношение к Куцис? Она ведь не читала Гоголя, он не входит в программу. Чем больше я думаю о Куцис, тем страшнее мне становится за ее судьбу. Как она смоет с себя позорное обвинение? В романах Дюма-отца оно смывается кровью и Ланя хотел бы великолепным движением вытащить шпагу, так, чтоб она засверкала на солнце, и сразить ею противника. А если противник его сразит? Тогда Ланя останется лежать на холодных плитах, и над ним будет склоняться особа неземной красоты. Но если Вера Львовна выйдет замуж за немолодого богача, Ланя изменит «Трем мушкетерам». У него появятся деньги, он начнет разъезжать на извозчиках и пить бузу в угловых будках. Буза до сих пор его любимый напиток. Он смеется над двойными и тройными сиропами. Это пойло для девченок. Лане, наверно, противна буза, но он пьет ее, чтоб показать свое превосходство над нами.

Мне приходит в голову, что Куцис никогда не тратила денег в гимназическом буфете. Она ела где-то в сторонке, а промасленную бумагу — прятала. Так никто и не узнал, с чем ее бутерброды. Дочка доктора сгорала от любопытства. Она вертелась вокруг Куцис и все хотела заглянуть в ее корзинку. Но та сидела, как глыба. Иногда подходила ее младшая сестра, и они ели молча, как будто еда была самым серьезным делом на свете. Раз я видела, как Фира Куцис наслюнила платок и принялась тереть красное пятнышко на щеке у своей сестры. Это было очень трогательно. Я вспомнила, как мои щеки терли платком. Но пятна, обыкновенно, не сходили. Они были другого, по большей части чернильного происхождения. Катя любит слюнявить своих кукол и все говорят, что у нее материнский инстинкт. Значит, и у

Куцис материнский инстинкт, но почему же, в таком случае, она мне антипатична? За что я ее невзлюбила? Трудно дать ответ. У Вовы в классе есть ученик по фамилии Авдеенко. Его не любят и считают доносчиком. Может быть потому, что руки у него, как у обезьяны, до колен. Когда его о чем-нибудь спрашивают, он мычит. Авдеенко вовсе не глухонемой, ему просто лень отвечать на приставания. В конце года окажется, что доносчиком был не дикарь-Авдеенко, а самый хорошенький и тихий мальчик. Имени его я не назову.

Мне некому излить душу, как это делает Матя, когда у нее любовные неприятности. Прежде я могла забежать к Натусе. Но Натуся в Николаеве. Она исчезла так же незаметно, как появилась. Теперь она ходит по Соборной улице и ей кажется, что Николаев лучший город в мире. Телефон все время занят. То вызывают по делу, то Вова переговаривается с близнецами. Телефонная барышня узнает вовин голос и сразу же, не спрашивая, дает их номер. Вова думает, что пронзил сердце телефонистки и под Новый год собирается преподнести ей коробку шоколада. Конечно, если средства позволят. Ко мне телефонная барышня относится иронически. Она переспрашивает и даже передразнивает меня. Шоколада ей не дождаться. Лучше дам его новогодним поздравителям — трубочистам.

До праздников еще далеко. Но Вова и близнецы высчитали, сколько учебных дней осталось до конца года. Они взяли календарь, чиркали и вычеркивали и все время переругивались. У Вовы получилось на три дня меньше. Он торжествовал, но близнецы ему не доверяли. Не может быть, чтоб Вова считал лучше, чем они. Когда я сказала, что не стоит забегать вперед, они расхохотались. У них отвратительная манера хохотать по всякому поводу. — Ах, какая рас-

судительная! Поэтессе это не подходит! Она должна витать в эмпиреях, а я хожу по земле. Это издевательство. Они вовсе не считают меня поэтессой. Мои стихотворения только проба пера и подражание классическим образцам. Когда они это сказали, я чуть не разревелась, но меня удержало чувство уязвленной гордости. Главное, близнецы сами не знали, что такое классический образец. Они не подозревают, что у меня теперь другие намерения. Я хочу стать переводчицей. Переводить со всех языков, живых и мертвых. Потому что есть и мертвые языки. Завтра у нас первый урок английского и я заранее радуюсь тому, что буду говорить со свистящим произношением. Вова не верит в английский язык нашей начальницы. Но я стою за нее горой. «Как, она ведь написала учебник и там рассказы и стихи!». Но Вова думает, что в этом нет большой заслуги: она переписала их из английских хрестоматий.

Мне обидно, что он развенчивает мою начальницу. И все потому, что он только один раз ее видел. Это было на утреннике. Мы сидели в партере, и она и Зоя Антоновна прошли мимо нас. Начальница посмотрела на меня поверх очков и спросила, с кем я. Вова потом старался меня уверить, что я покраснела. А это к лицу провинциалкам и кисейным барышням. Кроме того, не нужно пугаться гимназического начальства. Я имею полное право ходить на утренники в сопровождении старшего брата. Несмотря на вовину иронию, я верю в английский учебник. Он должен открыть новую для меня страну Англию, родину Давида Копперфильда и Урии Гипа.

А сколько есть неведомых стран и даже материков. Ланя хотел когда-то бежать в Австралию. Если провести прямую линию, это не так далеко, но на самом деле она на краю света. Сейчас он и слышать не хочет об Австралии. Ее сменила Южная Америка.

В крайнем случае он будет жить в техасском ранче. А может быть просто останется в Одессе. Все это в тумане. Только что Ланя прибежал к нам. Он вне себя от радости: его тетка, Вера Львовна — невеста. Немолодой холостяк в конце концов сделал ей предложение. Он плакал и повторял, что привык жить с матерью и сестрами. Ланя при этом не присутствовал, но он рассказывает так, как будто сам женится. Мама и папа довольны. Они хотят устроить парадный обед для невесты, жениха и всех родственников. А мне почему-то грустно. Я боюсь за Веру Львовну. Будет ли она счастлива? Куда денутся ее блузки и юбки. Неужели она станет заказчицей мадам Белопольской и венгерка будет ей шить платья для каждого дня? А что скажет ее подруга, Паша? Та, что декламирует: «Пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает...»

Я думаю, что быть богатым не так просто. Деньги это стена и через нее нелегко пробиться. Конечно, есть разные деньги: легкие и тяжелые. Легкие тратятся легко, а тяжелые лежат в банке или в банкирской конторе. Вова не советует класть денег в банкирскую контору, она может лопнуть. Банк не лопнет, там артельщики, и они за все отвечают. Я спросила папу, есть ли у нас деньги в банке? Он рассмеялся. По его мнению я чудачка. Таких чудаков он, будто бы, никогда еще не встречал. Зато Ланя знает, что мужу, еще не совсем мужу, Веры Львовны принадлежит половина банка. Как его разделили на две равных половины, он не имеет понятия. Ланя сказал мне по секрету, что холостяк терпеть не может, чтоб ему противоречили. Он не говорит, а изрекает и каждое его слово — закон. Вера Львовна знает, что у него тяжелый характер, но она уже решилась. Сама Вера Львовна известная спорщица, она спорит до слез, а ей придется терпеть и поддакивать. Я решила

быть холодной. Пусть жених чувствует, что я им вовсе не очарована.

У нас гостит дядя Сема. Он приехал в Одессу по делу, его послал тесть. Пока он сидит в гостиной в угловом кресле и курит. Он такой же, как был до свадьбы. Когда все вышли, я спросила, что нового в их местечке? Он думал, думал, и наконец процедил сквозь зубы: «Что может быть нового в местечке?». Папе он отвечает более вежливо, но односложно: — Да, нет... Как это случилось, что в нашу семью затесался такой молчаливый, неприветливый человек? Вова думает, что тут атавизм. У нас был молчаливый предок. Он жил много веков тому назад и его молчаливость каким-то образом перешла к дяде Семе. У тети Тани никакого атавизма. Она щебечет, как молоденькая барышня и до сих пор влюблена в дядю. Не понимаю, как можно быть влюбленной в человека с круглой спиной.

Жаль, что семейные дела мешают мне думать о Куцис. Какая будет развязка? Я уже слышу рыданья главной обидчицы: «Она не хотела, она не думала...» Но кто ж тогда писал за нее в тетрадь? Такие вещи сами собой не делаются! Чтоб как-нибудь завязать разговор, пристаю к Вове, слышал ли он фамилию — Куцис. Нет, Куцисов он не знает, но есть такой Кицис, он приходит к нам с черного хода и предлагает словари на выплату. С ним даже не разговаривают. Это надувательство. Порядочные люди должны платить сразу или же воздерживаться от покупок. Но Вова признался мне, что вступил с Кицисом в переговоры. Ему хочется иметь энциклопедию. Главное, утереть нос близнецам. Дружба в этом и заключается. Но я другого мнения. За основных друзей — Асю, Женю, Борю Гаевского — я готова пойти в огонь. Остальные не в счет. Кроме Вассы. Мою больную подругу, Валю, я почти забыла. Мне ка-

жется, что она далеко, на той планете, где живут артисты.

За чаем мадам Дунаевская опять рассуждала о родах и роженицах. Если ее послушать, рожают старые и молодые. Одна сорокалетняя родила, и представьте, девочка была, как настоящая куколка. Все у нее было точеное: и носик, и ручки, и ушки. «Точеное» в устах мадам Дунаевской — наивысший комплимент. Она признает только точеную красоту. Я слушала ее одним ухом, не таким точеным, как у новорожденного, и мне хотелось уйти к себе. Обычно я торгуюсь за каждые четверть часа, а тут у меня было одно желание: лечь и чтоб поскорее наступило утро.

От усталости глаза слипаются. Мое второе неточеное ухо я накрываю подушечкой и вдруг стук в дверь. Входит Куцис и сразу садится за письменный стол. Откуда она появилась? Ведь я ее не приглашала. Я только собиралась пригласить. Но Куцис вытаскивает из-под книг мою общую тетрадь и начинает ее перелистывать. Потом она громко читает: «Ты воровка!» Странно, но у меня в тетради это написано на каждой странице. Я хочу сказать Куцис, что буду жаловаться, что подам в суд, но слова застревают в горле. Я онемела. А она все перелистывает и перелистывает. Тогда я вспоминаю коротенькую молитву, я сама ее выдумала. Повторяю ее про себя три раза и Куцис исчезает. Она может вернуться. Нет, она не вернется, это был сон, уже утро и Юзя, по обыкновению хлопает всеми дверьми сразу.

46.

В гимназию мы едем на извозчике: Ася, ее сестра Витя, одна третьеклассница и я. Мы с Асей сидим на скамеечке. Это полная несправедливость. Третьеклассница могла бы сидеть на скамеечке, ноги у нее худее асиных. Она и Витя нас толкают. А платить мы будем поровну. Извозчик недоволен, что за двадцать копеек ему приходится иметь дело с целой оравой. Он не спешит. Но мы торопимся. Минуты бегут. Под конец третьеклассница рассвирепела и чуть не замахнулась на извозчика своей клетчатой сумкой. Потом она спохватилась. Не стоит его раздражать, он может завезти нас Бог знает куда. «А зачем ему нас завозить?». Но третьеклассница делает страшные глаза и шипит, как сто гадюк: «Замолчи, дура!». В другое время я бы ей дала отпор, а сегодня мне не до нее. Мне безразлично, что она задается своим третьим классом, где невероятно сложная программа. Ася и я молчим. Она чувствует в нас врагов и всю дорогу не перестает нам доказывать, как трудно учиться в третьем классе.

Она бы говорила так до позднего вечера, но извозчик, наконец, подъехал к углу. Из предосторожности останавливаемся за два дома до гимназии. Надо делать вид, что мы приехали самым дешевым способом или, что еще лучше, пришли пешком. Ездить на извозчиках — распущенность. Это знает любая

приготовишка. В нашем классе почти все в сборе. Нехватает только дочки доктора и Куцис. Неужели она заболела с горя? А может быть за ней приехала мама в большой шляпе и увезла ее в провинцию? Меня тревожит отсутствие Куцис. На дочку доктора мне наплевать. Она вечно опаздывает. Каждый раз случаются самые невероятные вещи: то остановилась электричка, потому что во всем городе не было тока, то она сошла с рельс. В общем, перворазрядное вранье, как говорят близнецы. Но с Куцис этого никогда не случалось. Она приходит одна из первых и терпеливо ждет. И вот кончилась молитва, а ее нет. И только за секунду до прихода учительницы, она проскальзывает в дверь и садится, но боком. Как будто ее сейчас же попросят выйти из класса.

Она похожа на бедную родственницу и меня это бесит. Вова сказал, что те, кто прибедняются — опасные личности. Но я не хочу критиковать, Куцис нуждается в поддержке, а не в критике. Близорукая учительница не понимает, почему мы притихли. Она даже немного обеспокоена нашим поведением. Как ей объяснить, что мы ждем и каждая по-особому. Топсик грызет ногти, Ася разорвала цепочку с десятью заповедями, Берта Креде уставилась в потолок. А у наших пианисток, Сахно и Мары Гольберг, скучающие физиономии. Дела класса их не интересуют, они заняты своей славой.

Не успела учительница выйти, как поднимается страшный шум. Лида Родиопуло требует, чтоб Куцис показала тетрадь, она должна видеть собственными глазами. А Васса шепчет мне в ухо, но так громко, что у меня чуть не лопается барабанная перепонка: дзз, дзз... На человеческом языке это означает: к черту Куцис и всех полосатых дур! Васса ведет меня в коридор и за вешалкой, где болтаются холстинковые передники, начинает жаловаться на

свою приемную мать. Она выгнала вассиного папу — матроса за то, что он пришел к ней в нетрезвом состоянии. Васса захлебывается. Она решила бежать. Но куда? Ее поймают и тогда могут запереть в тюрьму или в сиротский дом. Для Вассы он хуже тюрьмы, она не хочет быть девочкой из сиротского дома. Умоляю ее не принимать никаких решений, нам и без того влетит от Надежды Игнатьевны.

Мы врываемся в класс так стремительно, точно бежали с горящего корабля. Не знаю, произвело ли это впечатление на Надежду Игнатьевну, она не говорит ни слова и только брови ее сдвигаются и образуют сплошную темно-бурую линию. А нос становится еще более орлиным. Совсем некстати вспоминаю рассказ о том, как орел похитил маленькую девочку. Там был и рисунок: орел ухватил кусок юбки и поднял девочку высоко-высоко, ноги ее болтались где-то в облаках. Надежда Игнатьевна не такая кровожадная. Она просто нас презирает. По ее мнению вбегать в класс могут одни патентованные лентяйки и второгодницы! Бывает и так, что она покачивает головой и по слогам тянет: «Бе-зо-бра-зи-е...» Чаще всего это относится к девочке с тремя прыщиками на лбу. Она верит в домового и еще с прошлого года Надежда Игнатьевна ведет с ней глухую борьбу.

Васса и я сидим скрючившись и стараемся быть незаметными. Васса поджала ноги, как будто она на морском берегу и на нее должна обрушиться огромная трехэтажная волна. Но Надежда Игнатьевна уже забыла о нас. Из тоненькой бумажной пачки она вытаскивает два сцепленных листка. Сейчас она прочтет нам отрывок из сочинения ученицы второго класса. Фамилию она не назвала, и все почему-то заерзали. «Осень», — говорит она замогильным голосом, — «листья пожелтели и осыпались. Небо стало желтым. Рыбы спрятались на желтом дне реки. А по

дорожкам сада скачут желтые птицы...» — «Почему все желтое? — вспыхивает Надежда Игнатьевна. — Что за белиберда! Автора неплохо было бы посадить в желтый дом за такое пристрастие к желтому!». Все молчат, но самое непроницаемое лицо у дочки доктора. Я боюсь, что это она написала и не смотрю в ее сторону.

Урок кончился, но мы не хотим расстаться с нашими местами. «Выходите, надо проветрить комнату!» — кричит дежурная. Притворяемся, что оглохли. Пусть проветривает. Я не боюсь открытого окна. Я знаю, что некоторые спят при открытом окне. А Яков Соломонович сказал, что за границей не боятся даже сквозняка. Там он в моде. Но не у нас, потому что мы отсталые. Перемена проходит в пререканиях с дежурной. Не подумайте, что это какое-нибудь важное лицо. Это всего-навсего Калиниченко Антонина. Когда я бываю дежурной никто со мной не считается: мел прячут так, что его сам черт не сыщет. Учительница на меня в претензии: почему журнал в пятнах, кто его трогал? Не могу же я сказать, что его трогали решительно все. Каждой интересно знать, есть ли рядом с ее фамилией птичка. У Калиниченко характер более боевой, к журналу она никого не подпускает. Кончается тем, что она опрокидывает чернильницу на учительский столик, и как раз в этот момент в класс вплывает начальница.

Урок английского языка. Никогда не думала, что такие правила могут существовать — каждая буква произносится не так, как пишется. Два «о» почему-то становятся «у», а «и», обыкновенное «и» — читается «ай». Начальница говорит, что это еще ничего, некоторые буквы, вообще, не произносятся, их проглатывают. Она показывает, как надо кончиком языка трогать верхние зубы и урок кончается. Васса возмущена английским, и я ее понимаю. Если б

она знала, что столько букв проглатывают, она ни за что бы не согласилась. А теперь поздно отказываться. Меня мучит голод, я готова есть непрожаренные котлеты и все из-за того, что переволновалась. Вова утверждает, что от волнения аппетит растет. Когда Вова волнуется, он способен съесть полфунта чайной колбасы и халву в придачу.

У нас сегодня сосиски с пюре. В нем маленькие лужицы из настоящего сливочного масла. Обычно я набрасываюсь на сосиски, а пюре размазываю по тарелке, но сейчас я могу съесть даже тарелку, как факир из цирка Малевича. До этого не доходит. В дверях столовой я вижу Асю, она делает мне отчаянные знаки. Боже мой, что опять случилось! Не дадут человеку позавтракать. Но знаки становятся все более выразительными. Встаю с неохотой: «Что такое?. В чем дело?». Ася вне себя от возмущения. Она не может понять, почему я стала такой безразличной. Она мне скажет такое, от чего я подпрыгну до потолка. Дочка доктора накрыла Куцис. Когда все уходят в столовую, она остается в классе и пишет в свою общую тетрадь: «Ты воровка». «Понимаешь, — говорит Ася, — она сама себе это пишет!». Когда ее поймали, она стала плакать так громко, что прибежала библиотекарша. Дочка доктора испугалась не меньше Куцис. А вдруг мы ей не простим, она ведь постоянно открывает что-нибудь неприятное.

За несколько минут новость облетела всю гимназию. Нас останавливает рыжая старшеклассница, та, что продает шоколад. Она хочет знать подробности. От любопытства лицо ее вытянулось, и она еще больше напоминает лисичку. Но нам некогда вступать с ней в разговоры: мы спешим в класс. Несмотря на большую перемену, все в сборе. Куцис уже не рыдает, она сопит. Книги ее уложены в сумку с ремешками. Васса думает, что ее отправят домой на

извозчике. Но Васса фантазерка, и я ей не верю. Я хотела бы закрыть глаза и законапатить уши, чтоб ничего не видеть и не слышать. Поступок Куцис для меня непонятен. Позже Вова скажет, что она обыкновенная истеричка. У Вовы все истерички, на это он не скупится. Мне кажется, что тут скрывается тайна, и я никогда ее не разгадаю. Куцис, действительно, уезжает на извозчике, с ней едет библиотекарша. А мы с трудом досиживаем до конца четвертого урока. Сегодня никто не смеется, когда мадам Тюрбо начинает искать свой вышитый платочек и находит его в одной из бесчисленных нижних юбок. Тогда она сама начинает смеяться и становится похожей на старую примерную девочку.

Дома у нас переполох. Готовятся к парадному обеду. Мама Веры Львовны уже в гостиной. Сегодня она почетная гостья, ее дочь невеста. А, как известно, мать навесты — первое лицо. Пришел и папа Веры Львовны, он редкий гость. Больше всего меня поражает его голова: он посылает ее вперед. Голова уже за углом, а он тут, рядом. Ланя тоже чувствует себя героем. Гордится даже тетка из дедушкиного дома на Пушкинской, и ее сын Леня с красным носиком. Все хотели бы сесть за стол. Наконец, появляется Вера Львовна. А где жених? «Ах, он очень сожалеет, у него заседание». Всем как-то не по себе. Вова говорит довольно громко: «Знаем мы эти заседания!». Остальные молчат. Но в дверях показывается голова отца невесты. Туловище его пока в гостиной. Начинают двигать стульями. Каждый спрашивает своего соседа, удобно ли ему? Не мешает ли ножка стола? Из вежливости все говорят, что им удобно.

Я сижу на самом плохом месте. Сегодня мы, дети, в загоне. Это несправедливо. Забыли, что Вова был учеником Веры Львовны, и она испробовала на

нем свои педагогические способности. Я ей тоже немало крови испортила. Но Вера Львовна не забыла. Она спрашивает, есть ли у меня какое-нибудь желание. Я молчу. И вдруг Вера Львовна смотрит мне прямо в глаза и говорит: «Бинокль!». Боже мой, она угадала, именно бинокль с перламутровой ручкой. Он специально дамский, и я о нем мечтаю с прошлого года. Как странно, что она догадалась. Но Вова не находит в этом ничего странного. Я не перестаю говорить о бинокле.

Обед тянется бесконечно долго. Все шутят с матерью невесты, а она отмахивается и краснеет, как барышня с Десятой станции. Я не понимаю этих шуток и мне стыдно за нее: старые дамы не должны краснеть. Многие уже повеселели. Ланя пролил вино на скатерть и повторяет: «Ничего, ничего, не так страшно...» Он смущен и поэтому старается быть развязным. В другое время ему попало бы от Веры Львовны, но сейчас она занята своими мыслями. Если б Геня видела, как она расковыряла ее замечательную маринованную рыбу, она была бы вне себя. — Свадьба свадьбой, а рыба рыбой. Я с ней согласна, но как все остальные поднимаю мой бокал с подкрашенной сельтерской водой. Вова пьет чистое вино, и папа отворачивается, Он не хочет ставить Вову в неловкое положение.

Думаю о том, как бы дотянуть до десерта. Впереди еще несколько мясных блюд. Лене с красным носиком тоже надоело сидеть за столом. Он хотел бы выйти. Но его мама не дает ему пошевельнуться. По-моему она даже ущипнула его: «Сиди, дурак!». Он вовсе не дурак, он не привык так долго обедать. У них едят на клеенке и всегда в спешке, потому что его папа сознательный элемент. Это Леня сказал мне уже давно, во дворе. Наконец, наступает самый важный момент: все подходят к Вере Львовне, целуются

с ней и желают ей счастья. Я тоже целуюсь, но мне больно. Я боюсь расплакаться. У меня и без того вытянутая физиономия. А Вова сияет, он полноправный член семьи. На меня он смотрит с неодобрением. Почему я не улыбаюсь во всю щеку, ведь это не похороны? Но я не могу с собой совладать. В глубине души я обижена: Вера Львовна променяла нас на холостяка с четырехугольным подбородком.

Мама радуется больше всех. За эти дни она пополнела и стесняется своей полноты. Она уже не встает из-за стола и изредка глазами показывает, что надо подать и что убрать. Вера Львовна подходит к ней, они чокаются, и я вижу, как дрожит бокал в маминой руке. Хорошо, что нет мадам Дунаевской. Она бы трубила о том, как вредно волноваться. Но у нее есть заместительница: мама Веры Львовны. Она не перестает рассказывать, как родила девять человек детей. Но куда ж они подевались? Оказывается, пятеро уже на том свете, шестой бежал в Америку, седьмой в Берлине, он торгует корсетами, а здесь только Вера Львовна и ее чахоточный брат. Стоило ли их всех рожать? Этот вопрос у меня на языке. Еще немного и я ляпну какую-нибудь глупость, но тут приносят поздравительную телеграмму. Она, хоть и городская, но очень длинная. Дядя из Николаева, наверное, подсчитал бы во что она обошлась. Он любит подсчитывать. Когда нет своих, он подсчитывает чужие заработки. Если послушать дядю, миллионеров больше, чем голоштанников. Каждый второй человек — миллионер. Но дедушка говорит, что у этих миллионеров нет на извозчика. И не только на извозчика, у них нет на марку!

Обед кончился, и Вера Львовна заспешила. У нее столько дел, столько дел! Неужели она бегает по меховщикам и заказывает себе ротонды? Она не может быть обыкновенной невестой по сватовству, как тетя

Нюня. Ее никто не сватал. Это некультурно. Матя думает, что Вера Львовна принесла себя в жертву семье. Матя спит и во сне видит, как она отказалась от любви к гордому бедняку и вышла замуж за богатого. Но то Матя. А Вера Львовна не искала богатства, так вышло. Все расходятся. За Верой Львовной уходит ее папа. Он еще в коридоре у вешалки, но голова его на лестнице. Остальные гости сидят и сидят. Вова думает, что они засидятся до ужина. Но, наконец, мама Веры Львовны поднимается. Ее платье шуршит, как будто под ним десяток нижних юбок. Лене с красным носиком не хочется уходить. Он уже привык к нашей столовой. Его подталкивают, и он идет, но понуро, готовый каждую минуту расплакаться. Ланя пересидел всех. Может быть мне удастся рассказать ему про историю с Куцис. Остальные меня не будут слушать. Вова вспомнил, что у него письменный ответ и попрощавшись на ходу, спешит к близнецам. Это отговорка, ему просто надоел семейный компот. Так сын артиста называет все семейные сборища. Говорит он это из зависти: у него нет семьи, он живет на полном пансионе, а иногда на полупансионе.

Ланя должен меня выслушать. Он обожает запутанные истории. У него они всегда хорошо кончаются. А чем кончится с Куцис — неизвестно. Представляю себе, как она едет на извозчике и как ее встречает квартирная хозяйка. Что такое? Что случилось? Не сгорела ли гимназия? И Куцис отвечает ей, что ничего особенного не случилось. Потом придет из гимназии ее младшая сестра. Она все знает, но будет молчать. У них заговор молчания. Я забыла, что завтра обыкновенный школьный день и надо готовить уроки. Их тьма-тьмущая. Перелистываю учебник. Боже мой, какую массу вещей придется выучить до конца года. Пока что иду на кухню поговорить

о парадном обеде. Геня отдыхает. Она на табуретке. Ей так лучше отдыхается. Геня показывает свои руки с короткими пальцами. Сколько она ими наработала. — И для кого, я вас спрашиваю? Гене кажется, что ее недооценили. Юзя недовольна чаевыми. Настоящие гости оставляют в пять раз больше. Не представляла себе, что она такая корыстная. Я все больше и больше в ней разочаровываюсь, а ей наплевать. Вот если б панич Вова — тогда другое дело.

Из кухни иду в гостиную, где пусто и тихо. Обычно там сидит дядя в старом котелке и молится. Что за странная првычка молиться во все часы дня. Я молюсь редко и всегда по-разному. Молитвы я сама сочиняю. Один раз я об этом заикнулась дяде, и он сказал, что мои молитвы — кощунство. Надо жить по букве закона. Я несогласна, но спорить с ним не стану. Еще со времен Дарвина я помню, какой он упрямый и неуступчивый. А что б он сделал, если бы Матя убежала с кем-нибудь из своих поклонников, напремр, с Герасимом? Проклял ли бы он их? Вова сказал, что проклинают только в романах. В жизни, в конце концов, мирятся со всем. Не представляю себе, чтоб дядя мог примириться с Герасимом или с Матиным учителем сольфеджио. У него другие взгляды. Любовь, без благословения родителей, по его словам, двух копеек не стоит.

Надо проверить, что делается в коридоре. Засел ли там отец папиного корреспондента? Да, он примостился в уголку. Голова его упала на грудь, он спит. В последнее время он постоянно засыпает и когда проходят, начинает отряхиваться. Мой дедушка тоже часто засыпает за столом. Чтоб его не пугать, никто к нему не обращается. Но я вижу, как папа расстроен. Ему кажется, что дедушка одряхлел. Он не может этого перенести и уговаривает дедушку лечь в санаторию или поехать за границу, где доктора,

какие нам здесь не снились. Дедушка отказывается. Хватит, он достаточно передал денег лечебницам и санаториям. Тогда начинает просит мама, и дедушка опять отказывается, но мягко и даже ласково, потому что мама не должна волноваться.

Это твердят с утра до вечера. Особенно старается мадам Дунаевская. Сейчас у себя в комнате я слышу ее торопливый звонок. Она прибежала ровно на минутку. Часто ее минутка превращается в часы, и я начинаю жалеть, что у меня нет ни друзей-близнецов, ни письменного ответа. Сегодня мадам Дунаевская почему-то решила зайти ко мне. Она садится на мое креслице, и оно трещит под ее тяжестью. Мадам Дунаевская не унывает. Авось кресло выдержит! Она расставила ноги, как делают многие толстяки и начинает расспрашивать о гимназии: кто там учится, есть ли девочки из хороших семейств? Об этом я не имею ни малейшего представления. По-моему все семейства хорошие. Кроме тех, где отцы вроде асиного. Думаю, что семейство пьяницы из нашего дома тоже не из счастливых. Остальные семьи в порядке. Потом я вспоминаю Борю Гаевского и его несчастную мать и мне стыдно моего детского легкомыслия. Мадам Дунаевская уже забыла, о чем шла речь. Теперь ей хочется знать, кого я предпочитаю — сестру или брата? Но мне не нужно новых братьев и сестер, у меня брат Вова, лучшего брата не бывает. А Катю я хоть и критикую и нахожу, что она распущена, но в обиду не дам. Я привыкла к тому, что нас трое.

Мадам Дунаевская не ожидала такого выпада. Она смотрит на меня с возмущением и как видно жалеет, что помогла моему появлению на свет. Но я знаю, что и без нее бы появилась. У асиной мамы, тети Полины, другая акушерка, похожая на Кащея в юбке, и она сказала, что ни за какие деньги не променяет ее на толстуху Дунаевскую. Раньше я была

за Дунаевскую, а теперь я предпочитаю Кащея, но меня никто не спрашивает. Мадам Дунаевская с трудом поднимается, она вросла в кресло. Больше всего я боюсь, что на прощанье она заговорит об аисте. Но она к счастью, кажется, поняла, что со мной не нужно хитрить.

Сегодня слишком тяжелый день: сначала Куцис, потом парадный обед. Я очень устала. У меня нет настроения готовить уроки. Я не из тех, кто склоняется над учебниками. Всегда что-нибудь мешает. Мне кажется, что вот-вот случится что-то невероятное! И я это пропущу, если буду сидеть за письменным столом. Но особенное беспокойство я проявляю у пианино. То ищу неизвестно куда завалившиеся ноты, то я слышу, что пришел Яков Соломонович, а если никого нет дома, я в это время гвоздем или ножиком пытаюсь открыть дверцу буфета. Там портвейн и от нас его прячут. А я решила во что бы то ни стало узнать, что это за чудодейственное вино. Его пьет мама, ей нужны силы. Но разве вино дает силы? Почему же издеваются над Запавским и другими пьяницами? Вова когда-то сказал, что портвейн дорогое заграничное вино, его наливают в рюмки, а пьяницы пьют водку из бутылок и тут же бросают их на мостовую. Он прав, я сама это видела. Один пьяница даже крикнул мне и Юзе, чтоб мы легли с ним в канаву. Юзя стала ругать его нехорошими словами: «Чорт, босявка, холуй несчастный!». Пьяница не обиделся, он продолжал нас звать, и мы шли так быстро, что Юзя чуть не оторвала мне руку.

Все это никакого отношения к портвейну не имеет. Его пьют маленькими глотками. Но интересно, кто прописал его маме? Если мадам Дунаевская, то я заранее против портвейна. Своему больному мужу она не дает ни глотка. Он похож на летучую мышь.

Недавно я встретила его в магазине Александровского, и он со мной не поздоровался, хотя я громко сказала: «Здравствуйте, господин Дунаевский!». Александровский мне жаловался, что это его самый плохой покупатель. Придет, все перероет, а потом купит на две копейки. И еще гонит детей из магазина. Они будто бы мешают ему выбирать. Со своей женой он почти никогда не видится. Она по целым дням бегает с зонтиком и знакомым мне чемоданчиком. В нем, как выяснилось, инструменты. Папа не признает старых инструментов. Он просит мадам Дунаевскую купить новые. Что ему за разница, какие у нее инструменты! Я знаю только одно — чемоданчик тяжелый. Я хотела его поднять и мадам Дунаевская испугалась: это не для маленькой девочки, я могу испортить. Она забывает, что чемоданчик при ней во всякую погоду. Он вымок под всеми дождями и в нем, наверное, множество микробов. Правда, микробы всюду, но я уверена, что у мадам Дунаевской они другие, их можно различить простым глазом. А она все время проповедует гигиену.

Гигиена ее конек. Надо следовать правилам гигиены: мыть руки, шею, уши и другие части тела. Она называет их уменьшительными именами, но от этого они не становятся более приличными. Ей, как медицинскому персоналу, все позволено, у нее это строго научно, не то, что у Арнольда и ему подобных. С тем, что на каждой даче есть свой испорченный мальчишка, я примирилась. Говорит же Геня, что нельзя весь свет переделать. Пусть каждый живет, как хочет, лишь бы ее, Геню, оставили в покое. И все-таки она удивлена, что после парадного обеда люди могут еще ужинать. Для этого нужен коровий желудок.

Меня клонит ко сну. В глазах двоится. Начинаю усиленно моргать и мадам Дунаевская раздваивается.

Катя решила, что я это делаю нарочно и тоже моргает. Мама испугана: нет ли у меня температуры? Никакой температуры нет, но на всякий случай я делаю страдальческое лицо. Мне приятно, что мама беспокоится. На душе опять легко. Прощаю мадам Дунаевской ее гигиену, а жених Веры Львовны мне почти что симпатичен. Он разгонит квартирантов и всех родственников пошлет на виноградный сезон. Это я решила за него. А он, может быть, их на порог не пустит. Выйдут горничная или дворник и скажут, чтоб они убирались по добру, по здорову, а не то... Я это вычитала в одной вовиной книге. Сама я таких несправедливостей не видела. У нас никого не выбрасывали за дверь, кроме пьяного Запавского. Но жизнь страшнее книги. Например, если Куцис выгонят из гимназии, она должна будет вернуться в свой провинциальный город с невероятно широкими улицами, где ее знает каждая собака. Жители будут показывать на нее пальцами: «Вот идет дочка провизора Куциса. За плохое поведение ее выгнали из гимназии».

Я кажется говорю сама с собой, потому что мама хочет послать за доктором Ашевским. Умоляю ее не посылать. «Это пустяки, я рассказываю про одну девочку из нашего класса...» Я готова на все, лишь бы не звали доктора. Он обязательно найдет у меня налеты в горле и пропишет свои обычные средства. От них ничего плохого случиться не может. Но какая от них польза? Я ненанижу чай из сушеной малины, в нем плавают серые тряпочки, это и есть малина. Не та, что берут на варенье, а лечебная. Против малиновой микстуры я ничего не имею. Но сейчас болезни меня мало соблазняют. Мне обязательно надо в гимназию. Там много интересного: наша Поцелуйкина влюбилась в учителя естественной истории и ловит его в коридоре. Ученицы шестого класса тоже

влюблены и тоже его подлавливают. Он должен им сказать, чем жить. Они задыхаются. Поцелуйкина не задыхается, она смотрит на него круглыми лягушачьими глазами и самое странное, что он не догадывается о ее любви. Он думает, как все взрослые, что в одиннадцать лет не влюбляются.

47.

Я влюбилась в девять. Не потому что я хочу побить рекорд, нет, мое сердце заговорило. Так пишут в романах, а они должны отражать действительность. Я знаю, что и Ася влюбчивая, но она стесняется. А любви не стесняются. Сын артиста сказал, что ее воспевали все великие поэты. А в средние века трубадуры. Он сам чуть не стал трубадуром какой-то Маруси с торчащими зубами. Насилу Вова его отговорил. «Не стоит так разбрасываться, еще не ночь». Сын артиста волновался. Он хотел доказать, что у Маруси прозрачная детская душа, хотя ей пошел шестнадцатый год. Вову разговоры о душе не трогают. Прозрачная она или непрозрачная это покажет будущее, а пока Маруся самая испорченная девочка в гимназии Шольп и говорят, была в отдельном кабинете. Не понимаю, что тут плохого. Разве общий кабинет лучше отдельного? Но Вова запрещает мне говорить о кабинетах. Они для прожигателей жизни, а не для учениц второго класса. И все-таки мне хотелось бы знать, кто они, эти прожигатели? Ланя охотно объясняет: это молодые люди, которые ходят в кафешантан. У его бабушки есть такой жилец. За квартиру он не платит, это мелочь, недостойная его внимания. Зато он подарил Лане портсигар с чужой монограммой. Ланя мне его покажет, если я буду молчать.

Что за глупые предупреждения! Я умею хранить тайны. А дочка доктора в них не верит. Ей нечего скрывать, она вся, как на ладони. Это неправда: она хотела бы скрыть свое происхождение и выдает себя за лютеранку. На еврейские праздники она приходит в гимназию раньше всех, чтоб доказать свое лютеранство. Но дядя знает ее семью, они из одного города. Дед ее был служкой в синагоге, а затем он обзавелся тросточкой и стал маклеровать. От него и происходит папа-доктор. Служка вряд ли знал, что такое лютеране. Я-то знаю, потому что часто прохожу мимо кирхи. Со мной дочка доктора не говорит о лютеранстве, она чувствует, что этот номер не пройдет. Рассказала Вове. Он не сомневается в том, что ее папа обыкновенный выкрест.

Я знаю молодого выкреста, это студент из асиного дома. Он крестился, чтоб попасть в университет. С тех пор он задирает нос, как будто ему начихать на всё: захотел и крестился и еще раз крещусь, если понадобится! Он чистенький и прилизанный, но я его боюсь. До сих пор такой страх вызывал во мне только папин адвокат, Тубенкопф. Мне казалось, что он запирается у себя в кабинете и придумывает, как бы на законном основании уничтожить всех и каждого. Бог с ним, с Тубенкопфом. Я хотела сказать «чорт с ним», и мне стало жалко моих родителей. Они бы огорчились, хотя в слове чорт ничего обидного нет. Близнецы без него и минуты не могли бы просуществовать, они все время чертыхаются. Но Вова сказал, чтоб я не брала с них примера, они страшные циники. Слово «циник» я нашла потом в словаре и по-моему близнецам оно не подходит. Они просто развязные юноши.

В соседней комнате накручивают будильник, это Вова готовится ко сну. А мне давно пора. Но вдруг свет из белого становится красным, потом он не-

сколько раз вздрагивает, и комната погружается в темноту. Подхожу к одну. На улице тоже темно. Продолжаю всматриваться и вижу на противоположном тротуаре пьяницу нашего дома. Он кланяется. Но кому? Другому пьянице? В пьяном виде он со всеми очень вежлив и переходит на «вы» с каждым из своих детей в отдельности. Геня им счет потеряла. Она говорит, что только у пьяниц и бедняков так много детей. Но наш пьяница не бедняк, а бывший богач. Он прокутил свое состояние и теперь семья живет на подачки родственников. Это я подслушала на кухне. Туда забегает прислуга пьяницы. Она невероятно голосистая и постоянно хвастает, что вздула кого-нибудь из младших детей. Старших нельзя тронуть пальцем. Это настоящие хулиганы. Один из хулиганов, Сенька, иногда приходит к Вове. В нем ровно ничего хулиганского. Сенька стесняется своей форменной куртки, своих грязных башмаков. Как страшно быть сыном пьяницы!

Мои ноги похолодели от стояния, и пьяница исчез, скрылся в подъезде. До этого он, наверно, долго-долго звонил. Дворник слышит, но не хочет открыть. Пусть «Ваше благородие — бисово отродие» помается за воротами. Теперь мне не спится, перебили мой сон. Я, как кузина Маня, начну страдать бессонницей. Но я уже сплю, кузина Маня — начало сна. Она ведет меня куда-то по узкой темной дорожке. Что было дальше, не помню. Я плохо запоминаю сны. А Геня или Юзя могут рассказывать их со всеми подробностями. У Гени есть даже книга — «Сонник». Читать по-настоящему она не умеет и читаю ей я. В «Соннике» очень глупые толкования снов. Мне смешно, а Геня свято верит в каждое слово.

Будить меня не пришлось. Я проснулась от непривычного шума и возни. Вошла Юзя и стала с треском открывать ставни. Я должна поскорей одеться

и идти в гимназию. Но к чему такая спешка? На это Юзя не знала, что ответить. А я уже слышала неприятные возгласы мадам Дунаевской и мне самой захотелось уйти. Оказывается, она у нас ночевала и в столовой мне пришлось выслушать все ее тирады насчет гигиены. В квартире пахло карболкой. Какой отвратительный запах. Я спросила мадам Дунаевскую, откуда он идет. Она расхохоталась так, что чашки на буфете запрыгали: «Карболка, да ведь нет лучшего запаха. Это дезинфекция!». Мадам Дунаевская что-то путает: дезинфекция бывает после кори или скарлатины, а не просто так. Когда у Аси сделали дезинфекцию, ее мама была в отчаянье — испортили обои и теперь придется клеить новые. В нашем доме больных нет, все это выдумки мадам Дунаевской.

Топчусь в коридоре в надежде, что кто-нибудь выйдет со мной попрощаться. Но никто не выходит. Я так расстроена, что пропускаю несколько трамваев. Сын артиста сказал бы, что они «набиты битками». Он думает, что это остроумно. Действительно, все смеялись. А у меня начал болеть живот. Вова говорит, что это не элегантно и не по женски. Он не понимает, откуда у меня тяга к грубости. Никакой тяги нет, насчет живота это чистая правда. В трамвае мне не сидится, я все время меняю места. Что бы я дала за возможность поехать в обратном направлении! Но назад хода нет.

Вот здание гимназии. Оно двухэтажное. Никогда оно не казалось мне таким жалким. Говорю вслух: «Его надо покрасить...» Никто не отзывается. На первом уроке вдруг захотелось спать. Должно быть я на минуту закрыла глаза, потому что Поцелуйкина зашептала мне в спину: «Что с тобой, ты спишь?». Отвечаю ей зловещим шопотом, что не думала спать. Но она не унимается: «Ты спала и даже хрюкнула

со сна». Пенсне учительницы арифметики поворачивается в нашу сторону. Она возмущена тем, что мы ведем посторонние разговоры. А я никак не могу успокоиться: неужели я хрюкаю! Мне казалось, что во сне я, как Спящая красавица. Вот тебе и раз! На перемене увидим, кто из нас прав. Но мое хрюканье никого не интересует. Все смотрят на пустую парту, где еще вчера сидела Куцис. Ее сестра из приготовительного класса сказала, что сегодня Куцис не придет, у нее детский ревматизм. Откуда он взялся? Вчера никакого ревматизма не было. Васса уверена, что это придуманная болезнь. Чем больше врут, тем мне страшнее. Образовался целый клубок лжи, из него так легко не выпутаешься. Если и завтра она не придет, значит ее услали в бывшую прогимназию, где учителя ходят в заштопанных вицмундирах. Там нет ни естествознания, ни горячих завтраков. Бутерброды приносят в плетеных корзинках, как полагается в младших классах. Из таких гимназий, наверное, выходят неучи. Мне обидно за Куцис, неужели это нельзя замять, как пропажу толстых серебряных часов у Вовы в классе: подарили классному надзирателю модные тоненькие часы, а воришка даже не захотел принять участия в складчине.

Васса говорит, что напрасно я так страдаю. Все это театр! Сейчас Васса похожа на свою приемную мать, и она мне несимпатична. Отворачиваюсь и иду в другой конец класса. А на большой перемене она, как ни в чем не бывало, тянет меня за полу: «Идем!». Во дворе тепло, хотя уже глубокая осень, не сегодня-завтра начнут топить. На ступеньках железной лестницы расселись ученицы шестого класса, они ждут фотографа. Это будущая группа для учителя физики и космографии. Он решил сделать карьеру и поэтому едет в Петербург. Шестиклассницы уверены, что группа будет висеть у него в кабинете на видном

месте. А я думаю, что группа будет лежать в шкафу и покрываться пылью. Через двадцать лет он ее найдет, но так и не вспомнит, что это за гимназистка с большим бюстом на первом плане и рядом с ней другая, похожая на телеграфный столб с приделанной головкой.

Все это мои предположения. Васса не имеет о них понятия. Она перешагнула через одну шестиклассницу, и я за ней. Мы направляемся в конец двора, где артезианский колодец и большое дерево с обнажившимися корнями. Я не могу сказать Вассе, что за тревога у меня на сердце. Если б можно было узнать, что делается у нас дома? Ушла ли мадам Дунаевская? И главное, выветрился ли запах карболки или все им пропитано и придется пить карболовый чай и есть хлеб пополам с карболкой. Спрашиваю Вассу, знает ли она, что такое карболка? Конечно, знает. Так пахнут больницы. Она была в больнице, у своей настоящей мамы. Там она сидела в коридоре и ей пришлось поджать ноги, потому что стены и пол мыли карболовым раствором. Васса все знает — у нее двойная жизнь. У меня тоже много жизней, но это в мечтах. На деле у меня одна.

Четвертый урок — рисование — тянется до бесконечности. Ясно, что художницей никто из нас не станет. Говорят, что у Топсика большие способности, но ее копии хуже, чем открытки. «Несжатая полоса» такая черная, что страшно смотреть. Сегодня мы рисуем орнамент. Учительница давно махнула на меня рукой и не сердится, что он похож на разварившуюся картошку. Поправлять она меня не поправляет — и так сойдет! Самое странное, что я знаю, как надо рисовать, а почему-то все выходит шиворот-навыворот.

Последний урок — пение. Можно будет выкричаться. Но учительница пения несогласна, она хочет, чтоб

вы вырабатывали пиано. Дочка доктора протестует: тихо поют только безголосые. Сегодня у меня нет желания с ней состязаться, и я готова уступить ей славу первой певицы. Урок подходит к концу. Мы уже спели «Домик за рекою, в окнах огонек» и мою любимую: «Оседлаю коня, коня быстрого...» Учительница неудовлетворена. Ей бы хотелось петь и петь. Какое счастье, что существует звонок! Он заливается, трещит и, наконец, умолкает. Врываюсь в класс и начинаю укладывать книги в сумку. Руки у меня дрожат. Неужели я старею? Родственница из Балты сказала, что дрожание — признак старости. Кое-как затягиваю ремешки, лишь бы не выпало по дороге, спускаюсь вниз и в раздевальне вижу Матю. Это вроде галлюцинации. Как она сюда попала? Ведь она не знает адреса нашей гимназии! Но это не видение, и живая Матя в пальто из материи под плюш. Она должна сообщить мне счастливую новость, но чтоб я не пугалась и дала ей слово, что буду вести себя, как взрослый сознательный человек. Мне не особенно нравится ее предисловие. «Что такое? Скорей скажи, что случилось!». И Матя говорит, что у меня новый брат, Миша.

Она забывается и выпаливает, что роды сошли очень легко. Но когда же все случилось? Утром никакого Миши не было. Матя ничуть не смущена: «Ровно в одиннадцать и мадам Дунаевская находит, что мальчишечка — первый сорт». Ну, конечно, она всегда говорит такие глупости, у нее все «первый сорт». Даже то, что надо выкрасить и выбросить. Матя начинает вдаваться в подробности. Она уже пронюхала, что у Миши необыкновенные прилегаюшие уши и масса волос на макушке. Значит он похож на папуаса. Мне стыдно думать такие вещи про маленького человечка, моего брата. Я понимаю, что Матю послали, чтоб меня подготовить. И напрасно, могла

бы обойтись без нее. Но Матя знает одно: надо спешить домой, там я побуду совсем недолго и только одним глазком сумею взглянуть на Мишу, а потом я должна идти на урок к мадам Трейн. Маме прописан полный покой. Ну что ж, я способна соблюдать покой не хуже, чем она. Даже Катя умеет сидеть тихо. Сейчас она на Пушкинской, у дедушки, и пробудет у него несколько дней. Боже мой, всю семью разогнали.

48.

На углу мы берем первого попавшегося извозчика. Сегодня не такой день, чтоб выбирать. Мне странно, что Матя везет меня на извозчике, как будто я собиралась бежать в Америку. По дороге хочу узнать, выветрилась ли карболка, и Матя принимает это, как шутку. Мы не успеваем позвонить, как двери широко растворяются. Это Юзя. Она говорит, что барыня спрашивают, где же барышня Надинька? В два прыжка я там. Ставни прикрыты, в комнате полутемно, как в каюте. Мама протягивает мне руки, и я бросаюсь к ней со всем пылом моей прорвавшейся любви. А ведь я старалась себя убедить, что я лишняя, я сама себя накручивала, как делает сын артиста, и теперь вижу, что все это чепуха. Мамина голова падает на подушку. Какая она молоденькая! Она похожа на свою фотографию из альбома с оторванной пряжкой. А где же брат? В корзине, выложенной белым, лежит крохотный кокон. Видно только личико, немного красное, но очень симпатичное. Глаза закрыты. Миша спит и во сне посапывает. Но тут, как из-под земли вырастает мадам Дунавеская. Что я делаю? Я не должна дышать на ребенка. Но почему же она дышит? Что в ее дыхании хорошего?

Разве у медицинского персонала не бывает микробов, как у всех и каждого? Напрасно она так задается своими познаниями: Вова не верит в акушер-

ские курсы. Он сказал, что оттуда выходят полуинтеллигентки. Для того, чтоб стать интеллигентом, необходимо окончить университет. Мадам Дунаевская почти выгоняет меня из комнаты, но я не обижаюсь на грубость, это ее вторая натура. Мне пора на урок музыки. Беру свою папку и сую в нее первые попавшиеся ноты. В крайнем случае скажу, что я перепутала и мадам Трейн не будет сердиться, она поймет, что мне не до андалузок и баркаролл. К тому у меня есть для нее замечательная новость.

По дороге все время думаю, как я это преподнесу. Но Мадам Трейн уже знает и ей непрерывно звонят по телефону. Из-за ее телефона я никогда не стану ученицей среднего курса консерватории. Мою игру она слушает одним ухом, другое тесно прижато к телефонной трубке. Я пользуюсь этим и ухожу в кабинет дочитывать Мамина-Сибиряка. Мадам Трейн, наконец, замечает мое отсутствие и за мной посылают Манечку. Она не понимает, чем я зачитывась и кому нужны такие книги. Мадам Трейн прощает мне баркароллу — сегодня особенный день. Не надо повторять. Хватаю папку, доставшуюся мне по наследству от Вовы. Скорей, скорей домой. Я должна присутствовать при том, как Мишу будут купать. Я бывала при других купаниях: на дно корыта кладут пеленку, а на нее младенца и чуть-чуть, очень нежно, поливают его тепленькой водой. Вокруг семья и все восторгаются, хотя картина довольно-таки глупая.

От волнения я дважды споткнулась и какая-то важная старуха закрчила мне вдогонку, что нужно смотреть под ноги. А возле иллюзиона «Двадцатый век» встречаю еврейского писателя, дядисеминого свата, и он опять улыбается, как легавая собака. «А, сестра Беатриса, что хорошего?». Он все еще называет меня «сестра Беатриса», несмотря на то, что за песледние месяцы я выросла и можно было бы при-

думать что-нибудь поновее. Сообщаю ему важную новость. «Значит у вас прибавление семейства», — говорит писатель. Он доволен и вместе с тем обижен, что ему не сообщили. Он зайдет проведать маму. Старая кляча может пригодиться... Мне не нравится, что он говорит о себе с таким неуважением. Сын артиста называет это: «унижение паче гордости». На прощанье он спрашивает, продолжаю ли я творить? Ответа он не ждет. К моему носу придвигается огромная рука, это он хочет пожать мою руку. Я надеюсь, что он будет жать ее не так больно, как некоторые взрослые. И, действительно, он берет ее очень осторожно и только слегка прикрывает своими длинными костлявыми пальцами.

Я уже совсем близко от дома и стараюсь не разглядывать окна кондитерских. Но как не посмотреть в окно провизора Гейликмана. Там выставлен большой прозрачный медведь и рядом с ним светящаяся скала — реклама одеколона «Белая сирень». Остается только перейти через дорогу и тут мне навстречу Яков Соломонович. Он сияет. Но поздороваться с ним я не могу, Яков Соломонович нагружен подарками. Здороваемся на словах. Он предлагает мне зайти к Гейликману и выбрать все, что душе угодно. А если б мне захотелось прозрачного медведя? Нет, нет, это шутка, я предпочитаю карманное зеркальце и гребешок в футляре. Яков Соломонович мне купит, но он не уверен, что его за это погладят по головке. В моем возрасте карманного зеркальца якобы не носят. Это пустяки, половина класса имеет карманные зеркальца. Яков Соломонович успокаивается, он подарит мне еще крючок для застегивания перчаток. Слишком долго ему объяснять, что я — к ужасу нашей мадмазель — не ношу перчаток. Для нее дети без перчаток ничего не стоят. В крайнем случае можно носить аккуратно заштопанные перчатки.

У нас дома весело, но все почему-то ходят на цыпочках. А папа закрывает дверь в спальню с такой осторожностью, как будто она из горного хрусталя. Вова у себя. Он углубился в приложение к «Ниве». По-моему Вова еще не решил, радоваться ему или огорчаться. Ведь он уже не единственный сын. В конце концов он решает, что старшинства у него отнять не могут, и начинает радоваться и командовать больше всех. Почему открыли окна? Простудят ребенка! И, вообще, никто здесь не умеет обращаться с новорожденными. Он напугал мадам Дунаевскую, она отступила. Вова внушает ей некоторое уважение, а я — никакого. Меня можно третировать, как третируют мамину кузину Маню и все оттого, что она не вышла замуж. Но почему это должно случиться со мной, ведь о замужестве пока нет и речи. К сожалению, какие-то странные старички и старушки говорят маме: «Дай Вам Бог танцевать на свадьбе у вашей дочери». Они намекают не на Катю, а на меня, потому что я старшая.

В столовой — родственники и дедушка из Вознесенска. Он мало разговаривает и теперь я понимаю, в кого пошел молчаливый дядя Сема. Но Сема молчит угрюмо и когда к нему обращаются, он вздрагивает. У дедушки молчание другое, приятное. Оно полно любви ко всем. Мой дедушка с Пушкинской прийти не смог, у него нет сил. Я хотела его навестить, но в такие дни не уходят. Достаточно того, что меня отправили на урок музыки. Теперь я ни за что не уйду. Мне кажется, что я нужна, хотя мадам Дунаевская уже успела сказать, что я верчусь под ногами. Лучше б пригласили Надежду Моисеевну, тогда я была бы первым человеком.

Вове не терпится позвонить близнецам, но к телефону его не подпускают. От волнения и суматохи со стола еще не убрали. Геня в растрепанных чув-

ствах, она так волнуется за нашу дорогую мадам, что не перестает печь: вносят то миндальные рогалики, то коржики с маком, то венский штрудель, приготовленный по рецепту главной поварихи. Сама Геня признает ее превосходство. На первом месте повариха, а за ней Геня. У дяди из Николаева, — он приехал на рассвете — крошки в бороде и в усах. Только у дедушки никаких крошек — ни на тарелке, ни в бороде. Он улыбается и молчит. Матя положила руку на стол и тихонько постукивает, как будто хочет показать, какая у нее замечательная постановка. А может быть я к ней придираюсь, и она просто свой человек и любимая племянница.

Матя не прочь подчеркнуть, что она главная и имеет особые права на теиньку и дяиньку. Она стала частью нашей семьи, и я не могу себе представить обеденный стол без Мати. Если ее место не занято, значит она у Галки или в зале Биржи — на Губермане или Годовском. Дядя тоже принадлежность обеденного стола. Свое почетное место он иногда уступает, и то после долгих разговоров. Я вижу, как он откинулся на спинку стула и ищет глазами миндальные рогалики. Только папе не сидится, он вскакивает, как ученик пятого класса. Я радуюсь за него, но мне немножко грустно. Никто не вспоминает, как я родилась, как родился Вова. Мне, вообще, не с кем разговаривать, у меня нет собеседника.

С горя обращаюсь к Якову Соломоновичу и спрашиваю, сколько у него детей? Это мой обычный вопрос. Он отвечает не сразу. Надо подумать, подсчитать. Наконец, он говорит: «Восемь человек». И потом поправляет: «Нет, пардон, девять». Не могу себе представить, что его супруга родила такую кучу детей. Яков Соломонович видит мое замешательство и объясняет, что есть семьи, где двенадцать человек детей и даже двадцать. На чем же они спят, неужели

на стульях и на складных кроватях? У Натуси тоже было восемь, но тогда меня этот вопрос не интересовал. Вот Боря Гаевский — единственный ребенок и все держится на нем. Правда, держится очень плохо, но Боря Гаевский сказал мне, что без него семья бы давно распалась. Он, будто бы, звено. Я никогда его звеном не считала, он всего-навсего мальчик с трудным характером.

Про Асю я не говорю. Они с сестрой вечно переругиваются и вместе с тем готовы выцарапать глаза всякому, кто затронет одну из них. Они держатся друг за друга, потому, что их родители постоянно в отсутствии. Дома они отдыхают от клуба или собираются в клуб: и то и другое отнимает много времени. А я уверена, что они бездельники. Особенно асин папа. Когда к ним ни придешь, он спит. Я, конечно, стараюсь улизнуть до того, как он проснется. Один раз я видела его без жилета, в подтяжках. Они болтались, и папа был похож на портного Питкина. Если б Ася знала, что я сравниваю ее отца с Питкиным, она бы немедленно со мной разошлась. Как, ее папу, духовного аристократа, посмели сравнить с каким-то брючником! И тут я обиделась бы за портного Питкина: он вовсе не брючник, он шьет дамские манто и перелицовывает костюмы от Безникова.

Как глупо, что я вспомнила о таких мерзких вещах. Но надо же о чем-нибудь думать, тем более, что я не намерена готовить уроки. Скажу Надежде Игнатьевне, что у нас родился Миша, и она поймет. Нам она часто рассказывает про свою дочь — сплошное совершенство. Она артистка, и Надежда Игнатьевна ее поощряет, она сама хотела пойти на сцену, но было слишком поздно: она могла бы играть только старух и приживалок. Не думаю, чтоб дочь Надежды Игнатьевны была знаменитостью. У Александровского нет ее открыток в ролях. Географу я со-

общу про семейное событие в том случае, если он заставит водить указкой по ненавистной мне немой карте. Я могла бы сказать, что меня посылали в аптеку. Но никто не поверит. А Муся Логинская перестанет питать ко мне уважение. Она ненавидит ложь и путает ее с выдумкой. У меня это чистая выдумка, и она никому повредить не может, даже аптеке.

Я ведь не виновата, что родился Миша и все полетело вверх тормашками. Обсуждается мамка. С черного хода звонят женщины в платках, и мадам Дунаевская ведет их в проходную комнату и запирает ее с двух сторон. Она должна проверить, какое у мамки молоко. Если оно подходящее, мамка станет мишиной кормилицей. Таким образом у нас появится четвертая кормилица. Моя уехала в Америку и ее след простыл. А две другие, особенно вовина, приходят довольно часто. Геня говорит, что у нее сыновья — красавцы и из них выйдет толк, хотя они страшные жулики. Я рассказала Вове, но он не обиделся. Они не жулики, а авантюристы и Гене с ее куриными мозгами этого не понять.

Мадам Дунаевская с торжествующим видом входит в столовую. Уф, наконец-то она нашла подходящую кормилицу! Ее зовут Аксюта, Аксинья Красножидова. Сейчас мадам Дунаевская повезет ее к доктору. А пока Аксюта сидит в проходной комнате на кончике стула. Она принесла с собой большой пакет. Из него выглядывает личико величиной в зимнее яблоко. Это аксютин ребенок. Но что она с ним сделает? Неужели подбросит, как делают некоторые несчастные матери. Ее надо остановить. Пойду на кухню, там все знают. Но Геня даже не смотрит на меня, она разусердствовалась. Чтоб оторвать ее от коржиков, спрашиваю так громко, что кастрюли начинают дрожать: «Что будет с аксютиным ребенком?». Геня не хочет со мной разговаривать. Что такое Ак-

сюта! Подумаешь! В конце концов Геня намекает мне на то, что ей придется закармливать какую-то деревенскую дуру и с утра до ночи подносить ей еду. Геня вовсе не такая злобная, она притворяется, ей нужно сорвать на ком-нибудь свое исстрадавшееся сердце. Она обязательно хочет быть страдалицей. Я думаю, что если б она ни с того ни с сего должна была стать счастливой, несчастнее ее не было бы в обоих полушариях.

За извозчиком послали конторского мальчика. Мадам Дунаевская в шляпе колесом и в пальто-мантильке стоит посреди столовой. Она посматривает на Аксюту: как бы та не сбежала. Я готова уступить ее ребенку мою кровать. Можно будет натыкать подушек, и тогда он не свалится. Мне безразлично, что он промочит мой новый матрац, он подсохнет. И потом Вова сказал, что у младенцев это не пахнет, не то, что у взрослых. Я поделилась с Юзей, но она хохотала, как сумасшедшая. Она не понимает, откуда у меня такие мысли. По ней ребеночка можно даже утопить. Я хотела бы посмотреть на Юзю, если б ее хотели утопить! Она подняла бы такой крик, что сбежались бы прислуги со всего довра. Она себя в обиду не дает. Почему же она собирается топить чужих детей? Смотрю на нее испепеляющим взглядом. Но Вова меня успокаивает: это просто так, для красного словца, она и котенка неспособна утопить.

При чем тут словцо. Юзя ведь не старший близнец с его поговоркой: «для красного словца не пожалеешь и отца». Близнецы, вообще, готовы утопить своего папашу в первой попавшейся луже. Он мещанин по природе и душит их индивидуальность. Вот подходящая тема для моего дяди. Он способен часами рассуждать о неблагодарности детей. При этом он перечисляет все, что их ждет на том свете: их будут бить раскаленными прутьями, поджаривать на мед-

ленном огне, варить в кипящем масле. Не знаю, о чьих детях он говорит? Его собственная дочь, Матя, перед ним благоговеет. Может быть, это относится к николаевским детям, но ведь он видит их только по большим праздникам.

Когда дядя входит в раж, Вова начинает смотреть в потолок и как будто про себя тянет: «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...» Придраться трудно, он декламирует. Сын артиста сказал, что это разрешено и одобрено учебным округом. Я чувствую, что он издевается, но его не поймаешь. На все у него есть ответ. А если его прижать к стенке, он заявляет: «Я сам из Одессы!». Получается, что все одесситы пройдохи и плуты. А это клевета. По мнению Вовы, равных им нет во всей России, они держат фасон и никогда не унывают.

Посмотрим, каким будет Миша, он ведь коренной одессит. Пользуюсь отсутствием мадам Дунаевской и на минутку проникаю в спальню. Мама дремлет и рядом с ней, в корзинке, Миша. Глаза его закрыты. Мне страшно. Подхожу ближе. Миша посапывает и губами ловит воздух. Я спрашиваю: «Федул, чего губы надул?». Он, конечно, молчит. Разговаривать он начнет не раньше, чем через год. Быстренько наклоняюсь и нюхаю его. Оказывается, он вкусно пахнет. Это бывает исключительно у детей. Взрослые пахнут, когда душатся гейликмановским одеколоном. Дочь шпионов душилась вера-виолет. А сын артиста уже второй год обещает показать мне одеоколон Аткинсона. Его привезли из Англии и душатся им одни мужчины. Он, будто бы, пахнет кожей. Все это ничего общего не имеет с мишиным молочным запахом. Странно, но я уже начинаю привыкать к мысли, что есть какой-то Миша. Вова еще не привык, хотя за столом он очень авторитетно говорит об уходе за грудными детьми

49.

Скоро у нас будет праздник — обрезание. Позвонят Хацкелю Куру, чтоб он прислал лимонад в сифонах. Придет повариха — договариваться. Папа не входит в эти мелочи, ему все равно, лишь бы было самое лучшее: длинные столы и стулья, золотые, как в театре. Но пока нет ни стульев, ни лакеев. Все думают о кормилице. Даже дедушка оторвался от своей молитвы и поглаживает бороду. Не просто, а со значением. Якову Соломоновичу не терпится узнать, что с Аксютой Красножидовой? Не забраковал ли ее врач? И когда всем уже надоедает ждать, появляется мадам Дунаевская. Ее шляпа съехала набок. А волосы стали еще более ватными. — Ура, доктор в восторге от Аксюты! Теперь мадам Дунавеская не отпускает ее ни на шаг. Она вместе с ней поедет на квартиру, чтоб забрать аксютины бебехи. Ребенка устроят в деревне. Тут же Аксюта. Она слушает мадам Дунаевскую и лицо у нее, как из камня. Мне хотелось бы, чтоб она закричала или заплакала. Но Аксюта молчит. За это время она двух слов не сказала. А наняли ее через контору. Мадам Дунавеская говорит, что хозяйка конторы — пройдоха, она из-под земли найдет вам лучшую кормилицу. На каждом шагу мадам Дунаевская дает нам почувствовать, что она — первое лицо и без нее мы были бы самыми несчастными потерянными людьми.

Я в ужасе. Неужели она останется у нас навсегда? Но Вова пожимает плечами: «Ничего, эта старая дура скоро уберется к себе на Кузнечную и будет раз в год приходить за подарками». Против этого я ничего не имею. Пусть приходит даже десять раз в год. Я готова делать ей какие угодно подарки, отдать мои часики стального цвета, все, лишь бы она была приходящей, а не постоянной.

Аксюта и Миша поселятся в катиной комнате. Это детская. Мою комнату называют детской только, чтоб меня подразнить. В одном доме двух детских не бывает. Катя не особенно счастлива. Она дрожит за своих кукол. Теперь она уже их не нянчит. Куклы сидят рядышком на довольно высоком игрушечном диване и можно подумать, что они всегда в гостях, как жена доктора Ашевского. Трогать их Катя не позволяет — это ее куклы! А вдруг Аксюта начнет все перемещать. Но Аксюта напугана еще больше Кати. Она кладет свой узелок на кровать и садится рядом, чтоб его не украли. Других вещей у нее нет, это все ее имущество. Не то, что у наших родственников, с их чемоданами, чемоданчиками, корзинами, ремешками, где подушки и другие мягкие вещи.

Матя сказала, что тетя Лина, жена дяди Авдея Ильича, возит с собой простыни. Она, видите ли, не может спать на чужих заштопанных простынях. Что за барские замашки! И почему в таком случае ее родная дочь, мамина кузина Маня, спит на стульях или на дырявом диване? А скоро ей и там не будет места. Но она предпочитает спать на камфорке от самовара, лишь бы не возвращаться в свой провинциальный город. Конечно, она шутит, когда говорит о камфорке, но почему-то при этом у нее краснеют глаза и брови. Я знаю, что дядя Авдей Ильич нарочно держит ее в черном теле: он хочет, чтоб

она вернулась домой и ждала у моря погоды. А она не желает. Не жить в Одессе, значит, умереть.

В последнее время она реже у нас бывает. Ей непонятна вся эта канитель с новорожденными. Она сказала Мате, что это мещанство. Главное, любовь. А пеленки сводят любовь на нет. Матя не знала, как ей быть. Она несогласна, но боится прослыть мещанкой. Особенно теперь, когда она собирается держать экзамен в консерваторию. До экзамена далеко, но Матя уже говорит: «У нас в консерватории...» Галка отошел на задний план. Если она попадет к профессорше с двойной фамилией, вот будет успех! Все лопнут от зависти. При Вове Матя боится говорить о ней: Вова не любит женщин с двойной фамилией. Он предупредил Матю, что ее кумир принимает учениц с природной техникой. А у Мати техника хромает. Я ее не осуждаю, но ей кажется, что это страшный порок, вроде прыща на носу.

Сегодня она не думает о технике, она ходит по квартире и позванивает мамиными ключами: «Теинька сказали, теинька хочет, теинька просила...» От восторга у нее кружится голова, а мне обидно, я тоже могла бы исполнять поручения. Все забыли, что я старшая дочь и второе лицо в доме. Когда я начинаю суетиться, меня гонят в мою комнату готовить уроки. Как будто в такие дни можно думать об уроках. Я слышу, как звонят на черном ходу: это принесли сифоны с лимонадом от Хацкеля Кура. Уже три раза был один и тот же мальчик из цветочного магазина. Он делает вид, что никогда не видел нашей квартиры. Ему дают двадцать копеек на чай и он их сначала ощупывает, а потом говорит: спасибо. Он, наверное считает, что ему хотели всучить фальшивую монету.

На парадном непрерывные звонки. Бегу к дверям, как сумасшедшая, но меня отстраняют. Дверь откро-

ет Юзя, она горничная и это ее право. Асина мама, тетя Полина, одна из первых визитерш. Она пришла посмотреть на новорожденного. Тетю Полину впускают на несколько минут, но она так прочно устроилась на стуле возле маминой кровати, что ее с места не сдвинешь. Она восхищается новым кружевным пододеяльником и красотой мишиных ушей. Таких прилегающих ушей она никогда не видела. И помимо ушей у Миши чудная круглая головка. Поговорив о головке, тетя Полина возвращается к ушам. Мне хочется подойти к зеркалу и посмотреть на мои уши: не торчат ли они? До сих пор ими никто не восхищался.

Как я ни стараюсь стать невидимкой, меня все-таки замечают и мама спрашивает, не пора ли мне идти гулять с мадмазель? Она не знает, что все отменили. И, вообще, я сама могу поехать, куда угодно, даже на Шестнадцатую станцию. Ася трусливее меня, она боится, что мы потеряем билеты. Придет контролер и тогда нас могут арестовать. Я предлагаю держать билет в кошельке, но она говорит, что еще проще потерять кошелек вместе с билетом. Какая удача, что Боря Гаевский не слышал наших рассуждений о билетах и кошелечках, он решил бы, что мы обе впали в детство. Но у Бори Гаевского смешная болезнь, краснуха, и мы с ним разлучены.

Выхожу из спальни так же тихо, как вошла в нее и попадаю в столовую, где понабились посетители. Во главе стола еврейский писатель. Он все еще похож на англичанина из книги Вильгельма Буша, у него такие же желтые зубы и клетчатый пиджак, но глаза у него не английские, они припухшие и на каждом кровяная сеточка. Он пришел поздравить и справиться. Но о чем? Мне его жалко, у него заискивающий голос, как у Запавского, когда он еще не совсем пьян. Еврейский писатель опять называет меня

«сестра Беатриса». Пожалуй, я обижусь. Нет, пропущу мимо ушей!

В столовой шумно. Все друг друга останавливают: «Ради Бога потише!». Но тот, кто просит, начинает говорить громче всех и получается то, что сын артиста называет некрасивым словом «какофония». Дедушка из Вознесенска не принимает участия в этом крике. Очки его переехали на лоб и тремя пальцами он поглаживает подбородок, потом рука его исчезает в белой бороде. Такая же борода на иконе у прачки Оли, это Господь Саваоф. Это будто бы и наш Бог, но он мне чужой. Я знаю еще со времен учителя Эйзенштадта, что у нашего Бога нет имени. Нет, не так, имя у него есть, но оно известно только посвященным. Я могла бы спросить дядю, но он пустится в рассуждения и выйдет, что я великая грешница, потому что смотрю на иконы и сравниваю нашего всемогущего Бога с каким-то Саваофом. Папа сказал, что дядя из Николаева настоящий фанатик. Он даже спит в ермолке. Кроме ермолки у него есть шляпа — котелок, на тот случай, если ему надо покрутиться возле Биржи. А для синагоги у него совсем замечательная шляпа. Он купил ее, когда стал женихом тети Тани, и с тех пор она ни чуточку не потерлась. Правда, дядя каждый день ее чистит, сдувает каждую пылинку, и она блестит не меньше цилиндра.

Самое важное — остаться в столовой. Вове надоели общие разговоры, и он ушел к себе, готовиться к письменному ответу. В реальном училище ни с какими семейными событиями не считаются. Но я не уверена в том, что Вова погружен в учебники. Меня б не удивило, что он и сын артиста при закрытых дверях играют в крестики и нолики. Это игра для приготовишек и играть в нее публично не годится. Но она убивает время. Выигрывает почти всегда сын артиста и одно время Вова считал, что он жульничает,

хотя здесь не разжульничаешься, это не шестьдесят шесть и не пятьсот одно. Там есть такие комбинации, что просто держись! Надо помнить взятки и держать их в уме.

В таком случае я никогда не стану картежницей, я тут же забываю все правила игры. У моей подруги Аси карты всегда веером, как у тети Полины, а у меня они смотрят в разные стороны. Я люблю старые колоды карт. Они не для игры, а для гадания на кухне. Я попросила как-то, чтоб мне погадали, но прачка Оля сказала, что это не для меня. Когда-нибудь она погадает мне на червонного короля, но это будет не так скоро. А пока что я должна выметаться из кухни. Она не знает, что мне уже снился казенный дом. Он был очень похож на тот, что в катиной рисовальной тетради. Окно, дверь с тремя ступеньками и две трубы, такие же высокие, как сам покосившийся домик. Есть еще дальняя дорога, но хуже всего остаться при пиковом интересе. Пики — плохая масть. Они обозначают старость, разлуку и смерть. Я помню, как прачка Оля вытащила для нашей Гени из самой середины разбухшей колоды три карты, и Геня побледнела и схватилась за то место, где у всех людей сердце. Первой картой был туз пик.

Геня собиралась упасть в обморок, но ничего не вышло. Она весь вечер прикладывала уксусные компрессы и на кухне так разило уксусом, что сын артиста три раза подряд спрашивал, что у нас маринуют? Вова называет его «любопытник». Это слово из анекдота. В словарях и в серьезных книгах его не найти. Вова большой специалист по части одесского жаргона. Он часто говорит про один зонтик от Бомзе. Мне он запретил это повторять. Не понимаю, что может быть неприличного в зонтике. Тут какой-то подвох. Ну что ж, обойдусь и без зонтика!

Прежде в нашем дворе мальчишки пели: «Исерлис-Писерлис...» Это не жаргон, а плохое воспитание. Мне неприятно вспомнить, что я тоже пела с ними, но очень тихо, чтоб никто не прислуг не подслушал. Сын артиста утверждает, что одесские словечки ничто в сравнении с блатным языком, а на нем говорят воры и некоторые ученики реального училища, вроде Андрокардато. Когда его даже не просят, он поет про то, «как Петька-клинфартовый за Манькой-косой стал страждать...» В переводе это обозначает, что Петька влюбился в Маньку-косую. Представляю себе Петьку, он похож на бывшего конторского мальчика Вениамина в штатском.

Теперь он в штатском, его военная служба кончилась, и он хочет устроить дело. Вениамин приходил к папе спрашивать, стоит ли ему жениться. Он имеет в виду невесту из Бессарабии. У него дядя в Кишиневе, а у дяди компаньон и у того дочка не то, чтоб писаная красавица, но ей дают три тысячи приданого. Впрочем, Вениамин сказал папе, что в последний момент компаньон может его обойти. Он порядочный плут. Папа не подозревает, что Вениамин успел мне тоже все рассказать. Хорошо, что он не спросил совета, я, ей Богу, не знала бы, что ему посоветовать. Я против брака. Вот Вера Львовна вышла замуж за богатого и приходит только с официальными визитами. Когда Ася выйдет замуж, она тоже перестанет быть моей закадычной подругой. А я совсем не благоговею перед мужчинами. Они притворяются важными, но на самом деле они смешные. Помню, как Тубенкопф рассуждал о римском праве, и вдруг Катя заметила, что у него из-под брюк виднеется белая тесемка. Она стала кричать: «Дядя, дядя, у тебя штаны развязались!». Я ее тогда поправила: «Не штаны, а подштанники...» Как только я сказала «подштанники», сразу же воцарилось молча-

ние. Мама так испугалась, что я, не дожидаясь, что меня попросят выйти из-за стола, сама пошла в мою комнату. В дверях я задержалась и мысленно пожала плечами. Потом Матя мне долго выговаривала. «Подштанники» — неприличное слово, надо говорить «невыразимые». А по-моему нет ничего глупее «невыразимых». Так мы с ней и не сошлись в этом вопросе.

Если Вениамин все-таки женится на своей бессарабке, они обязательно придут к нам с визитом и будут страшно стесняться. От угощения они откажутся, хотя у Вениамина необыкновенный аппетит. Но по вениаминовым правилам нельзя есть, когда приходишь с визитом. Сидеть полагается на кончике стула, чтоб гостеприимные хозяева не подумали, что ты расположился тут на веки вечные. У меня другая теория. Я люблю приходить надолго, лучше всего с ночевкой. Очень интересно пожить немного в чужом доме и почувствовать себя членом семьи. Но ночую я только у Аси и то все реже и реже. Вова надо мной издевается. Он говорит, что я бы только то и делала, что ходила в гости. Он забывает, что сам непрочь бегать по два раза в день к близнецам. Его притягивает Тиночка. За близнецами ему гоняться нечего, они всегда у нас.

Наш дом приносит им счастье. У нас хорошо готовиться к экзаменам. Сын артиста с ними согласен. Обычно они на ножах. И все из-за Вовы. Близнецы требуют, чтоб он принадлежал им безраздельно. А сын артиста говорит, что они типичные обыватели, и Вова, как одаренная натура, не должен с ними дружить. Все это обыкновенная ревность. Она то утихает, то снова разгорается. Во время затишья все вместе гуляют по Дерибасовской с заходом в Общество Искусственных Минеральных Вод. Сын артиста спросил, верю ли я в флюиды? На всякий случай сказала, что верю. Оказывается, в нашей квартире

хорошие флюиды. Мамина кузина Маня тоже верила в эти флюиды, когда приводила к нам своего тогдашнего кандидата в женихи. Но она разуверилась и больше не прикрепляет ко лбу небрежный локон.

Маня перестала пудриться. Тройные щипцы для завивки волос валяются на подоконнике в проходной комнате. Их почему-то не убирают. Манин шарф с расплывшимися розами висит у меня в шкафу и от него все пропахнет одеколоном. Мне это не мешает, я люблю душиться и однажды вылила на себя почти полфлакона. К сожалению, у Надежды Игнатьевны особая манера втягивать в себя воздух, и она сразу может определить, кто чем пахнет. Например, Берта Креде гвоздичным мылом, а наша Поцелуйкина топленым салом. Она простудилась и ей растирали грудь. А Берте Креде подарили мыло на елку, и она им моется раз в неделю. Мане я ничего не скажу, она и так подозревает, что у всех плохие намерения. У меня самые лучшие намерения и все-таки я ничего в ее судьбе изменить не могу. Ей не суждено быть счастливой. И откуда взялось этого слово: суждено? Я его ненавижу. Я хочу быть кузнецом своего счастья. Что-то в этом роде говорил студент Герасим. Но я подозреваю, что Мане хочется страдать. Она ведь непонятая натура. Один Вова мог бы ее излечить, у него есть верное средство: надо представить себе, что у предмета вашей страсти болит живот и тогда чувство развеется, как дым.

Интересно знать, существуют ли другие средства, более приличные? Но в разговоры о любви со мной никто не вступает. Когда я появляюсь на горизонте, взрослые начинают фальшиво покашливать. Можно подумать, что они сидят на сквозняке. На самом деле они боятся, что я испорчусь и буду бегать взад и вперед по Дерибасовской. В нашей гимназии учатся

две такие. Дочка доктора видела, как с ними раскланялся сам Виктор Петипа. Это было не так просто. Они делали все, чтоб попасться ему на глаза. В конце концов они с размаху в него влетели, и он сказал: пардон.

Дочке доктора я не доверяю, она выдумщица. Близнецы тоже привирают, хотя у них небогатая фантазия. Куда им до сына артиста, его никто не переплюнет! Ася возмущена тем, что я повторяю такие безобразные слова, как «переплюнуть». У нее будто бы волосы становятся дыбом. Когда на перемене мы идем в уборную, и я прошу, чтоб Ася прекратила танец последней капли, она начинает беситься и требует, чтоб я сейчас же замолчала: таких испорченных девочек она в жизни не видела. Меня так и подмывает сказать, что ее папа в тысячу раз хуже меня, но в ответ я только хохочу. До тех пор, пока меня не просят прекратить это ржание.

О несчастной любви я могла бы поговорить с Борей Гаевским, он прочел почти столько же книг, сколько я. Правда, его чтение совсем другого рода, он поклонник Рубакина и Реклю, а я, главным образом, читаю романы со второй полки. Боря Гаевский презирает легкое чтение, оно ничего не дает уму. Сердце его мало трогает. Оно такой же орган, как легкие и желудок. Мне надоело с ним спорить. Тем более, что его не переспоришь. Дома его называют «тифлисский ослик». Это мне сказал Женя. Но я пропустила мимо ушей. Мне не хочется, чтоб о моем друге отзывались пренебрежительно. И, вообще, на ослика он мало похож. Он скорее напоминает дикого мустанга в молодости. Я думаю, что Женя хотел умалить его в моих глазах. Он как-то сознался, что не может простить себе, что привел к нам Борю Гаевского. Я на него набросилась. Бедный Женя вилял, как мог, но ему это не помогло: он изменил дружбе

ради воображаемой любви ко мне. Потом я все забыла, а Женя, как видно, не забыл и в душе продолжал быть неверным другом.

Не знаю, должна ли я его осуждать, Матя говорит, что ревность толкает иногда на безумные поступки. По словам Мати все поклонники — начиная от Зиновия и кончая учителем сольфеджио — ее невероятно ревновали. Учитель сольфеджио старался не смотреть в ее сторону и нарочно провалил на экзамене. Я тут никакой ревности не вижу, по-моему он просто нахал. Но Матя все истолковывает в свою пользу. Он не хотел смотреть, потому что боялся выдать себя. Зиновий, действительно, ее ревновал, но он давно успокоился, и Матя не может ему это простить. Она думала, что он унесет свое чувство в могилу. Когда пришла красивая карточка с золотым обрезом, где объявлялось о помолвке Зиновия, я умоляла маму спрятать ее поглубже, на самое дно блюда, где лежат визитные карточки друзей и знакомых и среди них одна странная: Иван Гутник, страховой агент. Никто не знает Ивана Гутника, хотя его карточка уже лежит несколько лет и стала темно-бурой. Остальные хорошо известны, даже визитная карточка Леона Филипу, члена парламента. Она написана по-французски, а Филипу — муж маминой двоюродной тетки. Это настоящий роман. Они обвенчались в Париже, а потом он ее бросил. У нас есть визитная карточка брата тети Нюни, дядисеминой жены. Он, наверное, заказал ее в таком месте, где не имеют понятия о правилах приличия. Его карточка самая большая по размеру и буквы на ней до того выпуклые, что можно подумать, что они наклеены. Сразу видно, что он сын своего отца, первого богача в местечке.

Лучше всех карточка моего доктора. Она тоненькая и слегка просвечивает. Вова сказал, что это пер-

гаментная бумага. Он закажет себе сотню карточек на пергаментной бумаге. Но это не к спеху. У него теперь другие, более важные расходы. Скоро день рождения Веруси, бывшей велосипедной девочки, а это форменное разорение. Веруся признает только те цветы, что выращивают в оранжереях. Все, что по сезону, ей не подходит. Тюльпаны с лотков на Екатерининской пахнут эмалированным ведром, а сирень в тот же миг осыпается. Ее не проведешь, она бредит лилиями и туберозами. Меня учили, что надо восхищаться подарками, но так и не научили. Если мне дарят книгу с надписью, я становлюсь почти невежливой, и мама делает страшные глаза, она боится, что я забуду поблагодарить. Но я выдавливаю из себя «мерси» или «спасибо» и стараюсь при этом не смотреть на надпись.

Что за скверная привычка портить книги! Разве от того, что написано: «Дорогой Наде на добрую память от ее подруги, ученицы второго класса, Лиды Родиопуло», книга станет интереснее. Иногда от нажима выскакивает множество мелких клякс и мне кажется, что она заплевана чернилами. Сама я надписей не делаю. У книги есть автор и хватит! Если б я стала писательницей, вроде Элизы Ожешко, мне было бы неприятно, что какие-то Лиды и Кали портят своими кривульками мои сочинения. Пока я сочиняю стихи. Мое последнее стихотворение было написано летом и теперь мне почему-то не пишется. Но я снова начну писать. Я не хочу, чтоб сын артиста говорил, что мое вдохновение иссякло.

Он будет поражен, когда узнает, что сегодня я начала сочинять колыбельную. Больше всего я боюсь, что она будет похожа на колыбельную песню Лермонтова. Очень трудно не подпасть под его влияние. Вова спрашивает, что я бормочу себе под нес. А я вовсе не бормочу, я пою. Так легче сочиняется. Когда

нехватает слова, я ищу его всюду, даже на потолке. Это муки творчества. Вслух я этого не скажу, надо мной будут смеяться: что общего с настоящим творчеством имеет моя колыбельная? Она посвящена Мише. Про посвящение я тоже ничего не скажу, пусть догадываются. Я решила учиться скромности. Вова говорит, что скромность — отличительное свойство больших людей. Имен он не назвал, но я докопаюсь до того, кто был скромным, а кто заносчивым, как дочка доктора. Если ей верить, Пушкин ее близкий родственник. А доктор Пирогов из хрестоматии не годится ее папе в подметки.

Наши пианистки тоже начали важничать. Мара Гольберг объявила, что когда-нибудь застрахует свои руки. Они не такие, как у всех. Начала присматриваться и ничего особенного в них не заметила. Руки как руки. На четвертом пальце кольцо с розовым камушком, а на остальных ногти обгрызаны почти до основания. У нас в классе есть еще несколько задавак, но я им не сочувствую. Жаль только, что некому будет спеть мою колыбельную. Миша не поймет, а другие подумают, что я переделываю Лермонтова на свой лад. К чему ни притронешься, все уже было кем-то сказано. Когда я открываю рот, мне говорят, что неприлично изобретать порох в двадцатом столетии. А в каком он был изобретен? И почему не изобрести другой, более усовершенствованный.

Но я совсем не думаю о порохе, мне хочется подобрать слова для колыбельной. Кто сочинил: «Баю баюшки баю, колотушек надаю?..» Какая глупая песня, она прославляет колотушки. А начальница уверена, что это пережиток. Надо исправлять примером и нотациями. Не все с ней согласны. Васса думает, что нотации хуже всяких колотушек. Ей кажется, что на нее напало сто тысяч мух и от них нельзя отбиться. Надо стоять чуть ли не на вытяжку, и глаза

должны быть честно устремлены вперед. Время от времени их можно опускать, чтоб чувствовалось, что ты раскаиваешься. Мне так и не удастся закончить колыбельную. Я иду в катину комнату проверить, не сбежала ли мамка Аксюта. Нет, она по-прежнему сидит на кровати. Чтоб развеселить Аксюту, спрашиваю, как зовут ее мальчика? Она не отвечает. Неужели она от него отказалась, и мальчик станет Божьим ангелом?

Юзя верит в то, что маленькие дети после смерти попадают на небо и становятся ангелами. Не такими пухлыми, как на картинке, а настоящими — в длинных белых одеждах. Самое несимпатичное, что они похожи друг на друга. Когда-то, в Тюремном переулке, в дедушкином дворе, Васса рассказала про своего ангела-хранителя. Это был хитрый и изворотливый ангел. Я сомневалась в его ангельском происхождении, но Васса твердила, что я не могу это понять, у нас, евреев, нет ангелов. Это вздор, ангелов у нас сколько угодно, но они никого в отдельности не охраняют. Не могу себе представить, чтоб аксютин мальчик с его крохотными кулачками, стал бы взрослым представительным ангелом. И потом, где сказано, что он должен умереть. Он будет жить назло Юзе и всем недобрым людям. Я хочу, чтоб он жил, я требую! Мне нет дела до ангелов. Я знаю, что говорят: «Ах, Марья Абрамовна, да это же ангел!». А по-моему Марья Абрамовна просто размазня. Она всех боится. Но от Аксюты, я вижу, толку не добьешься. Ее пугает мадам Дунаевская. Она уже два раза входила в комнату. Ей надо отцедить молоко. У Аксюты слишком много молока. Она могла бы выкормить двойню. Почему же в таком случае ее мальчика отправили в деревню? Но я молчу.

Прежде я выпаливала все, что думаю, а теперь держу язык за зубами. Я не могу допустить, чтоб

Боря Гаевский сказал мне: «Учитесь властвовать собой...» Как бывший жених кузины Мани. Она тогда чуть с ума не сошла. Она называла доктора пошляком и Евгением Онегиным с Молдаванки. Бедная Маня придает слишком большое значение своим женихам. Она хотела даже, чтоб папа пошел объясняться с доктором. Но папа наотрез отказался. Я слышала, как он говорил, что это лишнее и ненужное унижение. А совсем недавно Маня и доктор сидели у нас в гостиной, и я не смела туда войти. Мне и самой казалось, что там происходит что-то очень важное, что должно кончиться переменой в маниной жизни. Она перестанет питаться обрезками колбасы и дешевыми сморщенными яблоками. Не надо сдвигать стулья, а ночью бояться, что все — подушка, простыня, одеяло — полетит на пол. Маня будет полулежать на диванчике под названием козетка. Лежать ей не подходит. Мы с ней это раз навсегда обсудили. Маня тайком делилась со мной обрезками из паштетной и когда я думала о ее перемене жизни, мне было немного жалко, что с этим придется покончить.

Сейчас я стыжусь своего глупого эгоизма, а Маня все еще спит на стульях и покрывается одолженным одеялом. Но у нее огромные требования. А Матя сказала, что мужчин это раздражает. Они любят скромных и податливых. Откуда у Мати такой опыт? Она даже газет не читает. Перед свиданьем Матя просит Вову, чтоб он ей рассказал о Моцарте или о Чайковском. Случается, что Вова у близнецов или в иллюзионе и тогда я рассказываю Мате все, что могу. Выходит, что я на короткой ноге с Моцартом. Вова преподносит ей факты. Впрочем, я уверена, что он их приукрашивает. Я считаю Матю простушкой, несмотря на то, что она хочет поступить в консерваторию. Но иногда она перестает быть симпатичной — ей обязательно нужно знать, играла ли я се-

годня и сколько. Если меньше получаса, Матя начинает жалеть теиньку и дяиньку, они этого не заслужили.

Что за ерунда! Терпеть не могу преувеличений, хотя сама непрочь преувеличить. Но это не касается моих уроков музыки. Сейчас Матя ведет себя, как мамин флигель-адъютант. Она хотела командовать Геней. Но этот номер не прошел. Геня признает только маму, остальные могут спрятаться под стол. Со мной Геня в неплохих отношениях. Она меня жалеет. Ей непонятно, как в маленькой головке может уместиться столько знаний. Когда приходит Хейфец или мадмазель, Геня бурчит в кастрюлю, что меня хотят замучить. Кроме Гени, никто моими знаниями не восторгается. Надежда Игнатьевна кричала на-днях, что мы, все без исключения — неучи, не умеем правильно расставлять знаки препинания. А если снять запятые, все пропадет и получится каша! Берта Креде так испугалась, что стала после каждого слова ставить запятую. А Лида Родиопуло плакала почти до большой перемены. Ей надоело учиться. Она хотела бы, чтоб ее исключили из гимназии. Тогда она начнет носить туфли на высоких каблуках. Но ее не исключают. О ней забыли. Она сидит на последней парте и рисует профили. У Родиопуло они особенные, с взбитыми прическами и глазами, как у китаянок с одеколона Саддо-Якко.

50.

Поскорей бы наступил день мишиного обрезания! После этого к нам перестанут ходить визитерши и все будет, как прежде. Когда мадам Блазнер спросила, довольна ли я, что у меня новый братик, я готова была ее убить. Блазнерша всегда считала, что я плохо воспитана. А после моего дерзкого молчания она, наверное, перестанет приглашать меня на чашку шоколада. Тем лучше, ходить к ним одно мученье. Девочки Блазнер смотрят на меня выпученными глазами. Они думают, что я здорово распущена. В душе они мне завидуют. Меня не ставили в угол и не оставляли без сладкого. Зато их детство прошло под окрик: «В угол». Бэка на ходу спрашивала: «Просто или носом». Но это не смягчало мадам Блазнер. Она злюка, потому что у нее кривые ноги и лицо красное, как бурак. Девочкам Блазнер от этого не легче. У них тоже бураковые лица и за это они должны быть благодарны своей мамаше. А я в восторге: у меня красивая мама и на меня падает отблеск ее красоты. Мне смешно, когда говорят, что красота ничего не означает. Главное — ум и сердце.

Выдумала это женщина, плоская, как доска. Она слышала, как про нее сказали: «безбюстая» и смертельно обиделась. Или дама с тройным подбородком. Это нечто вроде верусиной мамы и еще нескольких мам с Малого и Серднего Фонтана. Ученые женщины

тоже отвергают красоту. Им неприятно, что они столько лет учились на курсах, а пришла особа с вздернутым носиком и все пали ниц. Я не против ума и сердца. Бессердечные люди хуже крыс с черной лестницы. Но стоит Тоне Калиниченко похлопать своими кукольными ресницами, как ей все прощают, даже врожденную тупость.

Вова и близнецы давно поделили всех на интересных и неинтересных. Посредине находятся пикантные. Они никогда не были в Париже, но очень похожи на парижанок. Неудивительно, ведь они родились в Одессе. Нет, пикантность меня не удовлетворяет. А интересная женщина может быть и умной и доброй. Это должно прийти без всяких усилий, то-есть без кремов и помад от Гейликмана. Красота из баночек меня пугает. Если кто-нибудь вдруг сотрет крем, окажется, что под ним веснушки и даже несколько бородавок, как у мадам Блазнер. К сожалению, выяснилось, что без пудры каждая женщина выглядит, как торговка с Привоза. Это мнение Мати. Она недавно стала пудриться. Собственно говоря, пудрится она давным давно, но раньше она пудрилась тайком, а теперь хвастает тем, что купила коробку «Чайной розы». Дядя молчит. Если «Чайная роза» поможет Мате найти ее счастье, он готов закрыть глаза.

Счастьем он называет жениха из хорошей семьи. Когда все ушли в театр он разоткровенничался и сказал мне, что его идеал — доктор или, на худой конец студент медик. Он уверен, что папа помог бы ему устроить кабинет. Матя это заслужила, ведь она любящее и преданное дитя. Как смешно, что дядя называет ее: дитя. Но в глазах родителей дети будто бы всегда остаются маленькими. Если б дядя знал, что Матя увлекается теперь одним журналистом со странной фамилией! Я боюсь даже произнести ее. Дядя

пронюхает, и журналист на букву «Ч» исчезнет в ту же секунду. Мысленно я ему покровительствую. Я непрочь иметь кузена-журналиста. Доктора мне надоели. Их слишком много. Я помню, как архитекторша, тетя Лиля, рассказывала маме про свой визит к врачу по нервным болезням. Он хотел ее обнять, но она так долго отбивалась, что он с горя поцеловал ее накладные локоны. Когда мама и тетя Лиля заметили мое присутствие, им стало не по себе. А меня это ничуть не смутило. Из всех докторов я выделяю нашего знаменитого доктора. Он вряд ли станет целовать фальшивые локоны. Вчера он прислал маме чудные темно-красные розы. Я горжусь ими, потому что доктор немножко, самую чуточку, моя собственность. И когда его окружают дамы, я готова их всех взорвать на воздух. Я прочла немало романов и знаю, что это обыкновенная ревность. Так Вова ревновал гимназиста Постникова. Он хотел набить ему физиономию. Или попросту говоря, морду. Это вульгарно, но для Постникова лучшего не придумаешь.

В гимназии я, как на иголках. Невозможно читать рассказики из Глезера и Пецольда, когда дома все в лихорадке: сейчас должны привезти золотые стулья, такие, как в фойе Городского театра. Они очень хрупкие. Некоторые из наших знакомых их сразу продавят. Потом они будут тысячу раз извиняться и говорить, что стулья теперь не те, что были, и все, кроме меня, будут повторять: «Ничего, ничего, это не имеет ровно никакого значения!» Так полагается. По правилам хорошего тона критиковать гостей можно только за их спиной. Главная критика идет на кухне. Юзе недоело синее бархатное платье тети Полины. Она носит его второй год. Но что ей за дело до чужих платьев? Юзя не сдается: бархат не в моде, сейчас все шьют из материи шанжан. Это

сказала главная мастерица венгерки. Она уверена, что мастерица сошьет ей шелковое платье из переливчатого материала. Юзя купит его на свои деньги. Она не рассчитывает на то, что ей подарят последний крик моды.

Мне дарят книги, потому что я считаюсь серьезной. Я хотела бы забыть о своей репутации, а знакомые спрашивают, нет ли у меня нового стихотворения. От спрашивающих не так легко отделаться. Им надо знать, когда я начала писать стихи и кто из поэтов мой кумир. Если я отвечаю: «Пушкин», у них вытягиваются лица. Им хотелось бы, чтоб я сказала «Лермонтов». Чтоб успокоить их говорю, что мое самое любимое это — Лермонтов «На смерть Пушкина». Таким образом я сразу убиваю двух зайцев. А сыну артиста наплевать на классиков. Но он еще не решил, кому отдать предпочтение: Брюсову или Блоку. Он не расстается с книжечкой стихов Блока. Мне он не дает даже подержать ее в руках. Я могу ее замаслить. Вот чепуха! Меня вечно посылают мыть руки. А он, Бог его знает, когда он их моет. Вероятно, по утрам. И то он сердится, что вода ледяная и мыться ею могут только идиоты или новобранцы. Я не испорчу его Блока, если перелистаю его. Но сын артиста неумолим. Я не должна его просить, он может смягчиться и потом всю жизнь будет жалеть. А Брюсова он мне не даст по другой причине. Там неподходящее содержание. Я его, конечно, не пойму, но оно может пробудить во мне интерес к неприличным вещам.

Хотела бы знать, что он называет неприличным. Неужели это парочки на скамейках в Александровском парке? Мадмазель тянула меня за руку, чтоб скорей пройти мимо. Она старалась не смотреть по сторонам, но глаза ее странно косили. Я заметила, что гимназистка старшего класса положила голову на

плечо старого толстого гимназиста. Но может быть он ее родственник? Притворяться не стоит, я не так наивна. Гимназистка хотела показать, что от любви у нее закружилась голова. Обычно такие вещи происходят вечером, а тут солнце еще не успело как следует быть зайти, и был виден тоненький серп луны, похожий на рогалик. Я рассказала Вове про гимназистку. К несчастью, при этом присутствовали близнецы. Хотя я и не думала к ним обращаться, они заорали: «Хорошенькие штучки! Это, несомненно, Дара. Никто так мило не кладет головку на плечо». Близнецы перемигивались. Можно было подумать, что они сидели с ней на скамейке. И почему они так уверены, что это Дара? Им ничего не стоит оклеветать невинного человека.

Неужели я тоже буду склонять голову на могучее мужское плечо? Не стоит об этом думать. Когда я в последний раз сидела на скамейке, рядом со мной была Катя. Она болтала ногами, и они не достигали земли. Мои ноги прочно стояли на коричневых и серых камушках, и я успела даже сделать выбоину. Потом оказалось, что я искривила каблук и теперь буду ходить, как утка. А я ведь разрывалась от желания стать особенной и ни на кого не похожей. Я выйду из кареты и мои крохотные ножки в атласных туфельках грациозно запрыгают по лужам. Никто не скажет, что я кривлю каблуки и скоро буду ходить на одних задниках. И если я буду такой растеряхой, муж сбежит от меня на второй день. А вот отец близнецов заявил Вове, что он должен отказаться от своих барских замашек, иначе он станет авантюристом. Вроде того, который живет на Французском бульваре и задает тон, в то время, как семья чуть ли не умирает с голода.

Меня это поразило, я не думала, что у папаши близнецов есть фантазия. Непонятно даже, как в его

рыжую голову могут прийти подобные мысли. Он, верно, боится, чтоб Вова не свел близнецов с пути. Но они сами кого угодно сведут! Вова сказал, что они мистификаторы. Они выдумывают людей и потом говорят от их имени. Например, от имени гимназиста Пумпянского. Я верила когда-то во все приключения, а теперь мне ясно, что это выдумка. Ни с Асей, ни со мной ничего особенного не случилось. Никто из нас не нашел еще кошелька с золотыми талерами. Наоборот, мы теряем кошельки, где, правда, только стертые медные монеты. Еврейский писатель любит утверждать самые неправдоподобные вещи. Он сказал, что Миша станет борцом за светлое будущее своего народа. «Посмотрите, как он сжимает кулачки!..» Я долго смотрела на эти кулачки. Ничего борецкого в них не видно. А когда Мишу запеленали, и кулачки исчезли, он стал похож на белый кокон.

Странная штука — дети. Они все меняют в доме. Когда мадам Дунаевская поставила клистирчик на пианино, мне захотелось плакать. Как, у нас на пианино, где «Осенняя песня» и опера «Кармен», теперь детский клистирчик! Что подумала бы кузина Маня. Она и без того говорит, что дети — сплошное мещанство. Клистирчик скоро убрали, но когда я пошла на кухню, там дым стоял коромыслом. Вываривали мишины пеленки. Геня хлопотала у плиты: ей надо кормить эту деревенскую дуру, Аксюту. Вчера мадам Дунаевская ходила за ней с большим стаканом пива и так долго разглагольствовала, что пиво стало теплым. Бедная Аксюта пила его через силу и чуть не захлебнулась. Можно было подумать, что ей дают рицинку. И все из-за Миши. А он по целым дням спит: набирает силы, а утром будит весь дом. Голос у него, как у голодного котенка.

У дочки доктора есть брат, тоже новорожденный,

который будто бы ни разу не пискнул. Его воспитывают по всем правилам гигиены. Она этих правил не придерживается. Недаром Васса прозвала ее вонючкой. Но Васса самая горячая и пристрастная девочка в классе, она презирает золотую середину. Пока она меня признает, но если ее дружба превратится в ненависть, мне будет плохо. Она припомнит все мои грехи, начиная с нашей первой ссоры в Тюремном переулке. О детях я с Вассой не разговариваю. Она меня не поймет, у нее нет ни братьев, ни сестер. Когда-то у ее приемной матери воспитывалась еще одна девочка, но ей страшно повезло, она умерла от дифтерита. Хоронили ее в белом гробу, обитом атласом, и приемная мать выдавила из себя две слезинки. Для Вассы она бы этого не сделала, потому что Васса бесчувственное создание. В гимназии все говорят, что она — буря, вихрь. Она врывается в класс и по дороге все ломает. Ася не признает таких штук. Она сказала, что Васса имеет на меня дурное влияние. Недаром я опрокинула школьный аквариум и единственная тропическая рыбка очутилась на грязном паркете. Хорошо, что ее сразу подобрали, а то Ася бы меня заела. Она обожает рыб, потому что они не производят никакого шума.

До сих пор Ася завидовала, что у меня старший брат, но когда прибавился младший, она еще больше огорчилась. У них две девочки и тетя Полина говорит, что когда-нибудь они вылетят из родительского гнезда, чтоб свить собственное гнездышко. Это очень трогательно, но асин дом скорее напоминает гостиницу «Франция» на Дерибасовской улице: прихожая и по обеим сторонам комнаты. Родители Аси — вроде постояльцев. Дома им не сидится. Тетя Полина быавет в клубе и днем и вечером. Днем там — лото. Сам Вова сказал, что взрослые превратили лото в азартную игру. Один раз, когда тетя Полина была в

смешливом настроении, она рассказала нам, как из-за лото ее знакомые дамы вцепились друг дружке в волосы. У обеих были накладные шиньоны. Можно себе представить, что произошло. Тетя Полина умирала со смеха, а мы с Асей старались не смотреть на нее. Я чувствовала, что Ася злится. Она отлично знает, что я критикую ее папу и маму и в моих глазах они не являются совершенствами.

С асиной сестрой я пикируюсь. Раньше Витя меня преследовала, а в последнее время она, вообще, стала молчаливой. Она садится в качалку и раскачивается до вечера. У Вити есть поклонник, он очень непостоянный. В прошлом году он ухаживал за ее соученицей. Поклонник как будто бы собирается сделать предложение. Это ерунда. Он ведь только в пятом и неизвестно, когда кончит гимназию. Благодаря прошлогодней любви он остался на второй год, а теперь, если Витя будет сидеть с утра до ночи в качалке, он никогда не перейдет в следующий класс. Не понимаю, почему он так хочет жениться? И главное, на ком, на Вите? Если б он знал, какая это надоедливая особа, он перестал бы часами разговаривать с ней по телефону. Меня удивляет, что родители не мешают ей вести бесконечные разговоры. Наоборот, когда поклонник вызывает, все ходят на цыпочках. Вероятно, они хотят ее сплавить как это с удовольствием сделал бы мой дядя. Но Матя ведь не девочка. Ее гимназическая группа давным давно выцвела. Когда-нибудь она поставит ее под стекло, а пока группу тихо засиживают мухи. И одна муха поставила несколько точек на Лизе Ивановой, ее любимой подруге.

Самое замечательное, что и у меня будет группа. Фотограф Гений Шапиро снимал всю нашу гимназию. Старшеклассницы стояли на площадке лестницы, а приготовишки — на последней ступеньке. Я оказалась

во втором ряду, рядом с Вассой. Гений Шапиро из кожи лез. Он умолял нас не двигаться и не поправлять причесок и носов. Как смешно, разве носы можно поправлять? Теперь я почти сравнялась с Матей. Тем более, что снимал не какой-нибудь провинциальный фотограф, а сам Гений Шапиро с Ришельевской улицы. Сын артиста говорит, что он, между прочим, и театральный фотограф и снимает при свете магния. Он при этом присутствовал. Так я ему и поверила! Если его послушать, он присутствовал при сотворении мира. Недавно он открыл мне тайну своего рождения, но я ничего не разобрала. Тогда он сказал, что жалеет, что пустился со мной в откровенности. Лучше он покажет мне, как накладывают грим. Это может пригодиться для какого-нибудь любительского спектакля.

Я понимаю, почему он вдруг ко мне пристал, ему нужно было убить полчаса до прихода Вовы. На этот раз сын артиста остался мной недоволен. Он думал, что я благодарная слушательница, а выяснилось, что я не такая уж благодарная и многое пропускаю мимо ушей. Он не заметил, как я повзрослела. Мне уже нельзя рассказывать всякие небылицы. По глазам вижу, что он выдумывает. Никакой Индии не было, это случилось на Малой Арнаутской. И поездки с труппой тоже не было. В это время он гостил у нас на даче, и они с Вовой каждый вечер ходили на станцию ухаживать за дочками полковника. Другие их пассии не подозревали, что они прогуливаются с девицами в вышитых малороссийских костюмах. Одна слегка прихрамывала, и Вова хотел убедить сына артиста, что он влюблен именно в нее. Напрасно рассчитывают на то, что у меня короткая память, я не могу забыть даже, как раз в жизни меня чуть не отшлепали. Это было сто лет тому назад, но я до сих пор помню, как я выскочила в коридор и кричала,

что это несправедливо и некультурно. Дедушка сразу стал на мою сторону, и все уладилось. Потом меня упрашивали, чтоб я не растирала щек своими грязными кулаками. А слезы катились без остановки. К счастью, подоспели коржики, иначе могло бы кончиться потопом.

Теперь я разучилась плакать обильными слезами. И вовсе не из-за Бори Гаевского и его выдержки. Я сама верю в выдержку и могла бы, как спартанский мальчик, держать лисицу за пазухой. Но почему-то близнецы считают меня трусихой. Они говорят, что стоит мне увидеть приближающийся трамвай или извозчика, как я зажмуриваю глаза и бегу через дорогу. Тут никакой трусости нет, я просто не желаю умереть под извозчичьими колесами. Зато я не страшусь высказывать свои мнения. Сейчас я чуточку поумнела и не лезу вперед. Все равно никого не переспоришь. Каждый слышит только себя и как попугай повторяет одно и то же. Лучший пример — мой дядя. Он не терпит чтоб при нем критиковали еврейскую религию. Дядя набросился на Вову, когда тот сказал, что обязательное мытье рук ничего общего с Богом не имеет. Что же касается свинины, то прежние законы неприменимы к теперешней жизни. Тогда были другие свиньи. Дядя рассвирепел и стал призывать в свидетели всех пророков и самого дедушку из Вознесенска. Лучше бы он сослался на дедушку с Пушкинской. Тот не такой противник свинины. Бедный дедушка, он продолжает быть кротким и ему это не подходит. Я предпочитаю, чтоб он охотился за мухами и дразнил Бебеле и Хармака. Но он не хочет шутить, а мухи — пусть они летают, ему все равно. Он посылает меня во двор подышать воздухом. Но мне не хочется уходить, я предпочитаю вдыхать сигарный запах. Пахнет еще чем-то. Вова думает, что это запах болезни. Неужели дедушка не придет на

мишино обрезание? Я не представляю себе, как будет без него. На всех семейных торжествах он сидит на почетном месте и то и дело подзывает меня или Катю и сует нам в руку шоколад в серебряной бумажке. Дедушка боится, что нас недостаточно балуют. Вове он охотно дал бы шоколадку. Но Вова вышел из возраста шоколадок в обертке.

Мы с Катей сладкоежки. Хотя она маленькая, и рядом с ней я гигант, шоколад мы любим одинаково. Но она не должна притворяться. Она может любить открыто, от всей души. Когда я хватаю со стола печенье или конфету, на меня смотрят страшными глазами. Никого не умиляет, что я такая непосредственная. Вова проделывает это быстро и незаметно. Он терпеть не может, чтоб его останавливали. «У меня не было гувернанток», — говорит Вова и всем становится неловко. Он намекает на катиных бонн и на мадмазель. Но она ведь демиплас, а это помесь учительницы с гувернанткой. Мы с ней почти на равной ноге. Я отсоветовала ей встретиться с бывшим женихом, Володей. У него злодейские брови, они почти такой же ширины, как его усы. Она очень обиделась, когда я ей сказала, что у Якова Соломоновича тоже густые брови, но они не такие страшные, как у Володи. И потом Володя закручивает усы кверху, и это называется «усы а ля Вильгельм».

Такие же усы у главного лакея, того, что заведует мишиным обрезанием. Юзя решила, что он задается. На самом деле он не такой важный пан. Она собьет с него форс, и тогда он узнает, как командуют чужими горничными и такими гоноровыми, как она. Но может быть у главного лакея тоже есть гонор. Об этом Юзя не подумала. Ей некогда думать. Нет ни минутки свободной. Ей приспичило иметь плоеную наколку, как у горничной Исерлисов. А что это такое, один Бог ведает. Спрашиваю Юзю и она отсы-

лает меня к прачке Оле. Ее — юзино дело — носить наколку. Остальным пусть займутся другие. Но другим не до нее, они суетятся. Сейчас будут купать Мишу. Если вы еще не присутствовали при таких купаниях, советую вам посмотреть на мадам Дунаевскую. Она в белом халате. Рукава засучены выше локтя. Можно подумать, что перед ней не корытце с подстеленной на дне пеленкой, а мраморная ванна. Очень трудно измерить температуру воды. Градусник запотел и покрылся мелкими капельками. Все волнуются. Матя говорит прерывающимся голосом: «Умоляю вас, будте осторожны!». Но мадам Дунаевская не прислушивается к доморощенным советницам. Трудно сосчитать, скольких детей она купала на своем веку. Под мишину спинку она подкладывает свою большую пухлую руку, эта же рука держит его голову. Еще секунда и он в воде. Тогда она начинает осторожно поливать его теплой водицей и при этом приговаривать: «Так, так, Мишенька любит купаться, — правда, Мишенька?» Мы смотрим во все глаза. Мне хочется знать, почему у Мишеньки толстый животик и ножки не совсем прямые. Но я боюсь нарушить торжественную церемонию. На меня все набросятся. Что я понимаю в детской красоте? Подобного животика мадам Дунаевская не видела за последние десять лет.

Мне бы тоже приятно было поливать Мишу, но мадам Дунаевская не позволяет к нему подойти. Мы только имеем право восклицать: «Ах, какая прелесть! Какие у него ямочки и складки на затылке!». У взрослых этими складками не восхищаются. У эльзуниного папы, например, затылок в красных жировых складках. И что же, каждый год его посылают на курорт. У мисье Блазнера затылок еще краснее и он тоже лечится за границей. Никонец, Миша издает смешной писк, и все кричат, что он голоден. Но ма-

дам Дунаевскую это не трогает. Ребенок останется в воде столько-то времени и ни секунды дольше. Самое интересное наступает, когда она кладет его на подушку и сразу же поднимает на воздух его малюсенькие ноги и сыплет на них тальк. Миша напруживается и вдруг на подушке круглое желтое пятно. Опять начинают говорить, какой Миша молодец, а мне становится как-то не по себе. Мне надоело восхищаться. Но Мишу запеленали, и он уже сосет аксютину грудь, тяжелую, как трехпудовая гиря. Стыдно смотреть на нее. Она вся в синих и красных жилках. Неприличнее всего выглядит сосок, он сморщился и припух. Аксюте ее грудь совсем не подходит, лицо у Аксюты бледное, щеки ввалились, а нос, как у собачки. Мне сказали на кухне, чтоб я не огорчалась. У Блазнеров была мамка, худая, как жердь, а потом она отрастила себе такую морду, что никто не мог в себя прийти.

Терпеть не могу слово «морда». Но это любимое генино словцо. Для нее существуют только морды и личики. Как бы она смеялась, если б ей объяснили, что бывают лица одухотворенные, как у Пушкина и Льва Николаевича Толстого. Вова сказал, что на челе у них печать гения и мне это понравилось. Я знаю, что у Вовы лицо значительное. А у близнецов незначительные лица. Сына артиста можно скорее считать значительным, несмотря на то, что он похож на арапа Петра Великого. Я не собираюсь всех разбирать по косточкам. Я только протестую против слова морда. Оно унижает человеческое достоинство. И, все-таки, дочка доктора из породы морд. Теперь она меня особенно раздражает. Она хочет доказать, что ее брата воспитывают не так, как других детей: у него сухая мамка. Я не смею спросить, что это значит. Она меня засмеет.

«Мы, лютеране, не делаем обрезания, — говорит

дочка доктора. — Это варварский обычай». Она хочет раздавить меня своим превосходством, но я ей не уступлю. Мои родители такие же интеллигентные, как ее папа, хотя он директор санатория. Мадам Ашевская сказала, что он продает суп. Она его ненавидит, потому что он не такой неудачник, как доктор Ашевский. Она думает, что он рвач, а ее муж, пусть дурак, но светлая личность. Бог знает, как она относится к моему доктору. У нее злой язык и она способна его развенчать. А этого я бы не перенесла.

Никто не подозревает, что у меня есть тайна, которая умрет вместе со мной. Но почему же сын артиста проезжался насчет влюбчивости учениц второго класса? Неужели он догадывается? А может быть он просто хотел меня подразнить? С Вовой этот номер не проходит. Когда сын артиста сказал, что наш журнал это миф, вроде мифов древней Греции, Вова посмотрел на него уничтожающим взглядом. Ага, это миф, в таком случае он может считать, что больше не числится в списке сотрудников! Никогда еще журнал не был такой реальностью. Сын артиста позеленел от испуга. С каких пор Вова не понимает шуток! Он не только верит в журнал, но уже приготовил статью о влиянии театра на человеческую душу.

Вова не вполне удовлетворен. Это попахивает классным сочинением. «Мы не должны поддаваться влиянию окружающей среды», — говорит Вова. Я с ним согласна. Но как это устроить? Надо было бы уехать куда-нибудь подальше. Скажем, на станцию Раздельная и оттуда посылать статьи в журнал. Но Вова думает, что никуда не надо уезжать, надо уйти в себя. А сейчас это очень трудно. У нас полный переворот. Даже мою комнату хотят обратить в гардеробную. Дамы будут снимать там свои пальто и шубы. Я ничего против гардеробной не имею. Она даст мне возможность, по крайней мере, два дня не го-

товить уроки. Глаголы для Хейфеца тоже негде писать. Не могу же я это делать, когда не позже, чем завтра, вся моя комната будет завалена чужими шубами.

Хейфец увлекся грамматикой. Он говорит, что без грамматики здание может рухнуть. Но какое здание? Один из матиных поклонников, кажется Герасим, говорил, что грамматика хороша для начинающих. Потом ее нужно забыть и дело с концом. Чехов не думал о грамматике, когда писал свои рассказы. Поклонник сказал: «свои шедевры», но я его исправляю. У меня страсть все исправлять. Когда-нибудь я стану редактором, как Вова, и буду по целым дням чиркать красным карандашом. Если писатели, вроде близнецов, принесут мне рассказ или стихотворение, я с ними поговорю, как надо, свысока. Так они разговаривают со мной. Их не трогает, что я сестра редактора и имею больше прав на журнал, чем они.

Вова сказал, что они не только сами хотят сотрудничать, у них имеется протеже. Это ни более, ни менее, как первый ученик, Галкин. Близнецы к нему подлизываются, они рассчитывают на то, что он позволит им списывать. Но Вова знает по опыту, что Галкин трясется над своими тетрадками. Никому на свете он не даст в них заглянуть. Между прочим, я узнала, что близнецы будут на мишином обрезании. Я собиралась позвать Женю и Борю Гаевского, но мне наотрез отказали. Это не именины и не детский праздник с беспроигрышной бочкой счастья, а серьезный момент в жизни каждого еврея.

При чем тут Миша? Он еще слишком маленький, у него нет мнений. За него решают другие. Чтоб рассеяться иду на кухню. Там Геня растирает желтки в большой глиняной миске. У нее голова идет кругом и буквально не хватает рук. Следовало бы иметь не

две руки, а десять. Геня не отказывается от моих услуг. Я могу растирать желтки в миске поменьше. В награду она даст мне облизать деревянную ложку. Я только за этим и пришла, но стараюсь не подать вида. Кузина Маня сказала бы, что облизывать неэстетично. Она помешана на иностранных выражениях. А мне на них наплевать. Это так же эстетично, как есть колбасу на серой бумаге. Маня иногда это делала. Ей лень было открыть дверцу буфета и достать оттуда тарелку. Она не признает хозяйничанья: все эти тарелки, вилки, ножи — не для нее.

На кухне сидит последний жених Юзи, Антон. Он в солдатской форме, но скоро кончает службу и хотел бы стать городовым. Антон пьет пятый стакан чая. После каждого он громовым голосом говорит: «Мерцы». Юзя объясняет мне, что Антон сидит не просто так, он будет переставлять мебель. Юзя как будто оправдывается. Не понимаю, почему она это делает. Мне с Антоном очень интересно, и я жалею, что он не хочет сыграть со мной в короля. Ведь я отлично знаю, что когда никого нет дома, они режутся в карты. Антон советует мне прочесть: «Наташа, купеческая дочь». У него есть еще книга про Бову и другая — про Ваньку-ключника. Антон хочет показать, какой он начитанный. Я могла бы посоветовать ему книги получше, например, «Записки охотника», но я стесняюсь. Он может подумать, что я считаю себя страшно ученой.

Желтки еще не успели посветлеть, как меня позвали в столовую. Пришла Адя Немирова с мамой и со своим паучьим отцом. Адина мама за это время еще больше пополнела. Она обещает взять меня на утренник. Но этим обещаниям я давно не верю. Она легкомысленная и стоит ей выйти за дверь, как она забудет обо мне и об утреннике. А мне казалось, что толстые люди не могут быть легкомысленными.

Но тут, видно, исключение. За всю жизнь у нее было одно серьезное желание: она хотела носить пенсне. Ей купили и тогда зрение ее окончательно испортилось.

Нехорошо злорадствовать, но мне, все-таки, приятно, что Вовы нет дома и Адя Немирова не может скрыть, как она разочарована. Вова за ней никогда не ухаживал. Он принципиально не ухаживает за дальними родственницами. Вот, если бы она была кузиной, тогда другое дело. За Адей мало, кто ухаживал. Вова сказал, что она довольствуется тем, что ее посвящают в чужие сердечные дела. Такие люди необходимы, они помогают распутать или запутать узел, смотря по обстоятельствам. Из этого вы можете заключить, что Вова начал выражаться как-то туманно. Даже близнецы взбунтовались и заявили, что он говорит, как пишет. По их мнению Вова рисуется. Я лично думаю, что он начал принимать близко к сердцу свое редакторство. Он с восторгом говорит о том, что редактор «Одесских Новостей» плохо обращается со своими сотрудниками. Его боятся, как огня. А ему, Вове, ставят палки в колеса. Сын артиста просто разлагающий элемент. Он всех критикует, но сам ничего до конца довести не может. Поэтому Вова рассчитывает только на самого себя. А мне бы так хотелось, чтоб он рассчитывал на меня. Я его не подведу. Буду вапрягать мозги и рано или поздно сочиню стихотворение для первой страницы, где виньетка и условия подписки.

Аде Немировой необходимо знать, как поживает Вова. Но она стесняется меня спросить, а я молчу. С моей стороны это жестокость, но я хочу быть жестокой. Потом я буду терзаться угрызениями совести, но пока я плаваю в волнах блаженства. Вова много раз просил, чтоб я не употребляла это выражение. Оно подходит Андрокардато и его наездни-

цам, а никак не мне. Я могу плавать в купальне на Среднем Фонтане, да и то на пробковом поясе. В общем, Аде я ничего определенного не говорю, и она с горя уходит в спальню, посмотреть на новорожденного. Он ее не интересует. Она терпеть не может младенцев. Более взрослых детей она считает малышами и изредка к ним снисходит. Я все забываю сказать, что у Ади Немировой есть брат катиного возраста, толстый и флегматичный ребенок. Когда другие дети его колотят, он плачет крупными, тихими слезами. В остальное время его совсем не слышно. Адина мама гордится тем, что у него висячие щеки и говорит, что это упитанный ребенок. Но я боюсь его упитанности, она какая-то неживая.

Миша не производит на Адю Немирову ровно никакого впечатления. Зато ее мама от него без ума. Она говорит, что если бы жива была ее бабушка, она сказала б, что мы все можем топить печку у Миши. Никак не могу понять почему ее бабушка считалась умницей. По-моему рухнула еще одна легенда. А вчера сын артиста доказывал мне, что священные книги это сплошные легенды. На самом деле не было ни потопа, ни вавилонской башни, ни горящего куста. Но что ж тогда было? К чему ни притронешься, все оказывается выдумкой. Иногда мне кажется, что это я придумала близнецов, сына артиста и даже косого ученика реального училища, последнего вовиного товарища. Но нет, они существуют и сейчас находятся в кондитерской Исаевича. Потому что Вова помирился со старой ведьмой, мадам Исаевич, и переменил свою штаб-квартиру.

Меня мучает другое: я хотела бы знать, как живут мои соученицы. А то мы прощаемся на пороге гимназии, и они как будто распыляются и до следующего утра перестают существовать. Но это глупейшая фантазия. У каждой своя жизнь, свои не-

приятности. Недавно я узнала, что Каля Зандберг дома тише воды, ниже травы. В гимназии она всех третирует. Тетя Лина, жена доктора Авдея Ильича тоже любит третировать. Ей это не удается. Даже когда она надрывалась от крика, никто не обращал на нее внимания, она оглохла от родов и кричит из-за глухоты. А вот Кале Зандберг это удается. Она вымещает на более слабых все свои унижения, и Васса собирается ее отдубасить! У Вассы чешутся руки и рано или поздно произойдет драка в стенах нашей гимназии. Начальнице хватит разговоров на целый год. Мы узнаем, как отнеслись бы к этому Короленко и покойный Чернышевский.

Короленко для меня свой, а Чернышевский — таинственная фигура. Но для Вовы она вовсе не таинственная. Это писатель-революционер, он написал роман «Что делать?» Вова не станет его читать. Говорят, скучища страшная. В таком случае я тоже не буду читать. Я занесу его в список книг не для чтения. Покамест я размышляю о легендах и о Чернышевском, Адя Немирова пьет чай, очень медленно, как на даче. Только вместо хлеба с маслом она макает бисквит, и в чае уже начали плавать бисквитные хлопья. Ее мама пьет по-другому: быстро и громко. Блюдце ее полно чая, а по аристократическим понятиям это почти что преступление. Сейчас не для кого быть аристократом. В столовой только Матя и я. А мы не такие важные персоны, особенно я.

Матя обижается, когда ей не оказывают достаточно внимания. Она сгорела бы со стыда, если б кто-нибудь принял ее за бедную родственницу. Зато она вечно говорит о бедных родственниках. Одна из них живет недалеко от Толчка. У нее три дочери, все незамужние. И младшая работает на фабрике Братьев Крахмальниковых. Матю бросает в жар и в холод, когда раз в год родственница в тяжелом ватном

пальто приносит мне и Кате по пакетику крахмальниковского мармелада. Я люблю ее приходы, она рассказывает столько страшного про своих соседей: одна женщина обварила кипятком другую, какому-то ребенку выкололи вилкой глаз, кого-то облили серной кислотой. Меня гонят из столовой, и я ухожу, но совсем неохотно. Мне необходимо знать, вставили ли мальчику новый стеклянный глаз. В асином доме жила такая девочка со стеклянным глазом, и все ее боялись. Но они переехали и больше стеклянноглазных людей я не встречала.

Папину племянницу, Лизочку, Матя тоже считает бедной родственницей. У Лизочки нет гардероба. Меня это возмутило. Я спросила папу, как он мог допустить, чтоб у его племянницы была всего одна юбка с блузкой. Папа очень расстроился и теперь у Лизочки два платья от венгерки: одно нарядное и другое на каждый день. Но к каким родственникам относятся Немировы? У них есть самовар со Стесселем и громмофон с огромной блестящей трубой, самый модный. Если судить по количеству безделушек в гостиной, они скорее, богаты. Настоящих, не дутых богачей, я, кажется еще не встречала. И не имею ни малейшего желания с ними встретиться. Они, наверное, день и ночь дрожат, чтоб их не обокрали. А Немировым бояться нечего. Никто не унесет самовар со Стесселем. Он слишком бросается в глаза. Такого самовара нет ни у кого из наших знакомых. Есть старые, с продавленными боками, есть похожие на яйцо, есть позолоченные, посеребренные, но ни одного с портретом! И что за идея помещать Стесселя на обыкновенном самоваре.

Это так же глупо, как золотая клетка с искусственной птицей. Она насвистывала: «Тореадор, смелее в бой», но механизм испортился и вместо тореадора слышно шипение, похожее на змеиное. Клетка

висит у Немировых в прихожей. Под ней, на столике, фарфоровая Красная шапочка с корзинкой и две собачки. У нас нет безделушек, Юзя давно смахнула их своей метелочкой из перьев. Она входит в раж и так ею орудует, что подвески люстры не перестают издавать жалобный звон. Они молят о пощаде, но Юзе не до них, она должна навести порядок. Юзя дорожит честью нашего дома и не хочет, чтоб какая-нибудь дама могла сказать, что у нас по углам паутина. А дамы приходят ведь только для того, чтоб наводить критику. Горничная Блазнеров сказала, что ее мадам не нравится дорожка у нас в передней. Она слишком простенькая. Возле персидской она не лежала.

Мне это абсолютно безразлично. Но мадам Блазнер удавилась бы от зависти, если б узнала про венгеркин новый ковер. Я ходила туда с Лизочкой выбирать фасон платья и первое, что мне бросилось в глаза — был большой ковер с красными и синими разводами. Это новость. Венгерка завела ковер, чтоб поражать заказчиц. И действительно, такого ковра я еще не видела, он похож на ковер-самолет. Откуда к венгерке в ее квартиру с окнами во двор попало такое чудо? Я боюсь спросить, она еще может обидеться. Потом я узнаю от Вовы, что это простой машинный ковер. Он в этом уверен. Ковер слишком новенький, чтоб быть персидским. У всех хороших вещей неновый вид. А все новенькое — подделка. Сын артиста сказал, что английские лорды сначала дают кому-нибудь поносить свои костюмы, а потом уже сами их носят. Нельзя, чтоб вещь выглядела так, будто ее только что принесли из магазина. Значит, лорды не такие кретины, какими их считал Зиновий. Надо, чтоб вещи обжились, а потом уже можно делать с ними все, что угодно. Но меня это, вообще, мало трогает. Я ношу форму и в парадных случаях

мне нашивают новый воротничок, не **слишком ши**рокий, иначе начальница будет вопить.

Она боится, что мы превратимся в пустых, легкомысленных девченок. А вместе с тем она любит красоту. Ей нравятся Мадонна Рафаэля, опера «Борис Годунов», безрукая Венера... Но это искусство и к жизни оно не имеет отношения. Жизнь должна состоять из обязанностей и принципов. Выше всего она ставит чувство долга. Но у кого оно есть? В нашем классе, кажется, только у Муси. Для этого надо жить на Молдаванке, в доме с большим садом. В городе чувство долга развивается плохо и медленно. Слишком много соблазнов. Долг нашептывает, что следовало бы переписать глаголы для Хейфеца, а я стараюсь не слушать и обрабатываю Вову, чтоб он взял меня на картину «Ямщик, не гони лошадей»... Она меня интригует. Сын артиста узнал, что скоро появится другая, под названием: «Гони, ямщик». Скорей всего это очередная выдумка.

Сейчас я должна была бы помочь в расстановке мебели. Но меня просят не вмешиваться и я ухожу с чувством неисполненного долга. В иллюзион Вова меня брать не желает. Картина может плохо подействовать на мою нервную систему. Он забыл, что я с ним видела «Разбитую вазу». Я так плакала, что глаза мои заплыли и превратились в щелочки. На улице слезы сразу высохли и мне стало легко и весело. Эти слезы меня не расстроили. Наоборот, я выплакалась и стала гораздо добрее. В театре я тоже плачу, но из-за бинокля слез не видно. Сын артиста, хоть и театральный ребенок, сам непрочь поплакать на какой-нибудь мелодраме. А его отец в последнем акте пьесы «Три сестры» специально идет в публику, садится в последний ряд и там рыдает. Сын артиста сказал, что в это время он думает о своих кредиторах. По-

том он идет за кулисы и ругается там с помощником режиссера.

Матя плачет, когда ей начинает казаться, что ее не примут в консерваторию, и она должна будет покончить жизнь самоубийством. Помню, как она бежала по узкой дорожке к обрыву и дядя за ней. Он боялся, что Матя бросится в море. Все тряслись от страха, а Матя плакала так громко, что было слышно на соседних дачах. Только папа не был напуган. Он сказал, что тот, кто хочет умереть, не устраивает из этого представления, а тихонько идет к обрыву и бросается в воду. Действительно, Матя добежала до калитки и остановилась, как вкопанная. Она постояла полминуты и с плачем и смехом свернула на главную аллею.

Больше живых самоубийц я не видела. Я ведь не Боря Гаевский. Но в газете «Одесские Новости» можно прочесть: такой-то девятнадцати лет, или такая-то семнадцати, покончили с собой. Звучит неправдоподобно, а, между прочим, это факт. Газета ведь дает имя, фамилию и адрес. Тут не политика, где каждый может врать по-своему. Брат близнецов непрочь был бы убить всех министров внутренних дел и всех губернаторов. А у Вовы в классе есть некий Ваня Курмышев, и он жаждет уничтожить революционеров, поляков и врагов церкви христовой, то-есть евреев. Раньше он говорил: жиды, но Вова обещал выбить ему все зубы, по два зараз, если услышит слово «жид». Ваня Курмышев понял, что это нешуточная угроза и вдруг стал маленьким. Что за поклеп! Все его друзья — евреи. Его собственная тетка замужем за евреем, а отец вырос в пограничном городке и говорит на жаргоне, как настоящий балагула. Как я люблю Вову за то, что он может постоять за себя. Я знаю, что и в дальнейшем он будет выбивать зубы у всех обидчиков и гонителей. А дядя, несмотря на

свое невероятно развитое национальное чувство, испугался бы. Он не любит кулачных боев. «Это не для нас, — говорит дядя. — Мы — народ книги».

Тут я с ним несогласна: книга книгой, а кулаки кулаками. Одно другому не мешает. Я лично думаю, что он хочет красивыми словами прикрыть свою трусость. И как ему было стать храбрым, когда он сын вдовы и брат незамужних сестер. За это время, правда, одна из сестер вышла замуж, а вдова совсем вросла в землю. Но он так и остался маменькиным сыночком. «Люди не меняются», — говорит мой дедушка с Пушкинской улицы. За его долгую жизнь ни один дурак еще не стал умным. А неудачника, как ни подпихивай, он будет хромать на обе ноги.

Дедушка намекает, конечно, на маминых родственников. Они никак не могут забыть, чьи они внуки. Шутка ли, их дед был первым человеком в городе! От этого осталось только колечко с розовым жемчугом. Его через каких-то теток получила моя мама. Когда-нибудь оно перейдет ко мне, я уже заранее вижу его на своем мизинце. Мне оно не особенно нравится, жемчуг какой-то ненатуральный. Фальшивый куда крупнее. Все говорят, что это фамильное кольцо и при этом у них перекашиваются рты. Неприятно сознаться, но меня не умиляет, что оно фамильное. Мы не можем отвечать за плохой вкус наших предков. Зато я сильно расстроилась, когда дедушка попросил меня посмотреть, нет ли в столовой Бебеле и Хармака или, упаси Боже, тети Иды. Он собирается сказать мне одну важную вещь и не хочет, чтоб это слышали посторонние уши. Дело в том, что дедушка завещал мне лотерейный билет. Кто знает, может быть я выиграю двести тысяч. Но мне не нужны выигрышные билеты. Я хочу, чтоб дедушка жил, я не могу себе представить, что не будет квартиры на Пушкинской улице! Дедушка

видит мое смятение и посмеивается. Он еще походит по этой маленькой земле. Умереть, нет такого удовольствия он не может доставить своим врагам. Но тогда почему же билет? «На всякий случай, — говорит дедушка. — Что бы ни случилось — билет твой! Для Вовы тоже есть кое-что и для младших детей...» В первый раз в жизни веду такой странный разговор. И я бы много дала, чтоб дедушка забыл о выигрышном билете.

Но он вошел во вкус. Теперь ясно: если я выиграю двести тысяч, в чем дедушка не сомневается, то стану самой богатой невестой в Одессе. А я терпеть не могу богатство и мне заранее противен тот, кто будет любить мои выигранные деньги. Но, слава Богу, приходит папа. Я на седьмом небе. При папе нельзя говорить о женихах. Он не может примириться с тем, что когда-нибудь я уйду к чужому несимпатичному мужчине. По его лицу я вижу, что ему не нужны ни принцы, ни миллионеры. Асины родители — другое дело. Они верят в ранние браки. У тети Полины целый короб рассказов про какую-то Дину. Она выскочила замуж со школьной скамьи и очень скоро родила ребенка. Все будто бы были довольны. Вова сердится, когда я ему это рассказываю. Дина, или как ее там зовут, испорченная девченка и родителям ее должно быть стыдно. А тете Полине еще стыднее в ее годы повторять такие глупости.

51.

К мишиному обрезанию Вова относится философски. Что поделаешь, это основа нашей религии. «Ничего себе основа!» — кричат близнецы. Их брат, эсер, против обрезания. Ему смешны все религиозные предрассудки. Сами близнецы боятся прослыть отсталыми и поэтому часто перебарщивают. На месте Вовы я бы их не пригласила. Раз это предрассудок, пусть сидят дома и читают Бебеля. Это почти как Бебеле. На самом деле между ними целая пропасть. Но я не читала Бебеля и для меня он просто старый немец с бородой. А Бебеле старый бородатый еврей. Только у Бебеля борода круглая и приличная, а у Бебеле она растет мелкими кустиками. Вид у обоих унылый.

К чему разводить теории, близнецы все равно явятся. Они предчувствуют, что угощение будет на славу. Я заглянула на кухню, а там со вчерашнего дня суетится повариха, главная конкурентка Гени. Перед ней рыбы, длинные и остромордые, и у каждой в зубах петрушка. Повариха смотрит на них с любовью. Это ее детища. Они ей вросли в душу. Геня старается их не замечать. Она тоже специалистка по заливной рыбе, но ее соус светлее, а о паршивой петрушке она и слышать не хочет. Сколько человек, столько систем. Сын артиста узнал, что есть тридцать способов приготовления рубленых котлет: со льдом, с крохотными кусочками масла, на бульоне...

А по-моему все котлеты одинаковые и напрасно ломают себе голову из-за пустяков. На кухне и так все время что-то ищут, находят и опять теряют. Где ступка? Где пестик? Где мельница для мускатных орехов? И наконец, где знаменитая, отполированная от долгого употребления ложка? Без нее Геня не может жить.

Это так говорится, она не умрет, но будет ко всем приставать. В самый разгар готовки она вспоминает про Аксюту. «Боже мой, ей не дали ее знаменитого пива! Она потеряет молоко! Бедный ребеночек, моя бедная несчастная мадам!». Как видно у Гени расстроены нервы, поэтому она всех оплакивает. Говорить как все, она не хочет. Для нее существует только паршивое или замечательное. Золотая середина ей не нравится. Геня не может понять, почему она золотая. Может быть это самоварное золото. Никак не могла ей втолковать, что тут золото в переносном смысле. А Вова сказал, что я слишком много времени посвящаю Гене. Лучше бы я искала подписчиков для нашего журнала. Он очень надеется на то, что я уговорю Якова Соломоновича. Ему ничего не стоит дать два или три рубля. Это широкая натура. И чем меньше у него денег, тем он шире. Но Яков Соломонович способен вдруг заупрямиться и тогда его никакими силами не заставишь стать подписчиком. Надо, чтоб он почувствовал, что это полезное и хорошее дело. Сейчас удобный момент. Яков Соломонович у нас герой дня. Он вроде мишиного крестного отца. С настоящим крестным это имеет мало общего, но я не знаю другого определения и пока пишу так. Постараюсь расспросить Хейфеца. Когда я задаю ему щекотливые вопросы, он пускается в бесконечные рассуждения и при этом посматривает на себя в зеркало. Вова называет его: твой Диоген. Но он не похож

на Диогена, а скорее на Сократа из бывшего вовиного учебника.

Про Сократа я ему сказала, но вместо того, чтоб восхититься, он начал язвить: «Так вот с кем она меня сравнивает! Разве она не знает, что Сократ самый безобразный человек древности? Даже среди философов он выделяется своим безобразием». Я чувствую, что влопалась, но не сдаюсь. Пусть Хейфец язвит, как хочет, я буду защищать Сократа. Мне странно, что Хейфец считает себя красавцем. Разве он не видит мелких прыщиков на своем подбородке? Между ними волосики, редкие, редкие. Он их раз в неделю бреет у цирюльника. Из-за специального парикмахерского запаха трудно скрыть, что он был в цирюльне. Вова уверен, что это дешевка и когда папин парикмахер, Шульц, хочет его опрыскать, он ему запрещает. Шульц удивлен, что Вова отказывается от его цветочного одеколона. Он ведь самый настоящий.

С Хейфецом я теперь осторожна. Он мне нужен. Я должна поговорить с ним о религии. Хейфец нерелигиозный, но он вырос в местечке и там не зажигали огня по субботам. Летом это не так важно. А в долгие зимние вечера — хуже. Если б не человек в овчинном тулупе, по имени Охросим, была б такая темень, что хоть глаза выколи. Но Охросим зажигал керосиновую лампу, и все становилось на место. Хейфец бежал из своего местечка, как будто за ним гнались сорок чертей и одна ведьма. Однако, летом он ездит туда погостить и поухаживать за барышнями. Я бы много дала, чтоб с ними познакомиться. Но возможно, что они родились в его воображении и там же умрут. Вова смеется: для пополнения моего образования, лучше всего было бы обратиться в одесский раввинат, где дадут все интересующие меня све-

дения. Конечно, он издевается, ни к кому я не обращусь.

Мне повезло: Ланя опять переехал к нам. В доме форменная гостиница, и он спит на стульях. Ночью я просыпаюсь в ужасе от мысли, что стулья разъехались, и Ланя упал на холодный пол и обязательно заболеет инфлуэнцой или ангиной. Ангина хуже. От компресса шея становится толстой, как у слона. Он давит, душит, я требую, чтоб его сняли и на этой почве выходят всякие недоразумения. Ланя меня успокаивает, он привык спать на стульях. И у нас они крепкие, не то, что у его бабушки, где нет ничего парного. Наверное, потому, что куплено не в магазине, а по случаю. Это гораздо интереснее. Приходишь в чужой дом и там все продают за полцены, потому что хозяин умер или разорился. Вова говорит, что это жульничество, просто хотят сбыть старье. Его не берет даже старьевщик, по-нашему старивешник, а дураки покупают. Я рада, что Лани при этом не было, он мог бы обидеться за свою бабушку. В семье она считается большой умницей, несмотря на то, что ее преследовали неудачи. Они кончились. Вера Львовна дает ей на сносную жизнь. Было бы совсем хорошо, но богатый холостяк, муж Веры Львовны, ни за что не хочет называть ее мамой. У него есть своя мама и с него хватит. Он будет звать ее по имени-отчеству. В его возрасте не приобретают новых мам.

Ланиной бабушке пришлось примириться. И она и Ланя тоже называют холостяка по имени-отчеству. А у Лани появилась надежда, что его примут в школу электротехников, куда поступают без экзамена. Готовиться ему не нужно. Меня это очень устраивает. Я могу делиться с ним моими сомнениями. Он для этого создан. Ему можно сказать все, что угодно, Он не проболтается. Не то, что близнецы или сын

артиста. Стоит им узнать какую-нибудь новость, как они растарабанивают ее по всему городу. Дочка доктора почище их. Она вытянула у Топсика все секреты и потом ее же допекала. Но Ланя — полная противоположность. Он обещал, что во время мишиного обрезания не отойдет от меня ни на шаг. Если его за чем-нибудь пошлют, я пойду с ним. Так у нас условлено. Только, чур, не отвиливать!

Ланя готов меня съесть. Как мне не стыдно выказывать ему недоверие. Всем известно, что он человек слова. Ланя помешан на вопросах чести. Недаром он так зачитал романы Дюма-отца, что их нельзя втиснуть ни на одну полку. Они разбухли от постоянного перелистывания. Если б наша библиотекарша увидела такие книги, она бы лишилась чувств. Она впадает в крайность. Даже пятно на оберточной бумаге способно привести ее в отчаяние. Она непрерывно говорит о вандализме. За глаза, конечно, я называю близнецов презренными вандалами. Но Ланя вовсе не вандал, у него было совсем мало книг и поэтому он всегда читал одни и те же. Я тоже люблю перечитывать и заранее знаю, на какой странице я буду плакать. Нет сил удержать слезы. В горле першит и они сами катятся, как их ни удерживай.

Сейчас я готова плакать без повода. Матя говорит, что у меня расстроены нервы. Она сама нервничает, но на других виднее. Весь порядок нашего дома опрокинулся. Каждую секунду вбегают ко мне в комнату за полотенцем или за салфетками, хотя известно, что у меня в комоде нет ни постельного, ни столового белья, а только штаны, лифчики и нижние юбки. Маму нельзя беспокоить, она очень устала. Я часто подхожу к дверям и тогда она зовет меня. А я, тихонько, чтоб никто не метал грозных взглядов, глажу ее одеяло. Но меня быстро начинает утомлять тишина в комнате. Поскорей бы пришла какая-нибудь

визитерша, вроде мадам Ашевской, а не то мне жутко! Не больна ли мама? Нет, это не болезнь, а естественное состояние. Я ничего естественного не вижу. Раз человек лежит, значит он нездоров. Мне всегда говорили, что лежание без температуры — признак распущенности. Никто не мог понять, что читается лучше всего, когда лежишь на диване, а рядом яблоки, сухари, тянушки... Они залепляют рот, но это не мешает гордому Николаю Никкльби хорошенько отдубасить своего мучителя.

Ланя говорит, что только в книгах добродетель торжествует, а порок бывает наказан. В жизни все наоборот. И лучший пример он — Ланя. Чем упорней он зубрил, тем чаще проваливался на экзаменах, и отец бил его ремнем и грозился, что отдаст в мальчики. Но Ланя вдруг вырос на целую голову, и отец боится его трогать. Он его попросту не замечает. Если б со мной такое случилось, я б, наверное, умерла. Лане умирать незачем: к отцу он не поедет, там хозяйничает вдова. Она дает на расходы какие-то стертые копейки и потом ей кажется, что Ланя одну или две зажулил. В Полтаве он чужой. У нас дома, что бы ни случилось, я тут как тут. Но почему же сын артиста так некстати повторяет, что есть субъекты, мозолящие глаза? Он, вероятно, намекает на близнецов. Я не субъект, а их он иногда, за спиной, зовет субъектами. У него нет мужества сказать им всю правду. Она чаще всего горькая и отвратительная, как рвотный корень. Неправду говорить легче: самому приятно и другие рады.

Хорошо, что нет нашей начальницы, она ведь борец за правду, вместе с Короленко и Чернышевским и не прощает ни малейшего придумыванья. Правда должна быть без всякой примеси, как в пробирке. К сожалению, она не научила своего сына говорить одну только голую, неприкрытую правду. Васса и я ви-

дели его в гимназическом дворе во время большой перемены, и он нам сообщил, что на рождественские каникулы поедет в Индию или на Антильские острова. Это еще не решено, он сначала посмотрит по карте, что ближе. Ему надо быть дома за день до начала занятий. Мы знали, что он врет, но, все-таки, нам стало жалко, что у нас нет таких замечательных планов. Я хотела сказать, что еду в Москву, но вспомнила, что для этого необходимо правожительство, а Васса, чтоб поразить сына начальницы, объявила, что летом она будет плавать вверх и вниз по Волге на огромных волжских пароходах, где этажей не меньше, чем в самом высоком доме на Преображенской. Последнее слово осталось за сыном начальницы. Он сказал, что никуда мы не поедем, поездки не девченское дело. Нас, верно, и в гимназию водят за ручку. Васса прямо захлебнулась от злости, она так крепко сжала кулаки, что они побелели, но сын начальницы был уже далеко. Через полминуты он юркнул в дверь своей квартиры в нижнем этаже. Васса никак не могла успокоиться, она бушевала, а я ее уговаривала: не стоит, он не только невежа, он еще и трус. Лучше порвем с ним отношения, как я с моей бывшей подругой Раей.

С тех пор я ни с кем не поссорилась, даже с близнецами. А они, чуть что, вызывают меня на ссору. Сейчас многое изменилось. Чувствуется, что в доме маленький ребенок и от этого все почему-то поглупели. Я сама увлекаюсь его ручками и кривыми толстыми ножками, но меня пугают его веки, они прозрачные и синие. Мне хотелось бы знать, какие веки у ребенка Аксюты? Но я боюсь ее спросить. Она может расстроиться и пропадет молоко. А все только и думают о том, как бы оно не пропало! И что за прелесть в этом молоке? Я его видела, оно водянистое и похоже на миндальное. То, что под названием

«оршад» продается в театральном буфете. Когда тетя Полина пригласила меня на «Женитьбу» Гоголя и в антракте хотела угостить оршадом, я отказалась. Нет, оршад — сладкая водица, я уже пробовала его в клубе «Беседа» на детском утре. Если можно, я лучше возьму бутерброд с яйцом и килькой. Но тетя Полина запротестовала: кильки не для моего возраста, это бутерброд для взрослых. Подумаешь, Вова еще Бог знает когда съедал полкоробки килек и никто ему не делал замечаний. Раз поставлено на стол, пусть ест. На обрезании будут напитки в бутылках и сифонах. На кухне и в коридоре ящики с сифонами, и я уже о них споткнулась. Но пожаловаться я боюсь. Скажут, что мне не место на кухне. А в столовой говорят о тех, кого забыли позвать. Теперь поздно. В последний момент приглашают только на затычку. Лучше пойду к себе в комнату и буду там сидеть до ужина, как отшельница, а если ко мне присоединится Ланя, мы будем, как два отшельника.

Но Ланя не приходит, он зачитался «Графом Монте-Кристо». В проходной комнате натоплено так, что печка вот-вот лопнет и посыпется розовая штукатурка. Это мое воображение, она и не такую топку может выдержать. Внутри все гудит, дрова перекатываются и кажется, комната сейчас поедет вместе с Ланей и романом Дюма-пера, как его называют близнецы. Они говорят, что есть еще Дюма-фис, но тут другой коленкор... Ха-ха-ха, они думают, что я никогда не слышала про «Даму с камелиями», а я слышала. Шестиклассница с змеиной головкой была на опере «Травиата», а это одно и то же. В коридоре мы вместе распевали: «Боже, чем я виновата, что люблю Альфреда, как родного брата?» — пока не появилась Зоя Антоновна и стала смотреть на нас глазами ищейки. Надо было срочно прекратить, потому что за Зоей Антоновной обычно появляется

начальница. Семиклассница сказала, что Зоя Антоновна подлиза, она обхаживает начальницу, а та по своей наивности принимает все за чистую монету.

Кто бы мог подумать, что в Зое Антоновне столько скрытого коварства? Но где оно помещается? Зоя Антоновна тонюсенькая и от слабости гнется, как гнилой стебелек. Ключицы у нее торчат и скулы тоже. И говорит она нараспев. Я знаю, что это искусственно. На самом деле в ней никакой певучести. Зато у нашей библиотекарши чудный грудной голос. Он, как поле с красными маками и васильками. И, пожалуй, синее васильков. Это наша любимая игра — моя и Вассы, мы с ней определяем, какого цвета голоса. Ася не верит в наши игры: мы вовсе не занимаемся голосами, а разбираем ее по косточкам. Вот видите, какая она подозрительная. Я никогда бы не позволила другим критиковать Асю. Зато она постоянно делает мне замечания, хотя всем известно, что я их не выношу. Почему она не делает замечаний своей младшей двоюродной сестре, той, что мнит себя великой пианисткой?

Ася хочет убить меня тем, что ее двоюродной сестре подарили гипсовую маску Бетховена, она стоит на рояле, который покрыт большим платком с бахромой. Ася чувствует свое превосходство, ведь и на нее падает тень кузининого Бетховена... Но теперь на моей улице праздник. У Аси нет братьев и, следовательно, не будет обрезания. А это важная дата. Так мне объяснил еврейский писатель. Он заглядывает к нам почти каждый вечер. Писатель говорит: «Шел мимо и решил заглянуть». Ни за что он не скажет, что пришел специально. Чем другим, а гордостью своей он не поступится. И все-таки Вова знает, что писатель разносил свои книги по домам и некоторые были с ним невежливы. А если у него покупали книгу, он скалил зубы, как лягавая собака

и снова становился англичанином из Вильгельма Буша.

У писателя есть и другое лицо — печальное и очень старое. Я это один раз видела: писатель сидел на скамейке возле кондитерской Исаевича и как будто сам с собой разговаривал. Глаза его были полузакрыты, губы шевелились. Мне показалось, что он плачет. Но не только у писателя два лица. Почти все имеют лицо для парадных случаев и лицо для каждого дня. Я думаю, что Тубенкопф у себя за письменным столом имеет вид Мефистофеля, только без его копыт и хвоста. Мне неприятно, что на празднике обрезания он первый человек. Тубенкопф будет кстати и некстати вставлять латинские выражения, вроде: «в здоровом теле здоровый дух». А жена его и сестра жены в одинаковых черных платьях с одинаковыми брошками будут переглядываться и без слов говорить: «Наш Володя, до чего он умен! Он выше всех в умственном отношении!». Я все это предвижу. Так было много раз и измениться не может.

Тубенкопф часто повторяется и это его не смущает. Но симпатичные люди тоже повторяются. Яков Соломонович, например, всегда говорит про газету «Фигаро». Одесских газет он не читает. Он им не верит и готов ждать целую неделю, пока не придет «Фигаро» из самого Парижа. Все, что там написано — свято, и он ссорится с каждым, кто хочет доказать, что «Одесский Листок» ничуть не хуже.

Пока я, как отшельница, сижу у себя в комнате, и она все больше и больше похожа на пещеру, Яков Соломонович режется в шестьдесят шесть с дядей Сашей. Все слава тебе Господи благополучно, почему же не сыграть партию. Конечно, нельзя ударять кулаком по столу, потому что это беспокоит маму, но буравить глазами противника — разрешено. Если б я

сейчас вошла в столовую и стала за спиной дяди Саши, он был бы в страшной претензии: я делаю знаки Якову Соломоновичу, и поэтому он выигрывает. Обычно дядя Саша говорит мало, дома ему не дают рта раскрыть, но за картами он расходится. Вова его абсолютно не уважает. Он говорит, что дядя Саша под каблуком у своей дражайшей супруги. А каблуки у нее сбитые, и она их кривит. Не понимаю, как можно быть под таким каблуком, это просто глупо. Я считаю, что дело не в каблуках. Дядя трус и ему важнее всего сидеть у Фанкони и выкуривать по целой пачке папирос «Цыганка» в один присест. Вокруг него постоянно горки пепла. Сын артиста в ужасе от папирос «Цыганка». Как можно курить такую мерзость, это курево для босяков. Подумаешь, какой аристократ нашелся! Я его спрашиваю, курил ли он когда-нибудь гильзы Катыка, набитые развесным табаком. Тут он смотрит на меня прямо-таки с отвращением: папиросы собственной набивки курят провинциалы и старые холостяки. Я жалею, что завела идиотский разговор о курении. Но перед уходом Вова говорит мне, что сын артиста выкурил всего одну египетскую папиросу и с тех пор страшно задается. А что было бы, если б он выкурил десять таких папирос? Он, наверное, стал бы зеленым, как молодой фикус.

Мне скучно. Никаких обязанностей: ни задач, ни глаголов для Хейфеца, даже книги прочитаны до последней фразы на последней странице. А завтра я дома и участвую в приеме гостей. В передней я буду пожимать всем руки и справляться о здоровье. Я знаю, что Катя за мной увяжется, чтоб тоже пожимать руки. Но о здоровье она спрашивать не будет, до этого она не доросла. Хорошо было бы укрыться с головой и проспать до завтрашнего утра, но мне как-то неловко. Если я лягу, сейчас же начнут го-

ворить о том, что я заболела. А все оттого, что я бегаю к дверям и потом иду на кухню, где от жары можно задохнуться. Поэтому я просто клюю носом, как мама Веры Львовны, когда на нее не смотрят. Она умеет спать не только в гостиной, но и в столовой, во время еды. Засыпает она ровно на минутку, ей достаточно. Она мне созналась, что это ее освежает. А меня мое сидение ничуть не освежило. Напрасно я себе его придумала.

К ужину выхожу сердитая и взлохмаченная. Можно подумать, что в волосах у меня перья от подушки. А я не лежала, это иллюзия. Я пропустила мишино купание и кормежку, я не видела маминых визитерш — все свои силы я приберегаю на завтра. Чтоб меня подразнить, Вова сказал, что звонила Ася, но меня не могли дозваться. Я спала, как невинный младенец. Что ж, перенесу и это. Лишь бы не узнали о моих переживаниях. Тогда мне проходу не дадут, я стану всеобщим посмешищем. Но никто не подхватывает вовиных издевательств. Близнецы ушли к себе, а дедушка из Вознесенска погружен в бессловесную молитву. Ест он мало и рассеянно: одно яйцо, немного качкавалу... Этот сыр едят набожные евреи, а почему — неизвестно. Самое приятное, что нет мадам Дунаевской с ее рассказами о родах и роженицах. Постараюсь ей намекнуть, что при детях такого не говорят. Я имею в виду Катю. Я-то давным давно узнала, что такое роды, хотя не совсем ясно себе представляю, откуда выходит ребенок.

Ася говорит, что ее тете разрезали живот. Но помоему она фантазирует. И потом у асиных теток все не как у людей. Одна из них, хоть тут гром и молния, каждый день гуляет. Она помешана на моционе. А у той, что пишет пьесы из жизни зубных врачей, бантики в самых неподходящих местах. Многие думают, что она молодится, а я особой молодо-

сти в бантиках не вижу. Я еще понимаю большой атласный бант или муаровую ленту, как носит Тоня Калиниченко, а бантики — для старух. Но, может быть, тетка делает это, чтоб обновить свои туалеты. Пришьет с каждой стороны по бантику и платье неузнаваемо. Так поступает Матя, она все время меняет отделку. Ее научила тетя Таня, а она обожает всякие финтифлюшки. По ее словам: «За неимением гербовой пишут на простой». Но ведь это о бумаге, при чем же здесь воротнички и прошивки? Я знаю, она хочет сказать, что надо довольствоваться малым. А дедушка с Пушкинской уверен, что к жизни надо предъявлять большие требования. Тот, кто ничего не требует, остается в дураках.

С дедушкой мы давно не спорим. Его опасно волновать, но он неправ. Кузина Маня не хотела идти на уступки и осталась с носом. Мне говорят, что «с носом» — это вульгарно. Лучше сказать: осталась ни с чем... А я терпеть не могу вежливый язык. В крайнем случае буду говорить: «осталась при пиковом интересе», как любят выражаться на кухне. Результат тот же — Маня стесняется приходить к нам. Я боюсь, что и завтра она не придет. Но пригласили ли ее? Нет, она своя и в приглашениях не нуждается. Жалко, что я не могу пригласить ее от своего имени. У меня осталось несколько пригласительных карточек с розовыми веночками. Они мне не нужны, я давно хотела подарить их Кате. Если б от меня зависело, я послала бы такую карточку Надежде Моисеевне. Но, оказывается ее вообще не собирались звать. И так нехватает места. А для Тубенкопфа хватает и для директора банка тоже. Он ведь совсем чужой и присутствует только на парадных обедах. О близнецах и сыне артиста я уже не говорю. Они ходят за Вовой, как Атос, Портос и Арамис за д'Артаньяном. Но вместо шпаг у них огрызки каранда-

шей, а вместо шляп — форменные фуражки, и те на вешалке.

Видно, права Геня, справедливости на свете нет и не будет. Она начинает говорить это с утра, когда ей не удается растопить плиту. Целый день она не перестает жаловаться на несправедливость. Но Геню интересует ее собственная персона, а меня — общая несправедливость. Мы говорим о разном. Уже в кровати, перед тем, как заснуть по-настоящему, я закрываю глаза и вижу много-много карточек с розовыми веночками, и все они для тех, кого забыли пригласить. Но веночки из маленьких становятся большими и уже не помещаются на карточках детского формата. Скоро они станут похожими на венки, что преподносят артистам Городского театра. Выходит, что я сплю и во сне разговариваю сама с собой.

Поднять меня с постели нелегко. Сегодня праздничный день, и я решила отоспаться. Я слышу, как Аксюта скрипит своими башмаками, как шаркает Юзя. Она подтирает пол, чтоб все блестело, а паркет был зеркальный, как у мадам Блазнер. Юзя помешана на паркете, и все в доме это знают. Вове тоже не хочется вставать. Он, наверное, закрыл голову подушкой, только б не слышать дядиных молитв. Они сидят у Вовы в печенках. Сказать при всех неудобно, но мне он сознался, что из-за дяди и его молитвенных охов и вздохов он скоро станет атеистом. Вот обрадуется Жора, его полку прибыло. Но Вова еще не атеист, ему жалко родителей. Сколько было потрачено на учителей еврейского языка и тому подобное! В конце концов мне надоедает бороться со сном, и я одеваюсь — очень медленно, с неохотой. Пока я в старом платье. Но на потом у меня есть платье, отделанное красным шелком, легким, как пушинка. Я выбрала его по своему вкусу, и мадам Рабинович сразу сказала, что ее заказчицы могли бы

у меня поучиться. Они не знают, чего хотят. Самые толстые настаивают на складках и оборочках. Мама не хочет, чтоб я прислушивалась к мадам Рабинович, она хвалит по доброте. На деле у меня никакого вкуса нет, но может быть он появится, когда я стану барышней. У девочек вкуса не бывает. Туфли у меня все те же, от Окуня. Пора купить другие, еще более лакированные, но почему-то откладывают. Ни за что бы не пошла к Окуню в заштопанных чулках, их носят, когда никто не видит. В магазин надо приходить в новеньких чулочках или в носках, но не таких, что закручиваются вокруг ноги. Окунь все замечает, он очень наблюдательный. Вова удивлен, что я буду в платье, а не в гимназической форме. Но я настаиваю, сегодня мне хотолось бы покрасоваться. Тем более, что Ланя в восторге от моего клетчатого платья. Сам он носит что-то очень похожее на форму. Это ему пригодится для учебного заведения, куда он, даст Бог, поступит.

«Даст Бог», говорит его бабушка. Она не может обойтись без Бога, он у нее на каждом шагу. А вместе с тем она не набожная и один раз съела свиную котлету. После этого она разболелась и пришлось вызвать фельдшера. Доктора в том местечке не было. Но какой это был фельдшер! Он мог бы заткнуть за пояс многих одесских профессоров. Ланина бабушка до сих пор следует его советам. Шутка ли, он ее спас! Если б она могла поехать к себе в местечко, он бы вылечил ее от ревматизма. При этом она потрясает своими больными руками, похожими на два засохших, скрюченных сучка. Я начала говорить о Надежде Моисеевне, она ведь тоже фельдшерица, но бабушка и слышать не хотела. Как я могу сравнивать недоучившуюся старую деву с их фельдшером. Он похож на самого Образцова: у него заграничная дождевая пелерина. Поговаривали даже, что по праздни-

кам он носиг цилиндр. Я живого фельдшера в глаза не видела, к нам ходят доктора. А сегодня на обрезании будут не только мой доктор и наш бедный Ашевский, но придет еще один по ушным, носовым и горловым болезням. Он родственник второй жены маминого деда и его нельзя было обойти приглашением. Лишь бы он не завел разговор о гландах и полипах. Такая операция — само очарование. Дети молят, чтоб им вырезали гланды. После этого они сутки подряд едят мороженое.Он все объяснил маме, когда Вову и меня повели к нему на осмотр. Прошло много вреемни, но я до сих пор помню запах его кабинета. От него у меня заледенело горло, а язык стал деревянным. Особенно мне не понравилась лампочка на его лбу. Когда доктор мотал головой, я думала, что сейчас будет пожар. Но нам с Вовой повезло: доктор вдруг вспомнил что-то очень важное и стал кричать: «Боже, какой я дурак!». Больше мы к нему не ходили. Раз он дурак, не стоит у него лечиться. А я от страха, что меня поведут к сухопарому немцу с Николаевского бульвара, стала дышать совсем нормально.

52.

Я пристаю к Вове: придет ли Иван Грозный? Вова говорит, что он придет и с ним еще кто-то из Москвы. Будут: муж маминой подруги с бородавками на пальцах, провизор с двугорбой лысиной, брат Якова Соломоновича, очень важный господин. И, конечно, вся семья Немировых, с сестрами и братьями, родными и двоюродными. Папины служащие: бухгалтер Миша с черной бородой, сам молодожен Абрамский, механик Наум и, конечно, Зальцман, отец моего друга, Гриши. Я не думала, что у нас столько дальних родственников. Их никто не помнит, зато они помнят всех. У них тысячи анекдотов про бабушку и дедушку. Я им свято верю, но Вова утверждает, что это льстецы и блюдолизы. Ну что ж, они льстят не ради удовольствия, им надо платить за квартиру и за правоучения. У дальних родственников всегда много детей: одни умирают, дргугие рождаются. Бездетных вы не найдете. А сегодня придет одна, недавно выкопанная родственница. Ее муж фотограф. Он все испробовал, пока ему не сказали, что фотография — самое доходное дело. Но когда он, наконец, устроился, в соседнем доме напротив поселились фотографы. У первого снимаются солдаты, у второго — невесты с женихами. Нашему фотографу остаются дети младшего возраста.

Будет еще один неудачник: Запавский. Папа при-

глашает его на все семейные торжества. Запавский перестает пить и становится бледным и задумчивым. Это продолжается недолго. Он снова приходит с черного хода и ругает всех мерзкими словами. Меня удивляет, что он еще не разбил дверь, он так барабанит, что сбегаются соседи. Наш черный ход для них парадный. У них есть свой черный ход, он выходит прямо в уборную. Во дворе она называется нужник, и оттуда течет нехорошая жидкость. Это любимое место детей портного Питкина. Там они рисуют классы и поэтому рай у них всегда мокрый. Вчера я видела младшего Питкина, Иоську. Он держался за голову и плакал навзрыд. Его избили, а кто, он так и не сказал. Очень жалко, я готова растоптать всех его обидчиков. Но сейчас надо забыть об этом. Меня зовут к маме. Она показывает мне замечательное шелковое одеяльце с монограммой. Его прислала супруга Якова Соломоновича. Я не знала, что она умеет вышивать монограммы. Мама меня успокоила: это не она, это магазин. Молодец Миша, у него есть уже штука с монограммой. А у меня до сих пор был только носовой платочек, но его спалили в том месте, где монограмма.

Миша даже не смотрит в сторону подарков. Он просыпается на минутку, когда Аксюта расстегивает кофточку, чтоб дать ему грудь, и сразу же засыпает. Потом его будят, надо менять пеленки. В общем, не дают ребенку выспаться. А мне его жалко. Стоит ему полежать в мокроте, как все его тельце становится красным, как огонь. Вова удивлен: откуда у меня материнский инстинкт? Он был обо мне лучшего мнения. Я пытаюсь оправдаться: «Никакого инстинкта нет, это просто так...» Но Вова не верит, тут какой-то подвох. Я должна выбрать между поэзией и пеленками, иначе я стану обыкновенной хозяйкой дома, как мадам Блазнер или асина мама. Но сегодня

Вова не говорит о пеленках. Он очень занят. Его попросили пересчитать посуду, взятую напрокат. Вова старается считать так, чтоб по дороге ничего не разбилось. Бокалы и рюмки он рассматривает на свет. В некоторых солома. «Мы будем перетирать посуду», — уныло говорит старший лакей, но Вова только пожимает плечами: он не надеется на их перетирание.

Мне хотелось бы помочь, я с утра предлагаю свои услуги, но мне даже не отвечают. Почему же Муся Логинская помогает своей маме? Я пока только непризнанная поэтесса и могу потихоньку помогать, так, чтоб это не бросалось в глаза. На кухне все уже готово. Закуски и рыбу вынесли на балкон. Одного балкона нехватило, пришлось занять и тот, что в моей комнате. Мои вещи и книги пропахли фаршем. Я в большой претензии к Гене. Она могла бы сначала проветриться, а потом идти ко мне. Но Гене не до моих претензий. У нее расстроен каждый нерв в отдельности, потому что она только подручная у этой поварихи, чтоб черт ее побрал! Оказывается, повариха сказала, что в их семье не выходили замуж за служек. Геня обиделась. Она хочет развестись, но в душе невероятно гордится шамесом из Шалашной синагоги.

Она не может расстаться со своей мечтой, как кузина Маня. В последний момент Маня переменила решение и придет на наш праздник. Она противница ненужных демонстраций. Могут еще подумать, что она не в ладах с мамой. Несчастная Маня, теперь я называю ее уже не бедной, а несчастной, ей кажется, что мы должны быть заняты исключительно ею. Она — центр вселенной с Марсом, Юпитером, кольцами Сатурна, Сириусом и так далее! Я не близнец, чтоб показывать всем и каждому мое знание астрономии. Я прочла одну или две книжки о небесных светилах,

но не помню, куда я их засунула, они тоненькие и теряются между романами Дюма-отца.

Мне не дают вспомнить. Опять открылась балконная дверь и на этот раз сама повариха несет с балкона рыбу, похожую в профиль на Тубенкопфа. В зубах у рыбы букет из петрушки, а выражение у нее такое, как будто ей противна и петрушка и все мы. Меня больше интересуют кондитерские торты. Среди них, конечно, рог изобилия. Он уже красуется на столе между тортом с толстыми розовыми розами и скромным тортом безе. А на другом столе абрикосовый торт, такой нежный и прозрачный, что в его начинку можно смотреться, как в воду, она почти бездонная. Но это обман зрения. Торт только смазан абрикосовым вареньем. Под этим обыкновенный бисквит. Геня говорит, что все эти торты — просто насмешка. Гости требуют домашние. Им подавай домашнее, иначе они не привыкли. Чтоб не обидеть ее, говорю, что мне тоже нравится домашнее. Это неправда. Покупное в сто раз наряднее. Дома все выходит немного не по мерке: то криво, то косо. Некоторые думают, что в этом вся прелесть, а я не нахожу. Мне самой странно, что я увлекаюсь тортами и забыла обо всем, даже о гимназии. У меня такое чувство, что в гимназию я больше не пойду. Но это самообман. Завтра утром опять надо будет размазывать по тарелке холодную яичницу и спешить на угол, чтоб ругаться с кондукторами электрички. Они не хотят ее остановить, потому что вагоны переполнены и даже на ручке повис гимназист первого класса. Он хорошо известен всем одесским кондукторам. Они говорят, что рано или поздно он сломает себе шею.

Сейчас я жду прихода гостей. К маме меня не пустили: она волнуется. А у Кати в комнате такая тишина, что страшно туда войти. В корзинке спит

Миша, его могли бы положить в коляску, но доктор почему-то предпочитает корзинку. При чем тут доктор, и как он может знать, где Мише удобнее? Мамка-Аксюта спит на стуле. Иногда она вздрагивает, как от удара в спину и начинает обводить меня и комнату осовелыми глазами. Ей еще снится, что она в деревне у своего ребеночка. А может быть во сне она видит корыто и пеленки на толстой веревке. Они теперь повсюду, и я уже несколько раз влетала во что-то мокрое и холодное.

Вова успел пересчитать тарелки и бокалы и перешел на чайный сервиз. «Видите, — говорит Вова главному лакею, — у молочника отбита ручка, чтоб потом не было никаких разговоров...» Но счета ему так и не удалось закончить: позвонили близнецы. Вова бросился к телефону и тут я поспешно заняла его место. Я тоже умею считать. Боже мой, даже дикари считают до трех или четырех. А ученые собаки до семи. Почему же мне не сосчитать несколько жалких чашек. Я слышу, как Вова рассказывает близнецам про свою новую форму, сшитую у военного портного с Большой Арнаутской. Близнецы увидят ее ровно через полчаса, но Вове не терпится рассказать, что ему сделали офицерские плечи. А сукно... Что говорить, такое сукно можно купить только у Пташкинова и его показывают далеко не всем. Это не какая-нибудь диагональ, а заграничная материя с пломбой. Близнецы не верят в пломбу. Вова возмущен, он готов бросить телефонную трубку. Но тогда они снова начнут звонить и так будет продолжаться до бесконечности. Поэтому Вова прощается, но довольно сухо: о пломбе они поговорят при встрече.

Скорей, скорей, на парадном уже звонят! Это недавно открытая родственница с мужем-фотографом. Они пришли на час раньше. Ничего, они посидят в уголку. Ими не нужно заниматься, они подождут.

Пока меня приставили к ним, и я должна их занимать. У обоих припухшие глаза. Они, наверное, целую ночь не спали от волнения. Спрашиваю, сколько у них детей? Один, а второй в дороге... В какой — я сразу догадалась. У родственницы платье спереди как-будто приподнято и даже немного смято, — это работа будущего ребенка. «А как дела?» — «Спасибо, — отвечает фотограф, — дела продвигаются. Вчера приходили две парочки. Они еще не снимались, они прицениваются. Каждая хочет по шесть матовых открыток». Утешаю родственников по способу моего дяди: «Даст Бог, все будет хорошо». Я сама не верю в свои слова и вряд ли дядя верит. Он притворяется, что без Бога не до порога, как говорит прачка Оля.

Родственники со мной согласны, но в этот момент опять звонок; кузина Маня и семейство Немировых. Маня боится, что она первая. Неприлично приходить первой, так делают в глухой провинции. А Немировым безразлично, они не обязаны опаздывать на четверть часа. С их приходом становится тесно. Они занимают все кресла и пуфы. Развлекать их не нужно. Они сами себя развлекают. Мадам Немирова интересуется, придет ли одна очень дальняя родственница, та, что любит пускать пыль в глаза. У них старые счеты, еще с того благотворительного вечера, где эта задавака продавала программы с маками и васильками. Маме мадам Немировой такая программа обошлась в рубль пятьдесят копеек, и она не может забыть, что ее накрыли. Она не жадная, но ей обидно, что все пошло в кассу какой-то аристократки с одесского Привоза. Здесь нет ничего невозможного. И на Привозе могут быть аристократы. Но задавака даже не знает, где Привоз. Она близорукая и ходит только по главным улицам, и то с зонтиком и с лорнетом на коралловой цепочке. Незамужняя сестра ма-

дам Немировой хотела бы знать, будет ли наш знаменитый доктор. Он ей, видите ли, очень нравится. Она сама в этом призналась. Ей не стыдно говорить о том, что он ей нравится! Матя бы умерла со стыда. О своих чувствах она говорит по секрету. Она берет с меня слово, что я никогда не проговорюсь. А Вова должен клясться всем святым.

После этого Матя рассказывает, что бывший учитель сольфеджио, теперь он профессор, находит, что у нее покатые плечи Монны-Лизы. Я нарочно пошла к Александровскому и купила открытку, где она называется Джиоконда. Александровский находит, что лучшей репродукции не существует. Это его точные слова. Она не уступит оригиналу. Можно подумать, что у себя в Шавлях он видел оригинал. Даже в музее на Софиевской нет Джиоконды. Она в Париже и дело с концом. Но это не так важно. Главное, что Матя заклинает нас никому не говорить, что она Джиоконда! Сестре мадам Немировой, тете Маше, должно быть стыдно. Впрочем, какая она тетя! Она хотела бы, чтоб мы ее так называли, но мы несогласны и зовем ее просто: Маша. В ожидании доктора Маша усаживается на диван рядом с женой своего брата, симпатичной разводкой, и начинает глазеть на фикусы и пальмы. Звонок не утихает, и я с трудом успеваю здороваться. На щеках у меня немного пудры, это, наверно, слиняла адина мама. Мадам Тубенкопф напудрилась, как клоун. Она думает, что это красиво. Но все заметили, как муж — Володя, отозвал ее в сторону и что-то прошипел. После этого она долго терла щеки носовым платком цвета гелиотропа. Сам Тубенкопф, по-моему, тоже напудрился. Он слишком бледный и однотонный. Кто-то поднял меня на воздух, а двугорбый провизор на радостях обслюнявил мой нос. Боже мой, забывают, что я гимназистка и терпеть не могу, чтоб меня чмо-

кали. Вове хорошо: он окружен близнецами и сыном артиста. А я должна от всех отбиваться. Сын артиста покровительственно называет меня: хозяюшкой. Я готова с ним поссориться на всю жизнь, но это бесплодная затея. Всерьез он со мной ссориться не будет. Чтоб избежать его иронии, снова подхожу к фотографам. Они мне очень рады, другие с ними не разговаривают. А тетя Полина спросила меня довольно громко: «Что это за Матрешка?». Под Матрешкой она подразумевает жену фотографа. На самого фотографа она даже не смотрит: он слишком щупленький.

Когда Абрамский не был еще директором завода, он называл таких людей: шмендрики. А потом он разошелся и стал звать шмендриками решительно всех. Однажды в шмендрики попал дядя Саша, и Абрамский так испугался, что просил меня забыть об этом. Он хотел сказать «шикарный мужчина»... Я забыла, но шмендрики прекратились. Не успела я подумать об Абрамском, как он появился в дверях гостиной. Абрамский легок на помине. Стоит произнести его имя, и он вырастает, как из-под земли. За Абрамским плетется его жена. Похоже на то, что она упирается и ее тащат на веревке. Мне объяснили, что это происходит от застенчивости. Но я ведь тоже застенчивая, а это мне не мешает говорить за двоих. Застенчивая Васса влетает в класс, как ураган, а когда к ней обращаются посторонние, она теребит передник и не может слова выговорить. Близнецы от застенчивости способны съесть фунт чайной колбасы. Им неловко остановиться. Я заметила, что многие без всякого основания считают себя застенчивыми.

К жене Абрамского это не относится. Она слишком рыхлая и ленивая, чтоб себя чем-нибудь считать. Не то, что тетя Лиля. Какой это контраст! Тетя Лиля, жена архитектора, похожа на героинь из кни-

жек нашей мадмазель. Даже, когда она носит обыкновенную юбку, кажется, что у нее шлейф. В боках она тоньше меня. Зато бюст у нее, как говорит Вова, на десять персон! А прическа вроде птичьего гнезда. Сегодня тетя Лиля в платье с кружащимися оборками, оно напоминает пробочник. Тети лилины платья я всегда запоминаю, а остальные ни за что не могу припомнить. Матя на меня сердится. Она хочет знать, кто как был одет, а от меня никакого толка. Матя помешана на тряпках и хотела бы быть одетой лучше всех, но ее наряды занимают всего половину шкафа. Она недовольна этим, я ее успокаиваю: когда-нибудь у нее будет большой дубовый шкаф, набитый туалетами, и трехстворчатое зеркало, как в магазинах готового платья.

Не стоит завидовать тете Лиле. Она ведь только копия своей сестры-артистки. В общем, почти все друг другу подражают. Близнецы — Вове, дочка доктора — шестикласснице со змеиной головкой, Маня — женщине с моря Ибсена. Это мне сказал Вова. Маня хочет во что бы то ни стало быть действующим лицом у Ибсена. Есть такой драматург. Я видела его портрет в «Ниве», и почему-то мне вспомнился господин из дома на Ришельевской угол Троицкой, где магазин Елика. У господина такая же благообразная голова и ровно столько же седины, сколько у Ибсена. Сын артиста думает, что он вылитый Пушкин. «То же издание, но на веленевой бумаге». Этим он хочет сказать, что Пушкин не выдерживает с ним сравнения. Сын артиста думает, что он во много раз красивее, и, все-таки, в нем есть нечто пушкинское. Но Вова не заметил печати гения на его челе, и я тоже не заметила. Кто знает, может быть мы недостаточно наблюдательны.

Я рассматриваю гостей и нахожу, что некоторые из них похожи на животных или на насекомых. Муж

мадам Немировой — паучок. У него паучий животик и рыжие глаза. А сестра жены Тубенкопфа — форменная обезьяна, нехватает только цепочки. Сама Тубенкопфша похожа скорей на опечаленную болонку в увеличенном размере. Но сравнения мне тут же надоедают. Что со мной, я теряю драгоценное время! А гости уже разбились на группы и переходят с места на место. Мой доктор приехал минуту тому назад. Он бросил своих пациентов, чтобы побыть с нами. Они ведь привыкли ждать. Когда гостиная и коридор переполнены, пациенты выходят на площадку лестницы. Некоторые садятся на ступеньки, я сама видела. Раз они уже дорвались до этого чудного необыкновенного доктора, они не уйдут. И если нужно будет, просидят хоть до завтрашнего утра. У доктора спокойное и веселое лицо. Нет, он не торопится. Как я завидую его спокойствию! Если б меня ждали пациенты, я была бы, как на горячих угольях. Доктор ищет меня глазами, а когда находит, делает мне знак, как будто просит подойти. Мне следовало бы броситься к нему, но я подхожу медленно, с достоинством. Он кладет мне на плечо свою твердую, горячую руку. В душе я торжествую. Как должна беситься тетя Саша, на нее он даже не посмотрел. Но я не хотела бы злорадствовать. Я наведу на нее разговор... Доктор и слышать не хочет: к чему Саши и Паши, когда у него есть Надюша. Я знаю, что он шутит, но от этой шутки становится так легко, что я могла бы подняться на воздух, как под мамины «Волны Дуная» или вальс из Гейши.

Хорошо, что нет Аси. Она преследует меня за мои увлечения. Ася уверена, что увлекаться можно только учителями и то, начиная с четвертого класса. Все это для старшеклассниц. Они могут пойти к преподавателю на дом, конечно, если он живет с мамой или с сестрами, и рассуждать там о разных проблемах,

нам еще недоступных. Ну, это как кому! Асе не снится, что я знаю проблему пола. Самую неприличную из всех проблем. Из-за нее Матя окончательно разошлась с Герасимом и при одном упоминании о нем — краснеет, как пион. Грудь ее вздымается и я думаю, что она пробьет лифчик.

Ася видела собственными глазами, как семиклассница Эсперанса притиснула к стенке учителя словесности и тот никак не мог сбежать. Она спрашивала: «Иван Семенович, скажите, чем жить?». Учитель что-то бормотал, но Эсперансу это не удовлетворило, она продолжала наступать на него и если б не начальница, Бог знает, как бы это кончилось. С какой стати бедный Иван Семенович должен отвечать на щекотливые вопросы? Это ведь не его обязанность. И потом, рядом с Эсперансой, он выглядит, как несовершеннолетний. У нее бретели каждую минуту могут лопнуть. Вова знает ее по Скетинг-рингу. Он сказал, что Эсперанса — мастодонт и способна родить гусара в полной форме. И все-таки ни Эсперанса, ни лисичка-сестричка из шестого класса не заставят меня отречься от доктора.

Я отлично скрываю мое чувство. Хотя, многие почему-то догадались. А Яков Соломонович мне подмигнул! Он разделяет мои переживания. Пусть подмигивает, только бы меня не дразнили. Я не хочу стать «сказкой города», какой была кузина Маня, когда влюбилась в офицера. Еще больней мне будет, если все это примут, как шутку: «Помилуйте, Надюша любит только маму, папу и своих кукол...» Не могу же я ответить всем непрошенным защитникам, что я любила только ватную куклу с фарфоровой трехкопеечной головой. А папа и мама — это для меня самое дорогое и прошу об этом вскользь не говорить. Но почему они ничего не сказали о Вове? Он не только мой любимый брат, он мой единствен-

ный авторитет. Сейчас он ухаживает на Сонечкой. Она приходится родственницей архитектору и ее приводят к нам на все торжества. Авось Сонечка встретит там подходящего молодого человека. Это длится уже несколько лет, но Сонечка, как видно, никого пока не встретила. Архитектор и тетя Лиля не теряют надежды. Особенно тетя Лиля. Она действует по способу внушения. Сонечке она внушает: «Улыбайся, будь милой, старайся нравиться!». А неженатым мужчинам: «Чего вы смотрите по сторонам? Лучшей подруги жизни, чем моя Сонечка, не найдете!». Внушение не действует. Сонечка улыбается, растерянно и немножко глупо, но никто с ней не заговаривает.

Тете Лиле хорошо было бы взять несколько уроков у Вовы и сына артиста. По их словам они могут загипнотизировать слона. Очень сомневаюсь, но так как в это замешан мой брат, я молчу. А вдруг они на самом деле прямые наследники гипнотизера Фельдмана? О нем мне рассказывал папа, и я так привыкла к нему, что в глубине души считаю Фельдмана членом семьи. У меня к сожалению нет гипнотизерского дара. Стоит мне посмотреть на кого-нибудь в упор, как то лицо немедленно отворачивается. А когда я мысленно внушаю Надежде Игнатьевне, чтоб она обо мне забыла, ничего не получается. Надежда Игнатьевна рыщет глазами по классному журналу и тут же меня вызывает. На месте тети Лили я постаралась бы воздействовать на женихов другим способом.

53.

Сейчас должен наступить главный момент торжества. Ждут только дедушку с Пушкинской улицы. Ему нездоровится, но он все-таки решил придти. Ему трудно подняться по лестнице, ну так что ж, пусть его понесут. В такой день он должен быть с нами. Наконец, дверь широко распахивается и входит дедушка. Его ведут папа и бухгалтер Миша с черной бородой. Дедушка идет маленькими шажками. На нем парадный сюртук и видно, как он стал для него велик. Вчера на Пушкинской я не заметила, что у дедушки появились новые морщины, наверное, от сильного малокровия. Не понимаю, почему доктор не прописывает ему железо и мышьяк. А может быть это не малокровие, а более страшная болезнь. О ней говорят шопотом.

Когда меня спрашивают: «Как поживает дедушка?» — я отвечаю, что он скоро поправится. Я не уверена, что это будет так скоро: надо запастись терпением. А где его набрать? Я хочу, чтоб он поправился сейчас же, у всех на глазах. Я ненавижу терпение. Когда-то у меня в углу над умывальником висело полотенце и на нем мелким крестиком было вышито: «Терпение и труд — все перетрут»... Полотенца этого я боялась, оно было мне неприятно. Странно, но дедушка, как будто, помолодел. Он на-

поминает очень старого мальчика из книги «Семь мудрых школяров».

Гости расступились. Дедушка идет прямо к своему любимому месту за пальмой с подвязанным листом, и все по очереди подходят к нему здороваться. Первым бросается Тубенкопф. Он хочет повсюду быть первым. Его задача опередить всех. Во всей его фигуре преданность и восторг. Но я вижу, как Вова толкнул близнецов. Он, наверное, шепчет им что-то весьма нелестное по адресу этого старого паяца. Между собой они называют его по-другому. Вместо головы они приставляют к его имени другую часть тела и получается сплошное неприличие. Я его не произнесу даже в том случае, если мне пообещают все, что угодно, например, полное собрание сочинений Элизы Ожешко. А они говорят об этом легко и непринужденно.

За Тубенкопфом, как молодая лошадка, гарцует фотограф. Он хочет показать, что он с нами в родстве. Но дедушка ему подает полпальца. Он не признает фотографов. Самым большим успехом пользуется мой доктор. Я чувствую, что дедушка хотел бы его о чем-то спросить, но не решается. Доктор наклонился над ним, как взрослые над маленьким ребенком, и дедушка вдруг начинает улыбаться. Боже мой, как мне его жалко! Когда он хмурился, я его меньше жалела. Я даже была на него немножко сердита за то, что он огрызнулся на фотографа. Если сейчас не заиграет музыка или меня не уведут в другую комнату. я, кажется, расплачусь. Но, к счастью, меня зовут! Это Матя. Она в коридоре за портьерой. Матя говорит, что лучше нам с ней пойти на кухню. Я всегда готова идти на кухню, но боюсь, что меня оттуда погонят. Матю гнать не будут, она — взрослая, и ее поэтому вежливо попросят уйти. Матя не боится: в крайнем случае мы постоим в коридор-

чике между кухней и ванной комнатой. К нам присоединяется кузина Маня, она тоже хочет постоять в коридорчике. К Мане присоединилась жена Абрамского, очень нервная особа. Она сообщает всем и каждому, что находится в интересном положении. Это значит, что Абрамские ждут ребенка. Маня морщится, она терпеть не может разговоров о прибавлении семейства. Любовь должна быть идеальной, возвышенной. А пеленки и свивальники, как ей все это чуждо! Но жене Абрамского во что бы то ни стало надо высказаться. Сам Абрамский отмахнулся от нее, как от осенней мухи. Я думаю, он жалеет, что привел ее к нам. Она ведь не так элегантна, как тетя Лиля и у нее нет такого чудного девического румянца, как у Сонечки. Нет даже брошки, как у мадам Тубенкопф и у асиной мамы. Но в этом виноват Абрамский. Вместо того, чтоб покупать себе воротнички Мей и Эдлих, он мог бы купить ей брошку-мозаику из чудных голубых камешков.

Я не совсем понимаю, почему мы стоим в коридорчике. Там очень тесно и пахнет рыбой и миндальными рогаликами. Но Матя крепко держит меня за руку. «Сейчас, сейчас, это одна минута, не больше». Какая я недогадливая! Разве я не понимаю, что Мише делают обрезание, и он может расплакаться или раскричаться. У Мати большой опыт, недаром она затыкает уши. Но я их не затыкаю, мне хочется знать, что будет дальше. Ничего особенного не случается. Слышен слабый писк, это Миша. Я узнаю его голос. А мы все стоим. Но вот по длинному коридору, где я обычно катаюсь на роликах, пробежал главный лакей. Вырываю свою руку и со всех ног мчусь в гостиную. Там опять разбились на группы. А Вова и его товарищи ходят взад и вперед, как полноправные члены общества. Вова считает, что он не хуже всех остальных. Он уж достиг религиозного

совершеннолетия, а близнецы и подавно. Хотя у них это не праздновалось. Их папаша не любит выбрасывать деньги. А сын артиста, вообще, неверующий и вырос среди неверующих. Тем не менее, когда нужно было, он пошел за фуражкой и что-то бормотал. Ему вовсе не полагалось молиться. Вова говорит, что он так вошел в свою роль, что переусердствовал. Если б он очутился в Индии или у папуасов, то и там проделал бы все, что полагается. Вова говорит, что это особая способность, и она бывает не только у четвероногих, а даже у цветов.

Я тоже умею перевоплощаться, но не с такой быстротой и ловкостью, как сын артиста. Сейчас он решил разыгрывать Тубенкопфа. Он спрашивает его мнение о некоторых знаменитых адвокатах. Тубенкопф их называет: коллеги. Коллега Карабчевский, коллега Плевако... Хотела бы я послушать, что сказал бы Плевако, если б услышал, как Тубенкопф зовет его коллегой. Он раздавил бы его своим презрением. Сын артиста говорит о судопроизводстве. Откуда он выкопал это слово? Наверное, из какой-нибудь пьесы. Но слышно уже, как звякнули рюмки, передвигают посуду. И сын артиста и Вова забывают Тубенкопфа, судопроизводство и все остальные производства... Они настораживаются. А я довольно равнодушна к угощению. Во-первых, я уже подкрепилась на кухне, а во-вторых, у меня от волнения пропал аппетит. Мне не хочется показать себя обжорой. Я буду неземной, воздушной. Но доктор крепко берет меня за руку: «Что ж, Надюша, приступим...» От воздушности не остается и следа. Я готова немедленно приступить, лишь бы он был рядом со мной. Но появляется тетя Лиля в платье с воображаемым треном и тут же подсовывает ему Сонечку.

Боже мой, он разговаривает с этой румяной балдой, как будто они век были знакомы! О чем же он

с ней может говорить? Сонечка даже не кончила зубоврачебной школы. В медицине она ничего не смыслит и не может отличить иода от карболки. Я преувеличиваю, и мне самой неловко. Но как с собой справиться: сначала тетя Саша, теперь эта Сонечка. У меня слишком много соперниц.

Проскальзываю в спальню. Вокруг маминой постели — дамы. Они хотят знать все детали. Ах, они так счастливы! Но по какой причине? Как можно восхищаться всем решительно: голубым стеганым одеялом, новыми ковриками, лампой-фонарем на потолке. Тем более, что в их спальнях тоже стеганые одеяла и лампы, вроде фонаря. А кровати дубовые, с листьями и желудями. На них можно повесить часы или подтяжки. Но подтяжки — это не совсем прилично. Мама начинает умолять дам, чтоб они пошли в столовую. Они долго жеманятся и в конце концов уходят. Тогда становится тихо. Слышно, как тикает будильник. Мама закрыла глаза, у нее синие веки. Нет, она не огорчена, она счастлива. По-видимому от счастья тоже устают. Мне кажется, я не могла бы быть счастливой двадцать четыре часа в сутки, хотя в моем возрасте так полагается. У меня ведь нет серьезных обязанностей и настоящих огорчений!

Наша начальница была бы вне себя от возмущения. Как это нет обязанностей! У нас одни только обязанности и если окружающим они не кажутся серьезными — тем хуже для них. Иногда я чувствую себя счастливой, но быстро спохватываюсь. Вокруг столько горя, все страдают — рабочие, крестьяне, еврейский народ, разные личности в отдельности: мадам Тубенкопф, бедняжка Куцис, моя подруга Васса... Я могла бы составить длинный список. Но от этого горя не убавится. Вова со мной несогласен. На жизнь надо смотреть философски. Он советует мне не быть плакальщицей, это может вредно отра-

зиться на моей будущей жизни. Ему легко говорить, с мужчин все, как с гуся вода. Это мнение тети Иды. Но может быть она его переменила? Не знаю, у нас она теперь не бывает. Тетя Ида обижена на дедушку, он ее отстранил. Она, ее дети и даже внук с заячьей губой могут погибнуть, дедушка и пальцем не двинет.

Она неправа. Дедушка все для них делал, но неохотно. Сейчас он в кресле во главе стола бесшумно что-то жует, но это от слабости. А я думала он останется таким, как был маленьким, быстро семенящим старичком, с насмешливыми глазами. Хармак тоже старенький, а у него нет такой черноты вокруг рта. Мое праздничное настроение улетучивается. Я хотела бы, чтоб все разошлись по домам. До этого далеко. Гости не собираются уходить. Им очень приятно и весело. Они совсем забывают, что пришли ради Миши. О нем уже все отговорили. А коляску увезли в детскую, к мамке-Аксюте. Я заглянула туда и чуть не умерла от страха. Аксюта, молчаливая Аксюта вдруг заговорила. Она обращалась, как будто к Мише, но на самом деле она бросала слова в пространство: «Ах, бедный ты мой, и что они с тобой сделали!». Она говорила «исделали»... И тут мне пришло в голову, что исделали — больше, чем просто «сделали»... Значит, Аксюта полюбила Мишу. Она перенесла на него всю свою материнскую любовь. Но возможно, что это я прочла в приложении к «Ниве»... Я читаю слишком много романов. А так как это проделывается тайком от всех, то я не имею возможности, как следует их продумать.

А вот близнецы не продумывают, они переваривают. Книгу надо переварить. На все они смотрят с точки зрения дуварджогловской халвы и колбас от Чудновского. И все-таки, Вова сделал их своими лучшими друзьями. Они сумели его обойти. Сын арти-

ста мне больше нравится. У него есть воображение. Ему ничего не стоит превратить любую комнату с ободранными обоями в аравийский шатер, а нашу мадмазель в даму от Максима. По его словам такие дамы ведут себя вызывающе, и в Париже это никого не удивляет. Я хочу вступиться за мадмазель, но сын артиста машет рукой: «Не надо, не надо!..». Тогда пусть он расскажет что-нибудь про меня или про Асю. Но он не торопится. Пройдет несколько лет, и тогда он пофантазирует... Попрошу его, чтоб он рассказал мне, как было на мишином обрезании. Ведь он все видит по-своему. Теперь он пристал к бедному фотографу и дает ему советы. Фотограф очень доверчивый, ему кажется, что он имеет дело с влиятельной персоной, тем более, что сын артиста намекнул на то, что в театре он—царь и бог. Как это ни маловероятно, фотограф ему доверяет. Он не может себе представить, чтоб в нашем доме говорили неправду или хвастались. Но тут не ложь и не хвастовство: сын артиста твердо верит в свои слова и, вероятно, удивился бы, если б его вздумали уличить во лжи.

Напоследок я вспоминаю, что совсем не видела Ланю. К моему стыду я о нем забыла. Он смело мог обидеться и уйти на старую квартиру, к бабушке. Впрочем, это невозможно: ланину бабушку усадили на видное место, спиной к буфету и она ест деликатно, отставляя мизинец. Прежде у нее были замечательные красивые руки. Теперь они немного искривились и ей приходится носить митенки. Но какие митенки, они из тончайшего кружева и куплены у самого Альшванга! Когда это было, бабушка не сказала, но я считаю, что довольно давно: митенки заштопаны, и штопка выглядит куда лучше, чем кружево. Это артистическая работа. Если б я умела так

штопать, меня бы все уважали. Но моя штопка простая, деревенская. Ее нужно прятать.

Присутствие бабушки меня сразу успокаивает. Я знаю, что перед уходом она запирает дверь на два ключа: простой и английский. Даже воры с трудом могли бы проникнуть к ней в квартиру. Но где Ланя? Я ищу его повсюду, а он сидит в проходной комнате, за печкой, так что видна только его коротко подстриженная голова, и с упоением читает толстую книгу. Конечно, это опять Дюма-отец. Как ему не стыдно уединяться! Дюма ведь не убежит. Ланя не вполне уверен. В библиотеке приказчиков евреев сто раз требовали, чтоб он вернул «Двадцать лет спустя». Это тянется около года и эфиопский молодой человек, теперь он уже не мальчик, остроумно сказал, что так может тянуться еще девятнадцать лет и тогда название романа будет вполне оправдано. Я думаю, что Ланя ушел от всех, потому что он застенчивый. От волнения руки его становятся потными, и он думает, что это страшный порок. Как я его ни убеждала, Ланя был безутешен. Нет, у него это хуже, чем у других. И во всем виноваты Кобеляки! В этом паршивом городишке у всех потели руки и Ланя заразился.

С каких пор Кобеляки стали паршивыми! Ведь он говорил о них так таинственно, что мне казалось: Кобеляки — дивное место, где много собак, лошадей, домиков с садочками. И в каждом растут подсолнухи. Кроме того, в прежних Кобеляках был иллюзион и там сверх программы танцевали малороссы в высоких шапках. Оказывается, это была выдумка. Ланя надеялся, что я не попаду в Кобеляки и правда никогда не откроется. Но она открылась и Кобеляки стали для меня таким же выдуманным городом, как Омск и Томск Мурзика, тонин знаменитый Кисловодск, где одни красавцы-военные или города, ку-

да ездил с труппой сын артиста. Более театральных мест нет ни в России, ни заграницей! Всю труппу носили на руках и сына артиста заодно со всеми.

Мне жалко, что я так мало расписывала мои поездки. Я могла бы сказать моим соученицам, что Николаев это маленький Париж. Ведь никто из них не был ни в Париже, ни в Николаеве. В следующий раз буду умнее. Но пока я ходила на поиски Лани и ссорилась с ним из-за Дюма-отца, гости начали расходиться. Некоторые со мной не попрощались. Я очень довольна. Не придется идти к себе, чтоб полотенцем сдирать с лица их поцелуи. Я предпочитаю тех, кто клюнул два раза в щеку и готово. Большинство целуется со смаком, как будто это удовольствие. Последние гости долго стоят у вешалки. Они никак не могут уйти. Наконец, дверь захлопывается и Вова и я говорим: «Уф!..». А взрослые, наоборот, полны переживаний. Я сужу по тому, как они подробно перечисляют всех, кто был и даже тех, кто послал телеграмму. Иногородние и городские телеграммы лежат тут же, на блюде. Дедушка еще у нас, он интересуется, сколько было телеграмм. Цветы в корзинах немного поблекли. Они уже не такие нарядные, как в тот момент, когда их принесли с черного хода. Все это немного грустно. И почти все съедено, даже кондитерские торты, кроме фруктового. Он не пользуется успехом. Не только гости, но и близнецы его не едят. Они налегают на шоколадный или, в крайнем случае, на кофейный.

Но когда от шоколадного торта остается немного начинки, размазанной по бумажной салфеточке, они могут перейти и на другой. Близнецы всеядные, не то, что Вова. Мне было бы неприятно иметь всеядных друзей. У моих вкус более изысканный, и они не такие обжоры. Я знаю, что нехорошо смотреть людям в рот. Но тут ведь настоящий фокус-покус:

все исчезает с молниеносной быстротой, а на тарелке никаких следов. Впрочем, я рада, что они все подъели, как говорит сын артиста. Я хотела бы забыть, что существуют штруделя и фаршированные рыбы, и завтра на обед могут подать остатки: разные кусочки, слегка засохшие. Мы не любим остатков, но если Гене приспичит, она это сделает. Она пользуется тем, что мама лежит, а хозяйство на руках у Мати и та до сих пор не пришла в себя от важности. Чтоб придать своим поступкам больше веса, Матя все время ищет ключи. Хорошие хозяйки всегда ищут ключи, это написано черным по белому.

Нет, я Мате не завидую, ее царство скоро кончится. Я вдруг вспомнила, что завтра обыкновенный будний день, с уроками, гимназией и даже Хейфецом, с его спряжениями, выписанными удивительно круглым почерком. Нужно проставить окончания и дело с концом. К сожалению от мадам Тюрбо так легко не отделаешься. Она помешалась на неправильных глаголах. С меня хватит и правильных. Неправильные могут потерпеть. Мадмазель немного смущена. Я завела с ней разговор о глаголах и вдруг мне стало ясно, что у них в Гренобле не проходили неправильных глаголов. Ученики мадмазель могут довольствоваться теми песнями, что пели у них в школе. Некоторым из них научил ее брат, месье Филипп. У этих песен странное содержание, но мы их пели и ни с кем ничего не случилось. Зато, как шла Филиппу военная форма! Он в ней просто красавчик! Мадмазель не может достаточно навосхищаться его кепи. А какие у него были усики! Немудрено, что Филипп чуть не стал женихом племянницы помощника префекта. Но знал ли он грамматику? Об этом неудобно спрашивать.

Мадмазель не питает симпатии к мадам Тюрбо, а если б они познакомились, было бы совсем плохо:

мадам Тюрбо не признает домашних учительниц и гувернанток. Она оборвала дочку доктора, когда та начала говорить, что ее первым языком был французский... «От этого не осталось никаких следов, потому что ее учили гувернантки». Мадам Тюрбо клевещет на гувернанток и в том числе на нашу мадмазель. Вова находит, что в ней есть аллюр. Тогда он еще не знал, что мадмазель превратится в горбатенькую полуслепую старушку, и он будет гулять с ней под ручку по улицам швейцарского городка, где ее знают все жители и все собаки. В моем мозгу мадмазель и мадам Тюрбо ведут нескончаемый спор. Последнее слово за мадам Тюрбо, она ведь учительница гимназии, и ее муж с треугольной лысиной преподает в старших классах. А у мадмазель нет мужа, только эксженихи...

Самое неприятное, что завтра первый урок — английский и нельзя опоздать ни на секунду: начальница вкатывается в класс вместе со звонком. Она сразу же открывает свой собственный учебник, где говорится, о том, как и чем пахнут розы и что за болезнь у кузины Мод или Элси. Зависит от номера упражнения. Я хотела рассмешить Вову, но он даже не улыбнулся. Это ничто по сравнению с Марго, учебником французского языка. Он способен поднять покойника со смертного одра. Когда у Вовы плохое настроение, он читает Марго. Но почему бы составителям учебников не поговорить о более простых вещах, например, о падающих звездах или о человеческой несправедливости? Вова советует обратиться с этим предложением к Попечителю одесского учебного округа. Конечно, он следует всей душой за Марго. Ему нужны розы, овечка сестры Мэри и флигель двоюродного дедушки... Тут Вова предлагает мне не быть такой напыщенной. Никто не поверит, что я говорю всерьез о звездах и справедли-

вости. Подумают, что я заливаю, то есть вру или выламываюсь. А это ставит меня в один ряд с дочкой доктора, Калей Зандберг и самой Сахно, нашей будущей знаменитостью. Все эти особы крайне антипатичны, особенно Сахно. С Калей я примирилась после того, как она вдруг расплакалась, без объяснения причин. Значит, она несчастна, но скрывала из гордости. А Сахно все время делает гримасы. От них ее надутое лицо должно стать овальным и выразительным. Но оно остается плоским, как блин.

Мара гораздо интереснее. Ее седая прядь всегда вызывала у меня чувство зависти. Хорошо Маре, что она седая от рождения, а мне придется ждать, Бог знает, сколько времени, пока поседею. Матя сердится и требует, чтоб я не говорила глупостей! Седые волосы настоящая катастрофа! Если с ней такое случится, она будет красить их в какой угодно цвет, лишь бы не выглядеть пожилой почтенной дамой. Но у Мары особенная седина, наследственная. В их семье у всех седые пряди. Нос у них тоже наследственный. Вообще, Мара очень высоко ставит свою семью. Почти, как Ася. Но марин отец постоянно разъезжает, а асин — торчит дома. В последний раз он приглашал меня в спальню. Он должен со мной поговорить о чем-то важном. И я могу сесть на его кровать. Но я сделала вид, что не слышу. А потом Вова вызвал меня по телефону и сказал, чтоб я скорей возвращалась: идет совещание по поводу журнала. Что за чудеса! Близнецы согласились, чтоб я присутствовала на редакционном собрании. Этот телефонный звонок меня спас. Вова все делает вовремя. Он почувствовал, что я хочу выкрутиться и не идти в спальню. Это была передача мыслей на расстоянии. Ланя безумно увлечен передачей. Со Спиридоновской, от бабушки, он посылает мне разные мысли, и ни одна еще не дошла по назначению. У него мало

опыта. Но со временем он так насобачится, что сумеет выступать в цирке или в Русском театре и может быть его пригласят в турне по городам. Я знаю, что он, как всегда, думает о том, чтоб попасть в Полтаву. Там на столбах будут вывешены огромные афиши с его именем и отец чуть с ума не сойдет.

Когда я бежала от Аси к себе домой, мне казалось, что Вова вытягивал меня из воды. Дома я, как в крепости, никто не посмеет ущипнуть мою ногу выше колена, с тем, что я должна молчать, иначе Ася будет несчастна и никогда мне не простит... Все равно, виновата буду я, ее папа чист, как стеклышко. Он способен только на прекрасные, великодушные поступки. Как бы не так! Она не знает, что все благородство на моей стороне, а на его — одна мерзость. Он тот самый соблазнитель из «Одесских Новостей», у него такие же усы, как у соблазнителя. Но он, пожалуй, еще противнее. Он притворяется так умело, что многие принимают его слова за чистую монету. Асин папа, когда он не в большом проигрыше, говорит о долге и о любви к ближнему, а я отворачиваюсь. Мне противно смотреть на его невыспавшиеся глаза и на красную ложбинку от пенсне. Асе эта ложбинка кажется признаком особой интеллигентности. Она мне раз ехидно сказала, что ее удивляет, почему мой папа не носит пенсне. Посмотрим, что она завтра запоет. Она на меня и так дуется: я ее не пригласила. Но это ж не мой день рождения! Мне никто не поручал ее пригласить. Вовины товарищи — другое дело. Они мужчины и могут пригодиться, если не будет десятого. Без этого нельзя совершать религиозные обряды. Так мне сказал дядя. Когда нехватает десятого, он готов бежать хоть на окраину города, потому что этим он делает богоугодное дело. У него таких богоугодных дел за день накапливается целая куча, а толку никакого.

Бог, вероятно, не видит его усилий. Вова утверждает, что дядя прирожденный неудачник и настолько к этому привык, что был бы поражен, если б колесо фортуны повернулось в его сторону.

С тех пор, как Вова стал редактором, он выражается намного более туманно, чем прежде. Близнецы считают, что с выходом первого номера, он опять станет, как все. С этим я не могу согласиться: таким, как все, он стать не может. И не потому что я к нему пристрастна. Это находят даже его соученики. А они совсем не комплиментщики, среди них есть немало жлобов. Это не очень-то приличное слово, но без него трудно обойтись. Несомненно Андрокардато — парень не жлоб! Так о нем говорят все решительно. Андрокардато я давно не видела. Он обижен. Их класс ставит пьесу Мольера: «Тартюф» и Андрокардато не дали роли. Тартюфа, конечно, играет сын артиста. Вова сказал, что эта роль ему подходит, как перчатка. У Вовы тоже большая роль. Иногда со сна я слышу, как он повторяет: «Красавиц много в мире нашем, но непорочной красоты...» Дальше идет бормотание. Ничего, меня возьмут на спектакль и там я все как следует быть услышу. Только бы в последний момент не раздумали. Может случиться, что я заболею, у меня привычка болеть некстати. Но я приму меры: буду застегивать пальто на все пуговицы, а лужи обходить за три квартала. Мне необходимо посмотреть «Тартюфа». Если не удастся, я с горя перестану готовить уроки.

Но не стоит давать волю воображению. Если б Боря Гаевский мог читать мысли, он сказал бы, что я впадаю в детство. Боря забывает, что для этого надо сначала состариться. Говорят, например, что бабушка Аси впала в детство. Она засыпает среди обеда, а потом вдруг просыпается, и как ни в чем не бывало начинает рассказывать о мельницах своего

покойного дяди и о том, как она выходила замуж. На свадьбе танцевали все жители местечка. Все кроме одной, более богатой, но менее красивой, чем асина бабушка. А как они плакали, когда ее венчали... При одном воспоминании слезы бегут по бабушкиным щекам и до конца не добегают. Где-то в морщинах они теряются. Странно, бабушка забыла, что с тех пор прошло пятьдесят лет. Это невероятно. Таких сроков не бывает. А бабушка ходит в гости и ее всегда пропускают вперед, а за ней остальное семейство, включая моего врага, тетю Сашу.

Но я слишком увлеклась родственниками. Уже в постели вспоминаю, что я плохо попрощалась с мамой. Я не поцеловала ее как надо. Поцелуй скользнул по маминым волосам и она его даже не почувствовала. Мама может подумать, что я к ней охладела. Сначала мне действительно было неприятно, что ее любовь делится не на три, а на четыре части. Но я сама полюбила Мишу: он безобидный. Не то, что брат дочки доктора: у того, в четыре месяца прорезались передние зубы, а первым словом его было не «мама» а «огурец». Когда мы пристали к дочке доктора, она начала выкручиваться: это был не «огурец» а «огурц»! Но ясно, что он хотел сказать огурец.

Васса видела ее брата, это самый обыкновенный сосунок, и когда он подрастет, его будут кормить кашей геркулес и по утрам давать ему фосфаты. Как Васса его ни подбивала, он не вымолвил ни единого слова. Даже гении, вроде Пушкина, в четыре месяца не разговаривали... Я его не обвиняю в том, что он издает какие-то странные звуки, мне обидно, что я чуть не попалась на удочку. Чем грубей врет дочка доктора, тем больше ей верят. В последний раз она рассказала, что один пациент прислал им настоящего

ангела. И не из какого-нибудь одесского мрамора, а из каррарского. Кто-то спросил, какой он величины? На это она ответила, что ангел сделан в натуральную величину. Но какая его натуральная величина? Может быть он ростом с Дюймовочку из сказки Андерсена? Они продавались у Александровского, с маленькими крылышками. Теперь они мне кажутся немного смешными. Мое увлечение прошло. Я давно трачу все свои деньги на открытки. Недавно сын артиста за двадцать копеек переуступил мне целую серию оперных артисток. Они очень толстые, и у некоторых на голове серебряные или золотые каски. Есть артистка в большой шляпе. Это будто бы самая знаменитая Кармен. Она поет о любви. За нее сын артиста хотел получить от меня лишний гривенник, но я не согласилась. Пусть забирает свою Кармен! С меня достаточно Снегурочки в белоснежном сарафане. Когда она уходит из леса, все деревья кланяются в пояс.

Моя коллекция лежит на самом дне рыжего ранца. Завтра я попытаюсь обменять Шаляпина на валину маму или на артиста Варламова. Меняюсь я, главным образом, с Тоней Калиниченко. Тоня собирает драматических артистов, хотя в театр она ходит только раз или два в год, на самые классические утренники. Варламова она почему-то знает, у него живот, как огромное яйцо. Когда Варламов смеется, живот дрожит. Но сын артиста издевается надо мной: это не живот, а утроба и смех утробный.

Кроме безумно неприличной утробы бывает еще нутро. Но это вещь спорная. Вова по целым часам рассуждает с близнецами, есть ли у такого-то артиста нутро или это всего-навсего техника. Вова сторонник техники, а близнецы горой стоят за нутро. Затем является сын артиста и изрекает, что может быть и то, и другое. Но Вова не верит в его авто-

ритет. Он сам большой театрал и мог бы дать сыну артиста сто очков вперед. А вот матин бывший поклонник, артист на вторых ролях, не имеет ни того, ни другого. Я его видела на сцене и меня поразил его коротенький пиджак. Рукава кончались чуть пониже локтя. Матя сказала, что у него просто нет гардероба. Он не виноват, что провинциальные антрепренеры это—форменные акулы. Матя повторяет слова артиста на вторых ролях и поэтому я молчу. Спорить с ней бесполезно. Она будет так, как попугай, твердить одно и то же. С тех пор, как Матя пошла по контрамарке на странную пьесу «Овечий источник», ей кажется, что в театре она свой человек. Пусть думает, что она первая в нашей семье контрамарочница.

54.

Почему-то мне никак не удается заснуть. Я хожу по длинному фойе и считаю шаги. Если будет нечетное число, меня впустят. А если четное? Тогда я не попаду в зрительный зал, а там идет дивная пьеса из действительной жизни. Нет, кажется, это сон, я заснула, несмотря на бессонницу. Все длится одно мгновение и уже утро, пора вставать. Может быть нечаянно переставили часы, тут какая-то ошибка. Но я слышу, как скрипят юзины ботинки, кто-то чихнул. Сначала один раз, а потом много раз подряд. Значит, проснулся дядя. По утрам он всегда чихает. Спросонья надеваю чулок на левую сторону. Это неважно: дырка на обоих сторонах одинаковая. Вдруг отскакивает главная пуговица. Скорей, скорей, английскую булавку. Пока никто не смотрит можно довольно ловко прицепить штаны к лифчику. У нас в классе есть девочки более неаккуратные. Поцелуйкина сказала мне по секрету, что у нее все держится на булавках. Один раз булавка впилась в одно место, и она чуть не умерла от боли. Пришлось молчать и терпеть. Самая большая аккуратесса у нас Лида Родиопуло. Все ее бантики и воротнички в порядке, но зато она предпоследняя ученица. Последняя — Берта Креде. Она имеет конкурентку: ту самую, что верит в домового. Помимо домового у нее есть и другие странности. Она все должна начинать с начала. На-

дежда Игнатьевна говорит, что только набитые дуры танцуют от печки. А Берта Креде, когда ее вызывают к доске просто молчит. При этом у нее мирный и запуганный вид. Она какая-то затрушенная. Но стоит ей сесть на место, как она преображается. Опять у нее румянец во всю щеку и она вылитая кассирша от Фанкони.

Вова узнал, что одна из моих соучениц готовится в кассирши. Его это смешит. А я не нахожу ничего смешного в том, что Берта Креде имеет призвание. Но я боюсь, что у Фанкони ее долго не продержат. Она способна обсчитать любого. Васса думает, что это из хитрости, а я уверена, что Берта не осилила четырех правил арифметики. Когда при ней говорят о таблице умножения, она делает круглые глаза. Ее конкурентка Лида Радиопуло считает довольно бойко. А вот в диктовке у нее было сорок ошибок. Она даже обрадовалась: в прошлый раз она сделала, по меньшей мере, сорок пять. У Вовы в классе есть один малограмотный ученик, он член Союза русского народа. Это страшный союз: они хотят охранять царя посредством еврейских погромов. Но вовин соученик только хорохорится. Он попробовал заикнуться по поводу жидовского засилья и его в коридоре избили до полусмерти. В общем, это недоразвитый тип и будет лучше, если родители поместят его в другое училище. Андрокардато тоже порядочный тупица, но он симпатичный и ему охотно пишут сочинения. За это Андрокардато водит всех в кондитерскую Исаевича или к братьям Криади, где довольно большие, но грубоватые на вкус пирожные. У Исаевича они как воздух, и Андрокардато охотнее заворачивает к Криади. В этой кондитерской я никогда не была. Там в окне один и тот же торт с розовой глазурью и сахарными розами. А вокруг торта — серебряные пупочки. К сожалению, я почти каждый

день прохожу мимо этого торта. Не остановиться — трудно. У меня привычка прилипать ко всем окнам, даже к окну галантерейного магазина Борнштейна, хотя там, кроме катушек и портняжных ножниц, ничего нет.

Старуха Борнштейн терпеть не может детей. Они заслоняют весь вид. Если какая-нибудь дама захочет подойти к окну и посмотреть на новые вязальные спицы или на набор шелковых катушек, для нее не найдется самого маленького местечка... Но я с ней не считаюсь: витрина для всех! Мне тоже могут понравиться крючки и наперсток с чудным синим камушком... Но сильней всего меня притягивают шляпные и обувные магазины. Особенно обувные. Похоже на то, что желтые полуботинки на толстой подошве отвернулись от солидных ботинок с ушками. Им неловко, что они в одном окне. Лакированные дамские лодочки лезут вперед. Их купит расфуфыренная одесситка с изумительным высоким подъемом ноги! Я думала раньше, что подъем ничего общего с ногой не имеет и оказывается, села в лужу. Не только Матя, но и наши семиклассницы мечтают о подъеме.

Бюст в моде исключительно у дам. К учительницам это не относится. Надежда Игнатьевна и заведующая столовой носят тяжелые кофты, с воротничками и манжетами на пуговицах и их бюст лежит очень низко, почти на животе. Только у немки и мадам Тюрбо такие фигуры, как будто они спят в корсете. Каждая складочка, как приклеенная. Начальница тоже из породы тех, кто носит кофты. Как-то на пустом уроке она рассказала нам, что они из одного магазина на Дерибасовской улице. Но разве возможно, чтоб она покупала там, где все так элегантно! Я думала, что у нее есть маленькая старуха-швея в железных очках. Она приходит на примерку со своей

клеенчатой облезлой сумкой и дрожит, что начальница начнет ей читать нотации. А владелица магазина получила приз за красоту. Матя мечтает об этом магазине на Дерибасовской. Ей кажется, что если она купит там хоть самую ничтожную вещичку, на нее упадет тень от хозяйкиного приза. Она не понимает, как я могу восторгаться маниным пальто от портного Осетинского! Но я восторгаюсь не совсем искренно. Мне хочется доставить Мане удовольствие. У нее серенькая жизнь. И подумать, что все это из-за каких-то дурацких женихов. Я еще могу понять офицера, но доктора по сватовству я ей не прощаю. Вова сказал, что у него порядочное брюшко, а после его ухода в гостиной спешно открывали окна, потому что он все прованивал несвежим табаком. Яков Соломонович красивее доктора. Он носит белоснежные рубашки, а воротнички его светятся на расстоянии. По-моему он душится мужскими духами. Но возможно, что я к нему пристрастна. Мне все в нем нравится, даже воображаемые духи.

Манино пальто имеет длинную историю. Она целый год говорила о нем с мамой и советовалась со своей квартирной хозяйкой, противной, но чрезвычайно практичной особой. Мама уговаривала ее пойти к Трахтенбергу, где все первоклассное. Маня не решилась. Как она войдет в магазин Трахтенберга в своем потертом демисезонном пальтишке? С ней не захотят разговаривать, ее не будут обслуживать... Она рисовала такие мрачные картины, что я начала бояться магазина Трахтенберга. Потом Мане стало жалко, что она его раскритиковала, но гордость не позволила ей взять свои слова обратно. Она так долго с собой боролась, что чуть не заболела. И вот в одно утро квартирная хозяйка потащила ее к Осетинскому. Маня не сопротивлялась. Она покорно примерила все пальто. Остановились на рыжеватом с коричне-

вой вставкой. Вставку можно носить в холода, без нее пальто гораздо шикарнее. Квартирная хозяйка подсчитала, что они выходили из магазина ровно пять раз. А за ними Осетинский. Под конец у него ослабели ноги, и он послал вдогонку своего старшего приказчика. Осетинский клялся, что его разорили, раздели, а квартирная хозяйка думает, что он их надул. В общем, у Мани новенькое рыжее пальто со вставкой, и я при всяком удобном случае говорю ей, что такого нет даже у тети Лили, а она считает себя парижанкой. Мане очень приятны мои комплименты, но я вижу, что она сомневается: «Ах, если б пошли к Трахтенбергу!..». Но теперь поздно, дядя Авдей второй раз денег не пошлет! Он вроде Скупого рыцаря, а может быть и перещеголял его. Но я слышала, что дядя способен проиграть в винт целое состояние: сто рублей за одну ночь. Маня домой не вернется. Ее мало трогает, что их особняк на главной улице называют дворянским гнездом. Лучше ждать у моря погоды в Одессе, чем наслаждаться провинциальными красотами. Маня ненавидит провинцию. Если б от нее зависело, она сожгла бы все провинциальные города.

Я очень рада, что родилась в Одессе. Про меня будут говорить, что я настоящая одесситка, а не какая-нибудь несчастная провинциалка, попавшая туда по чистой случайности. И пусть Тоня Калиниченко не рассказывает мне, что она появилась на свет в Италии — завидовать я ей не буду. История ее рождения довольно запутанная, а у меня и у Вовы все ясно. Мы представители города, именуемого Южной Пальмирой, в отличие от Северной Пальмиры. Сейчас в нем нет ничего южного: окна замазаны и в них вата с кусочками гаруса. Его положили для красоты, хотя некоторые считают, что гарус — мещанство. Если послушать этих критиков, то все симпатичное ока-

жется мещанским. Недавно я узнала, что в мещанство входят и фикусы и пальмы в гостиной. Подумайте, пальмы, живые пальмы, мамина гордость, им тоже не по вкусу!

Вова не знает, как ему быть. Он не любит мещанства и в то же время боится впасть в снобизм. Близнецы объяснили мне, что быть снобом значит крутить носом и на все фыркать. В глубине души никто не желает быть снобом, но так полагается. Приходит момент, когда надо пересмотреть все ценности. Меня пугает, что близнецы вдруг заговорили со мной таким странным языком. Это не может хорошо кончиться! Тут какая-нибудь злостная западня. В нашей гимназии тоже есть снобы, например, Эсперанса или шестиклассница со змеиной головкой. Они никогда не смеются, а только загадочно улыбаются и нельзя понять, о чем они думают. Может быть, они пересматривают ценности. Нам до них далеко. Мы думаем о том, как бы не попасться на глаза начальницы. Не успеешь оглянуться, как она бежит по коридору и при этом раздвигает воздух двумя коротенькими ручками, как будто учится плавать на суше. Она кричит: Не толпитесь, не толпитесь! А в коридоре ни души, даже Вассе удалось прошмыгнуть в узенькую комнату, где наша лепка и разные штуки для рисования: орнаменты, гипсовые головы, кубы...

Меня это не касается: на уроке рисования я сижу, сложа руки. А предпоследняя ученица, Лида Родиопуло, рисует совсем неплохо. Художницей она стать не собирается, это занятие для голодранцев. Но учительница рисования считает себя художницей, а у нее толстое солидное лицо, и юбка закругляется спереди и сзади. Я спросила Вову, слышал ли он о такой художнице? «Нет, он понятия о ней не имеет». Он знает Заузе, Нилуса, Буковецкого, Кузнецова... Зна-

чит, это ее фантазия, Вова ведь бывает на всех выставках и его не проведешь. Наш класс тоже взяли на выставку, где была большая картина художника Репина: Пушкин на экзамене. Мне она не понравилась. На ней Пушкин рыжеватый шатен, а в моем воображении он самый жгучий из всех брюнетов. Моего Пушкина я никому не отдам и мне не хочется знать, каким он был на самом деле. Страшно неприятно открывать правду. Когда сын артиста сказал, что Пушкин был невысокого роста, я его чуть не съела. С каких пор он стал специалистом по Пушкину? Сын артиста ни капельки не смутился. Он пока не пушкинист, но со временем станет им. Ну, в этом я не уверена. Надо спросить покойного Пушкина. И что за глупая специальность разрушать легенды. Я люблю также, что родилось в моей голове или то, что еще не случилось. Мне нравится ожидание. Конечно, не ожидание в магазине Чудновского, где насилу до меня доходит очередь, а ожидание прекрасных событий, или какой-нибудь радости. Но вот она наступает и видишь, что никакой радости нет!

Один человек на свете знает, что я философствую: это Ася. В последний раз я ее так заговорила, что она начала дико смеяться и требовать, чтоб я замолчала. Лучше купим на две копейки каштанов и присядем на минутку возле кефирного заведения. Но я не хочу присесть: выйдет мадам Гринберг и станет спрашивать, почему я охладела к их чудному, замечательному кефиру. Она подскочила бы до потолка, если б узнала, что я ненавижу кефир. Я пью его, как лекарство, и при этом мысленно затыкаю нос. Бутылка становится известковой и непонятно, выпила ли я все или есть еще добрая половина. Мадам Гринберг рассказала Вове, что на доход с кефира живут: она, ее муж, трое детей, старики родители и один пра-

дедушка. Но грек, что продает лимонки и косхалву, тоже имеет детей и может быть они учатся в гимназии, а он по копейке собирает плату за правоучение. Но возможно, что дети его попрошайничают и по вечерам он отнимает у них стертые пятаки.

Сегодня по дороге в гимназию я думала о тех, кто не получает образования. Счастливее ли они меня или несчастнее? У них нет обязательств, но зато их никогда не примут в Университет и на Высшие Женские Курсы. А я, наверное, буду курсисткой — меня ничто не спасет. Еще в прошлом году мама и папа говорили обо мне с одним профессором юридического факультета. Профессор настаивает на том, чтоб я стала юристом. Ну, я надеюсь, что он обо мне забудет, только бы ему не напоминали. Вова говорит, что все эти факультеты — жениховские. Стоит кому-нибудь молодчику появиться на горизонте, как Маши, Нюши, вмиг забывают Римское право...

В гимназии меня ждало разочарование: никто не заметил моего отсутствия. Меня забыли спросить, почему я пропустила. Ася встретила меня, как первую попавшуюся девочку из их двора. О том, как было на обрезании, она знает от своей мамы, тети Полины. Васса не пришла в класс: ей делают сегодня операцию в носоглотке. Интересно, даст ли приемная мать мороженое, как полагается в таких случаях, или будет говорить, что это распущенность. Она не знает, что мы с Вассой уже ели мороженое в паштетной. На нас смотрели немного косо, но мы не обратили на это никакого внимания. Нигде не сказано, что запрещено учащимся покупать мороженое. Тем более, что мы не заняли ничьего места, мы ели стоя, так гораздо вкуснее.

Самое вкусное — есть на ходу. Лучше всего выбирать боковые улицы, где меньше прохожих. Они не раз проезжались на мой счет, хотя их это абсо-

лютно не касается. Я ведь не вмешиваюсь в их личную жизнь. Однажды со мной произошла очень неприятная история: на большой перемене я тихонько вышла из ворот и побежала в угловой магазинчик восточных сладостей. В кошельке у меня было семнадцать копеек. Ася, я и Топсик решили в складчину скупить полмагазина... Но у самой лавочки кто-то схватил меня за полу: Надежда Игнатьевна! От возмущения она даже посинела. Все произошло так быстро, что я не успела ничего сочинить. Я только пробормотала, что страшно сожалею. Надежда Игнатьевна посмотрела на меня сверху вниз. Она не верит в мое раскаяние. Я сама в него не верю, но у меня нет другого выхода. Вместо того, чтоб бежать без оглядки, я должна была идти мелкими шажками и слушать всякие нелестные вещи. Когда мы дошли до ворот, я была уже отпетой личностью. На этом Надежда Игнатьевна меня отпустила.

Я не сомневалась, что она первым долгом пойдет к начальнице и потом, в учительской, все будут громко меня осуждать. Но она никуда не пошла. А перед началом урока она неожиданно улыбнулась мне милой заговорщицкой улыбкой. Я вспомнила рассказ Надежды Игнатьевны о том, как когда-то, в Петербурге, она покупала мороженые яблоки. И как это было вкусно. И тогда я поняла, что она отчитывала меня, потому что она преподавательница, а я ученица второго класса. В действительности, она думала о мороженых яблоках. Они пахли клюквой и еще чем-то вкусным и ледяным. Топсик и Ася весь урок просидели, как на иголках. Они боялись, что по их виноватому выражению лица Надежда Игнатьевна догадается, что они участницы складчины. Боже, какие трусихи! Топсика я еще понимаю, она маленькая и кажется, что ее косточки сейчас хрустнут и сломаются. Но Ася выше меня и ей нечего опасаться:

ни один волос не упадет с ее драгоценной головы. Она боится из принципа. Ученица второго класса должна бояться. Она забыла наши разговоры. Я сталкивала ее на мостовую, и мы рассуждали о том, как хорошо быть героем. Тогда, я помню, Ася говорила, что есть герои и героини исторические, им ставят памятники и другие — незаметные, вроде ее тети Ивси. У них в семье думают, что она героиня. Фабрикант кожаных изделий издевается над ней и приводит в дом незнакомых женщин, а она все терпит. Мне такое геройство не по душе. Я сказала Асе, что на месте тети Ивси я бы прикончила этого паршивого фабриканта и бежала в Южную или, еще лучше, в Северную Америку, куда удирают от воинской повинности.

Конечно, едет всякий сброд. Дети из порядочных семейств сидят там, где сидели, а именно при своих родителях. Дядя считает сбродом всех, кто занимается ремеслом. Недаром Вова прозвал его чудовищным ретроградом. Мы кипим, особенно я. Но спорить с дядей мне не хочется: он может вытянуть из нас душу. Когда я рассказываю о моих соученицах, он всегда переспрашивает фамилию и адрес. Ему нужно знать, не родственники ли они богачей таких-то? Дядя очень доволен, что вместе с Матей учится мадмазель Ашкенази. Дяде приятно думать, что она родственница банкира Ашкенази. Оказалось, что у отца ее бакалейная лавочка, и дядя в претензии к Мате, и к Консерватории. Он даже подумывает о том, чтоб забрать оттуда Матю и снова определить ее к Галке... Но это пустые слова. Матя держится за Консерваторию, как Вова за свой журнал.

Он на мази и необходимо придумать название. Вова с утра до вечера твердит: «Радуга», «Жатва», «Вечерний звон», «Журнал для всех»... Но «Журнал для всех» уже имеется и потом это неумно. Почему

для всех, а не для избранных? «Радуга» и «Жатва» не встречают сочувствия... Рано или поздно Вова найдет такое, перед чем померкнут и «Нива» и «Природа и люди». Сын артиста тоже не зевает. Он предложил сенсационное название «Красный журнал», потому что Синий уже выходит. Но пришлось отказаться. Вову, как редактора, могли бы посадить в тюрьму за политику. Ко мне никто не обратился, и все-таки я по целым дням думаю о названии. Но мне на ум приходят только высокопарные, а для ученического журнала это не годится. Нужно, чтоб было скромно и вместе с тем внушительно. Тогда читатели догадаются, что это не журнал, каких много, а совсем особенный. Вова сказал, что боевое название — уже половина успеха. Я могла бы попросить Женю и Борю Гаевского принять участие в конкурсе названий, но Вова несогласен. Он не желает, чтоб мальчишки со стороны к нам присоединились. «Им дай палец, а они захватят всю руку».

Вова жестоко ошибается. Ни Женя, ни Боря Гаевский не принадлежат к числу навязчивых. У них не меньше достоинства, чем у близнецов. Но Вова неумолим. «Нет, их сотрудничество может пойти нам во вред, у них еще молоко на губах не обсохло». Тут Вова употребил какое-то иностранное слово, но я его живо перевела на русский язык. Терпеть не могу, когда говорят индиферентно вместо безразлично, — это напоминает мне Тубенкопфа с его латынью. Он знает ее, потому что окончил классическую гимназию в одном городе, недалеко от Киева. В каком, он не хочет сказать! По всей вероятности, это маленький провинциальный город, где нет ни реального училища, ни коммерческого, а только гимназия, переделанная из прогимназии. Не он первый стыдится своего местечка, или городка на Днепре. Многим провинциалам хотелось бы родиться в Одессе. А вот

дедушка с Пушкинской уверен, что нет города лучше Брест-Литовска. Там он женился, там вырос мой папа. Что за беда, что в Бресте деревянные тротуары, зато там крепость, и какая! Всем крепостям крепость. И какой там арсенал! Я не совсем уверена в том, что такое арсенал. Это военное слово, и оно от меня ускользнуло. Все, что имеет отношение к оружию, мне противно. С тех пор, как Боря Гаевский сказал, что есть книга «Долой оружие», я сгораю от желания ее прочесть. Если б не было Берты Зутнер, я сама бы написала нечто подобное.

У меня постоянные споры с Тоней Калиниченко. Она обожает форму. Когда Тоня из окна гимназической столовой видит какого-нибудь военного или моряка, она начинает до безобразия гримасничать. Она мне созналась, что ей очень хочется посылать им воздушные поцелуи. А вместе с тем, Тоня неглупа: она знает, где что продают, а куда можно пойти без денег, она узнала от своих братьев. Это практичные второгодники. Старший Калиниченко — парень не гвоздь. Он обменял старую серебряную луковицу на модные плоские часы. И при этом кричал, что его обмишулили. Тоня ничего не меняет, она любит покупать на лотках всякую всячину. Потом она прячет свои драгоценности так далеко, что найти нет никакой возможности. Тоня не унывает: найдется при случае. У нее уже целый склад брошек, но носить она их не решается — надо дотянуть, по крайней мере, до шестнадцати лет.

Ждать придется довольно долго, и Тоня недавно просила сапожника, чтоб он положил два лишних листика кожи, тогда ее каблуки не будут такими детскими. Косы она прикалывает шпильками. Она убедила нашу начальницу, что от спущенных волос у нее болит голова. Начальница считает Тоню большой тупицей и поэтому она ей поверила. По мнению на-

чальницы Тоня неспособна ничего сочинить, для этого у нее нехватает серого вещества. Так она называет мозг. Но ведь это непедагогично внушать людям, что они безмозглые! К счастью, Тоню ничем не проймешь. Она обещала устроить так, чтоб и меня пригласили на бал в Военное собрание. А когда я сказала, что отрицаю военных, Тоня чуть не расплакалась от испуга. Потом она вспомнила, что я еврейка, а евреи не могут стать офицерами, и спросила не обижена ли я на русскую армию? Но я ответила ей, что все армии на свете мне одинаково неинтересны и посоветовала ей прочесть «Долой оружие». Тоня отнекивалась: этого быть не может, я все выдумала, чтоб над ней посмеяться!

Я посоветовала ей спросить у начальницы, но она еще сильней испугалась. Тоня не умеет разговаривать с начальницей. Она ничего не знает о Короленко и не читала «Степь» Чехова. К Мацисту она равнодушна, а это новое увлечение начальницы. Из-за Мациста Вова называет ее теперь «славная старушенция». Ей это абсолютно не подходит. Она принадлежит к безвозрастным. И, вероятно, в детстве была такой же бесцветной блондинкой. Я думала, что это кожа просвечивает, но нет, это волосы, только они неопределенного цвета, как будто их передержали в мыльной воде. Такие волосы у одной из моих соучениц. Ее фамилия начинается на букву «В» и она собирается учить крестьянских детей грамоте. «В» скромная и незаметная. Она всегда говорит правду. И правда ее такая же скучная, как она сама. «В» хотела бы, чтобы мы все стали сельскими учительницами! А я настоящего села в глаза не видела! Когда мы ехали на свадьбу в Святотроицкое, то кажется, проезжали через какое-то богатое село. В это время я спала: меня укачало от езды в фаэтоне.

Васса была у «В». Она говорит, что у них ни-

зенькие комнаты и всюду чисто и пахнет капустой. За перегородкой там кто-то кашлял. Васса уверена, что это чахоточный. Она большая фантазерка: ей всюду мерещатся чахоточные. С тех пор, как Васса побывала в больнице, она страшно важничает. Когда-нибудь она станет докторшей или сестрой милосердия в белом халате, и ее будут называть: сестрица. И я мечтала стать доктором, но потом переменила. Надо ходить по больным и всех их выслушивать и выстукивать. Это слишком однообразно. Вова со мной несогласен: я слишком часто меняю профессии. Медицина не мешает творчеству. Чехов, например, был врачом. Ну, если Чехов, то я подумаю.

Я представляю себе, как он писал рецепты и какая у него была трубка для выслушивания. Доктор Ашевский тоже имеет складную трубку, но он больше верит в свое ухо. Из него торчат пучки седых волос, и это ему не мешает. Наверное, больные любили доктора Чехова. У него был приятный хрипловатый голос, а у доктора Ашевского он напоминает шум в испорченном граммофоне. Наша докторша помешана на гигиене. Шестиклассница со змеиной головкой рассказывает всем и каждому, как на уроке гигиены она заговорила о том, что бывают очень опасные и стыдные привычки, и вдруг у одной девочки, самой воспитанной, началась истерика и ее положили в докторскую на узенький диванчик. За компанию две ее подруги начали рыдать. А за воспитанной девочкой приехали мать и тетка и увезли ее на извозчике. Был такой переполох, что шестиклассниц пришлось распустить по домам. Только докторша не растерялась. Она сказала, что это коллективная истерика или что-то в этом роде. Я ее немного побаиваюсь: у нее толстые вывороченные губы и глаза навыкате. Но зато она донашивает бархатные платья и, вообще, ведет себя, как краса-

вица. А зачем ей красота? Она ведь родилась в очках и в очках умрет. Ей не поможет прическа, взбитая, как у учительницы немецкого языка. Но у немки волосы вьются, потому что она завивает их каждое утро, а у докторши завивка природная.

Гимназический зубной врач — тоже женщина. Она очень худая и всегда в шляпе. От нее пахнет специальными зубными лекарствами и из-за этого въедливого запаха сразу начинают болеть обе челюсти. Зубной врач нас стыдит. Она подозревает, что мы чистим зубы через день, в то время, как их нужно чистить утром и вечером. Она способна часами говорить о пользе зубного порошка. Нас она предостерегает, а у нее самой зубы почему-то испорченные и совсем не прямые. Васса сказала мне, что приемная мать водит ее к ней на дом, и она их принимает в своем кабинете, где все белое. Васса ненавидит эти хождения, и поэтому приемная мать на них настаивает. По ее теории с детства нужно привыкать к неприятным вещам. В приятное она не верит. Она уже с утра говорит о долге и о том, сколько у Вассы дурных инстинктов. Когда-то Васса хотела убежать в джунгли, но на вышло. Джунгли далеко, в Индии, а из Одессы бежать некуда! Поймают на первой станции. Васса поумнела, она знает, что ей остается терпеливо ждать совершеннолетия. Это возраст, когда не требуется разрешения родителей, ни настоящих, ни приемных. И можно делать все решительно, кроме мошенничеств. Про совершеннолетие я узнала у Вовы и сейчас же передала Вассе. Она страшно заволновалась, значит ей не придется служить на почте; Васса в ужасе, что ее хотят посадить за почтовое окошечко, чтоб она там досидела до глубокой старости. У нее другие планы, и она ими не делится. Васса мне созналась, что против почты она ничего

не имеет, но ей заранее подозрительно все, что идет от приемной матери.

Из-за Вассы я начала ходить на почту, под предлогом, что мне нужно купить семикопеечную марку и присматриваюсь к почтовым чиновникам. Они, действительно, пыльные и усталые. А может быть это самовнушение? Наша библиотекарша тоже серенькая, но она просто не хочет выделяться. И потом она живет в мире книг, и ее главное занятие оберегать их. Недавно она открыла в некоторых старшеклассницах любовь к подчеркиванию слов и целых фраз. А это кощунство и неуважение к книге. Книга — светоч знания. Но не все книги светочи. Это не относится к Нату Пинкертону и Шерлоку Холмсу. Я уже не говорю о Чарской, Желиховской, мадам де Сегюр и других писательницах для детей. Мне совсем не обидно, когда пририсовывают усы и бородку самому Арсену Люпену. Я раз поспорила с библиотекаршей по поводу хороших и плохих книг, но она вышла победительницей. У меня не хватило доводов. А вот у сына артиста полные карманы доводов, он называет их: аргументы. Из-за этого он готов вступить в спор с кем угодно. Дяде он хотел доказать, что все религии выеденного яйца не стоят и одна другую обкрадывает. Вова вмешался в спор, ему жалко дядю, надо понять, что у него безвыходное положение. Иначе ему пришлось бы все начать сначала. А это невозможно!

Однако, сын артиста уверен в противном. «Мы все перевоплощаемся» — говорит он. Много тысяч лет тому назад я был сыном китайского богдыхана, а через тысячу лет стану гениальным изобретателем... Это чистая выдумка, и все таки мне хотелось бы знать, кем я была в прошлой жизни и кем был Вова. Но существуют ли перевоплощения? Выдумал ли их сын артиста? Я так долго мучила Вову, что в конце

концов он сказал, что сын артиста ничего не выдумал, у него нет такой фантазии. Он это вычитал и теперь всем надоедает. Сам Вова колеблется и взвешивает аргументы. Зато меня преследуют перевоплощения. Вчера на уроке географии я в алфавитном порядке перебирала наш класс. Кем были, например, две девочки на букву «А»? Та, что на «В», будущая сельская учительница, в прошлой жизни, была рыбой. У нее рыбьи глаза. Берта Креде работала в кондитерской в древних Афинах. Васса, я думаю, была предводительницей амазонок. А наши пианистки играли на каких-нибудь древних инструментах, вроде гуслей. Что касается дочки доктора, то она была первой сплетницей при дворе фараона. Наша начальница в прошлом была верховным судьей. Но где? Для этого лучше всего выбрать страну давным давно исчезнувшую с лица земли...

Но хватит о перевоплощении. Учитель уже стал посматривать на меня, как на восьмое чудо. Меня спасла Поцелуйкина. Заикаясь от волнения, она спрашивает, чем отличаются горы вулканического происхождения от гор полувулканических. Ясно, что вопрос этот она заготовила, чтоб поразить учителя. А он обрадовался и даже стал в позу. В ту же секунду задребезжал звонок. Ненавистную немую карту свернули в трубочку и положили на учительский столик. Лучше бы ее убрали подальше. Она нагоняет скуку. Особенно неприятны безымянные горные хребты и реки. Насколько интереснее живая карта, вся испещренная названиями. По такой карте можно совершать воображаемые путешествия. А немую карту выдумали, наверное, во времена нюхательного табака и тех школ, что описаны у Диккенса. Девочек тогда учили, главным образом, танцам и рукоделью.

55.

Рукоделье — мой враг. В этом году мы шьем машинным швом и я не попадаю в нужную дырочку. Стежки у меня гигантские. Это я — будто бы, делаю по лени. Так думает учительница. Она не может понять, как я ухитряюсь так испачкать материал. Он давно утратил свою белизну и стал темно-серым. А у Муси Логинской он беленький, как из магазина Бомзе. Мусю ставят нам в пример. Не знаю, надоест ли ей быть примерной ученицей. На ее месте я бы взбунтовалась. Надо отдать справедливость Мусе: она из себя ничего не корчит. Она все такая же спокойная и приветливая. И я ругаю себя на все корки за то, что не могу подружиться с ней, как с Вассой. Но мы увидимся, я опять поеду к ней на Молдаванку. А на Рождество соберутся у меня. Я не очень люблю такие сборища. Все как-то неестественно. В прошлый раз у Аси был такой вид, будто она пришла в гости и собирается все критиковать. Она мысленно сравнивала наш дубовый буфет с их буфетом из красного дерева. Я видела по ее глазам, что она опять думает о том, что у нас нет серванта, а сервант в асином представлении это признак высшего аристократизма. Не понимаю, почему Ася так заважничала? Обычно, ей у нас нравится. Топсик страшно сконфузилась от застенчивости и дала маме вместо правой левую руку. Вова увидел ее издали и заитересовался, что за при-

готовишку я пригласила. Но сын артиста другого мнения. Во внешности Топсика есть что-то обещающее. Конечно это не Тоня Калиниченко. Вова и сын артиста снизошли до того, что говорили с ней целых две минуты. Она вовсе не была польщена. Подумаешь, за ней уже офицеры ухаживали. Она очень тонно и уверенно им отвечала, но в глазах у нее прыгали смешинки.

Все девочки были в новых формах, только Васса пришла в старой, у нее другой нет. На Рождество будет веселее. Я приглашу Женю, Борю Гаевского и может быть еще одного мальчика из танцевальной группы. Сначала девочки будут выламываться, а потом все пойдет, как по маслу. Вова сказал, что все женщины одинаковы: им покажи пару штанов, и они теряют голову. Но мы же не пятиклассницы! А наши кавалеры — обыкновенные мальчики, они ложатся в девять часов вечера и мама приносит им в постель стакан теплого молока. Один только Боря Гаевский, несмотря на свой средний рост, похож на взрослого мужчину. Он говорит подчеркнуто и терпеть не может, чтоб ему возражали. Этим он немного напоминает старого холостяка. В остальном, он в миллион раз симпатичнее. Ланя побаивается мужа Веры Львовны. Он мечтает о том времени, когда они переедут в Петербург. Пусть произносит свои речи перед другими. Ланя им не аудитория. По целым дням он думает об экзаменах и так уверен в своем провале, что даже не готовится. Зубрежка не имеет никакого смысла. Что поделаешь, если он родился под несчастной звездой. При Вове он это не смеет говорить. Вова презирает фаталистов, то есть таких людей, как Ланя. Он и близнецы теперь с утра декламируют: «Безумству храбрых поем мы песню...» При чем тут близнецы? Им до безумства так же далеко, как до луны. Но они поддакивают Вове и ста-

раются поспеть за ним, хотя это довольно трудно. Каждый день у него новые идеи. Сын артиста сказал, что Вова шагает в семимильных сапогах, и за ним, как два щенка, скачут близнецы. Он говорит так из антипатии к близнецам. Они ему антипатичны, как мне бывший холостяк. Это не мешает им для виду быть товарищами. Я честнее сына артиста. Когда Вера Львовна приходит со своим мужем, я прячусь. Меня нужно вытаскивать чуть не силой. Получается, что я неблагодарная скотина и уже забыла, как она везла меня на экзамен, а когда-то водила по улицам, где мы с ней вслух читали вывески.

Вера Львовна интересуется моими успехами, но как-то странно. Можно подумать, что и гимназия и я — все это не здесь, под боком, а на другой планете. Перламутровый бинокль она мне все-таки подарила. Самое красивое в нем — длинная перламутровая ручка. У Аси черный бинокль в футляре. Она сказала, что в черном стекла лучше. Они более сильные. Но на утреннике она каждую минуту одалживала мой перламутровый. Он был совсем мокрый от слез. Не знаю, чьи это были слезы, мои или Асины, но стекла так запотели, что я больше не различала ни сцены, ни артистов. Сейчас, в антракте, все увидят наши красные заплаканные глаза и в душе будут издеваться. Но когда в зале постепенно начало светлеть, я заметила, что у соседок глаза тоже припухли и мне стало немного стыдно за них. Ася повторяла, что у нас насморк. А всем известно, что при насморке течет из носа, из глаз, и даже из ушей. Она забежала вперед. Мне хотелось сказать про насморк, а теперь уже поздно. Я уверена, что Ася прочла мои мысли. В общем, я осталась в дурах. Утешало только то, что в нашем ряду ни одного перламутрового бинокля в специальном зеленом бархатном мешочке. Ася тянула меня в буфет, но я не пошла. А что, если в толпе

я потеряю мешочек с биноклем и придется дать объявление в газете: «Пропал перламутровый бинокль. Просят вернуть за приличное вознаграждение». Когда теряют деньги, пишут: Нашедшему третью часть... С биноклем труднее, его никак не разделишь.

Глупо, что я цепляюсь за свою собственность. До сих пор я не была собственницей. Я могла отдать все: часики в атласной туфельке, браслет с красным камушком, подарок глухой тети Лизы, мои резные ручки, все открытки от Александровского, а с биноклем я почему-то не могу расстаться. Иногда на уроках я вспоминаю о том, что он лежит в нижнем ящике моего письменного стола и меня бросает в жар при мысли, что Катя уже подобралась к нему. Поскорей бы он мне надоел. Я не хочу быть рабой вещей, как мадам Блазнер. Я буду давать его всем, кто ни попросит, даже через силу. Слава Богу, бинокль дамский и вовиным товарищам одалживать его не придется. Они не снизойдут до того, чтоб пользоваться дамскими вещами. Но я сама видела близнеца под маминым зонтиком. Он шел в лавочку напротив. Я тоже была под зонтиком. Мне это полагается, а близнец чуть не умер, когда поравнялся со мной. Вот до чего доводят предрассудки. Недаром Боря Гаевский говорил мне, что его раздражают женщины, хотя он за справедливость: они тоже люди; спорить с ним я не в силах, он твердо стоит на своем, это его точка зрения. Откуда такое чувство превосходства? Чем Андрокардато лучше Тони Калиниченко? Близнецы и им подобные не стоят мусиной подошвы. Даже Берта Креде и Лида Родиопуло лучше вовиных соучеников из Союза русского народа. Можно было бы составить длинный список, но я ограничусь этими примерами.

Мои рассуждения непонятны Асе. Мужчины для нее — высшие существа. Но как-то она пришла в класс

с опозданием и на уроках все время засыпала. На второй перемене она мне созналась, что у них дома был скандал из-за денег. Ее папа разбудил бабушку, и она кричала, что у нее отняли последние сбережения. Этому Ася не верит: бабушкины деньги зашиты в одну из нижних юбок. Их у нее не меньше, чем у мадам Тюрбо. Но они не такие нарядные. Мадам Тюрбо умеет как-то особенно их поднимать. Вова думает, что до приезда в Россию она танцевала канкан. Когда же в таком случае она изучила Корнеля и Расина? Нам до них далеко, но мадам Тюрбо дает понять, что это столпы французской литературы. И, конечно, Мольер... Я не вытерпела: «Мой брат играет в «Тартюфе»! — По-французски? — спросила Тюрбо. — «Нет, они ставят «Тартюфа» в русском переводе...» Мадам Тюрбо чуть не подавилась, она не верит в переводы, вот если бы они играли в оригинале, тогда другое дело. А Вова все больше и больше увлечен Мольером. Их режиссер — просто чудо. Он мог бы ставить Мольера в Московском Художественном театре, но там слишком много интриг. Вова сказал, что режиссер обожает работать с молодежью, особенно с исполнительницами женских ролей. С сыном артиста — Тартюфом — он постоянно пререкается. У сына артиста свой подход к роли, а у него — свой. Из-за этого масса недоразумений. Но ссориться по настоящему режиссер не хочет. Он даже делает комплименты: «О, видно, что имеешь дело с сыном своего отца...» Вова говорит, что тут чистое недоразумение, талант не обязан передаваться по наследству.

Мне это не по душе. Почему дети должны оставаться в тени, а их отцы забирать себе все, до последней крошки? Когда-то к нам приходил сын известного баритона. Если б я назвала его фамилию, все бы подпрыгнули от неожиданности. Сын хотел

во что бы то ни стало стать певцом. Он говорил, что у него баритон почище, чем у папаши. Но тот заупрямился! В одной семье не должно быть двух оперных артистов! Пусть открывает бакалейную лавочку. Под конец сын перехитрил своего большого отца и тоже стал певцом, но очень маленьким. Нехватало пороху. А у сына артиста его столько, что становится страшно за самодельную сцену. Вова в восторге от его игры. «Он положил на обе лопатки Мариуса Петипа!». Когда говорят о театре, я вся дрожу. Мне хочется дышать театральным воздухом. Он совсем особенный. Однажды сын артиста дал мне понюхать носовой платок. От него разило известкой. Это был запах кулис. В классе все завидовали. Даже дочке доктора не удалось меня затмить. Она тут же выдумала, что ее папа занимал должность театрального врача и тогда она и вся ее семья были пропитаны запахом кулис. Я могла бы в два счета ее разоблачить, но постеснялась. Ведь речь идет об ее отце! На последнем уроке лепки она ни с того ни с сего начала рассказывать, что он часто кладет ноги на стол. И Поцелуйкина вдруг выпалила: «Посади свинью за стол, а она — ноги на стол!». Нельзя себе представить, что вытворяла дочка доктора. Она так жестикулировала, что глиняные корзинки с вишнями полетели в разные стороны. Она измазала пунцовой краской передник Сахно и чуть не выбила глаз у Лиды Родиопуло. Выяснилось, что Поцелуйкина сказала это без злого умысла. Она имела в виду свинью, а не ее папу. Очень трудно всем нравиться. Надо непрерывно обдумывать свои слова. Гораздо интереснее сначала говорить, а потом обдумывать. Нельзя же каждое слово держать на привязи. Вслух я этого не произнесу. Если б Надежда Игнатьевна пронюхала, она бы во мне разочаровалась.

Вчера Надежда Игнатьевна разорвала тетрадку

Берты Креде и очень ловко швырнула ее в корзину. Я боялась, что тетрадь не долетит и тогда Берте придется собирать ее по листочку. Было очень тихо, ни одна парта не скрипнула. Мы боялись дышать. И когда Берта Креде вдруг изо всей силы чихнула, все обернулись, как по команде. Ничего, потолок не упал нам на голову, а Надежда Игнатьевна сказала: «Вытри нос, дура...» Грозу пронесло. Пока Надежда Игнатьевна ко мне благоволит, но это может кончиться в тот день, когда я изложу ей мои соображения по поводу русского языка и нашей хрестоматии. Там одни отрывки, без конца и без начала. Не успеешь войти во вкус, как уже красуется подпись: Л. Н. Толстой, или И. С. Тургенев. Это может навек отбить охоту к чтению Толстого и Тургенева. Вообще, у меня отвращение к учебникам. Если б можно было, я б давно пошла к господину Букинери, чтоб переменить их на книги для чтения, даже подержанные. И в подержанных есть своя прелесть. Тот, кто их читал до меня, оставил свои следы. Один рисовал рожицы с рожками, как у чертенят. Другой писал на полях смешные вещи. Библиотекарша бы меня убила, как только дошли бы до нее мои рассуждения о порче книг. Но ни она, ни никто на свете не узнает, что я видела у Вовы в комнате брошюру: «Царствование Николая кровавого». Он взял ее на один день у брата близнецов. Это типичная нелегальная литература. Вова говорит, что от нее прямая дорога в Одесскую пересыльную тюрьму. Но кому придет в голову, что брошюра у Вовы? На нее навалены груды старых тетрадей и обрывки переплетов. И найти ее может только опытный сыщик. Я полна гордости, но мне страшно за Вову. Он обещает завтра же отнести брошюру близнецам, у их брата целый склад таких книжек. Вова такими книгами не особенно увлекается, хотя он против самодержавия. В нашем классе за само-

державие только Тоня Калиниченко и Лида Родиопуло. Муся Логинская молчит, потому что ее отец чиновник, он на государственной службе, остальные против. Я только не уверена в Топсике. При ее росте трудно иметь мнение. Ася еще не может решить, она посоветуется со своим папой. У них все обсуждают. А я терпеть не могу эти обсуждения. Кончаются они тем, что тетя Полина начинает вспоминать, в каком платье она была на своей помолвке. Оно было отделано стеклярусовыми кружевами. С тех пор она помешалась на стеклярусе. Она хочет, чтоб у Аси была стеклярусовая вставка. Ася плачет и мне ее жалко. В душе я торжествую: я могу сама выбирать отделку. Но я полагаюсь на мадам Рабинович. У нее удивительно тонкий вкус, она меня не подведет. В последний момент мадам Рабинович всегда имеет для меня сюрприз: лишние два-три банта и какой-нибудь карманчик. В Асиной семье обсуждается куда следует ходить, с кем вести знакомство и нужно ли рассылать приглашения или устно всех приглашать. Я за устные приглашения, таким способом легко пригласить уйму людей, а когда начинаешь рассылать, возникают разные сомнения.

Ни с того, ни с сего, я получила письмецо от Мары Гольберг, нашей неглавной пианистки. Оно было залеплено розовой облаткой. Содержание очень коротенькое: Мара просит прийти к ней в субботу на чашку чая. Что за глупые фигли-мигли, она могла бы мне просто сказать! Но тогда это не было бы официальным приглашением. А мне вовсе не нужно, чтоб оно было официальным! Я неделю тому назад знала, что Мара меня пригласит. Я даже знаю, через мадам Любошиц, что они купили новое пианино, и Мара сыграет на нем две мазурки Шопена. Конечно, если мы ее попросим. Я не особенно горю, но Мара так все подстроила, что придется не только просить,

но даже умолять ее, чтоб она исполнила Шопена. Дело в том, что на большой перемене она объясняла Вассе и мне, что знаменитых композиторов исполняют. Играть можно всякую дрянь, например, Собачий вальс, а исполняют только великие произведения. Маре не снится, что мы с Ланей целый вечер подряд играли Собачий вальс. Я была правой рукой, а он — левой. Получилось очень хорошо. Ланя изо всех сил нажимал на педаль, и гул шел по всей гостиной. В девять часов Вова попросил нас прекратить. Мы разбиваем инструмент.

Странно, что Вова только теперь заметил. Собачий вальс мы играем не первый год. Это Ланин коронный номер. У него есть в запасе «Реве тай стогне Днипр широкий» и «Ой, за гаем гаем...» Нельзя требовать, чтоб он играл менуэт Падеревского, он ведь ни у какой мадам Трейн не учился. Ланя играет по слуху считая, что ему повезло. А он завидует Вове. Если б Ланя мог импровизировать, он бы выступал в иллюзионе сверх программы. Говорят, недурно оплачивается. А если б он ухитрился пальцем правой руки пройтись по всей клавиатуре, вот был бы триумф! Не хочу огорчать Ланю, но это делают многие вовины товарищи. Сам Вова не признает трюков. Ему ничего не стоит изобразить на пианино бурю на море или грозу в летнюю ночь. В «буре» много арпеджио, а в «грозе» сплошные аккорды...

Но и Собачий вальс и импровизации — все это было до рождения Миши. Сейчас надо соблюдать тишину, мама еще в постели. Но когда же врачи ее подымут? И почему она сама не может подняться? Тогда она увидит, что электрические свечи на пианино перегорели и одна из них прожгла шелковый абажурчик. Ничего, дело поправимое. Поставят новые свечи и мама по вечерам будем играть вальсы и одну пьесу из своего репертуара, страшно бравурную. Она

обрушивается на вас, как водопад. Матя так в жизни не сыграет. Она будет по-особенному переставлять пальцы, и все-таки получится жиденько и бедно. Вова отлично знает причину: у нее ни на грош темперамента. А у меня есть темперамент, это признал Боря Гаевский, однако, когда я играю, мне кажется, что я на катке в первый раз в жизни. Мара уверяет, что меня не сумели заинтересовать. Уже поздно, я заинтересована только в том, чтоб не идти на урок музыки... Я вспоминаю кабинет мужа мадам Трейн, кожаное потрескавшееся кресло и стопку книг на столике слева. Они исключительно для взрослых.

Одно из названий я повторила при сыне артиста, и он даже засвистел от неожиданности. Вот какие книги я почитываю. Этого он не ожидал! Не могу ли я ему рассказать об одной... И он называет книгу, где на обложке изображена падшая женщина в красном платье и огромной черной шляпе, вроде той, что носила мама-Кусиц. Удивительно, почему автор называет ее падшей, она ведет себя довольно нахально и заносчиво. Вокруг нее падают другие, ее жертвы, а она так задирает нос, что просто держись! Но автор настаивает. Что ж, ему виднее. В книге все друг другу изменяют. Я стараюсь передать это своими словами, а сын артиста недоволен. В конце концов он дает мне дружеский совет: я должна забыть о существовании падших женщин. Он-то не проговорится, но за других он не отвечает. Жалею, что пустилась с ним в откровенности. В следующий раз он ничего вытянуть не сумеет. Не всегда у меня душа нараспашку: я умею быть скрытной. Про журнал, например, я никому в нашем классе не заикнулась. Когда он выйдет, я принесу показать. Одалживать его я не буду. Мне могут вернуть его, Бог знает, в каком виде. Многие вообще книг не возвращают. Васса видела

у дочки доктора две мои книги. Они стояли в шкафу на самом видном месте.

Дочка доктора книги расставляет по росту: маленькие к маленьким, большие к большим. Содержание ее не интересует. А вот Женя составил каталог своих книг. В нем несколько отделов: путешествия, стихи, астрономия, исторические повести — всего не перечислишь. Он и меня уговаривал, но я пока не собираюсь. У нас это гораздо сложнее. Есть книги мои и не совсем мои. На некоторые претендует Катя. Все, что с картинками должно перейти к ней. Она не сообразила, что это иллюстрации, а не картинки. Когда я хотела ей объяснить, она разобиделась. Выходит, что я жадничаю. Я пришла в ярость. До сих пор меня никто в жадности обвинить не мог. Я потихоньку раздавала не только свои вещи, но и то, что попадалось под руку. Журнал — другое дело. Это Вовина путеводная звезда. Она чуть-чуть померкла, так как Вова занят Мольером. Участвующие уже были в костюмерной мастерской и примеряли костюмы. На Вове костюм сидит, как вылитый. Можно подумать, что он родился во времена Мольера. Труднее тем, у кого по роли должен быть животик. В таких случаях подкладывают подушку из ваты. Главное, чтоб она не двигалась. Иначе может получиться конфуз. Я жду не дождусь спектакля. Это не какой-нибудь утренник, а настоящее представление. Детей на нем не будет. Для меня делают исключение, потому что я принадлежу к семье одного из главных артистов. Если бы меня не взяли, я б могла заболеть. Известно, что с горя заболевают. А один человек от огорчения начал таять и умер.

Мы тоже готовим постановку: «Бежин луг в лицах». О костюмах мы сами должны позаботиться. В крайнем случае сошьет мадам Рабинович. Но я ее изучила, она сделает такие штанишки, чтоб они при-

стегивались к лифчику. Это абсурд! Крестьянские дети не носят лифчиков! Она этих детей в глаза не видела. В ее переулке живут дети ремесленников, и они, дай им Бог здоровья, давно свели ее с ума. Не понимаю, как можно любить и проклинать. Она мне сказала, что это не она, а горе ее проклинает. Столько горя! Когда бы я к ней ни пришла, валяются те же обрезки. Журналы на самом кончике стола. Сейчас и они, и ваза с искусственными цветами, все сползет на пол. Не то, что у нас, где Юзя на меня в претензии за то, что я машинально переставляю пепельницы. Я боюсь порядка, от него наш дом кажется нежилым. Но это не долго длится. Приходит кто-нибудь из Вовиных товарищей и прячет папиросный окурок в вазон с лучшим маминым фикусом. А раньше Катя переворачивала столовые стулья и мы накрывали их большим теплым платком. Это поезд. Я сама была не прочь залезть в темную дыру и сидеть там скрючившись в три погибели. При боннах-немках Катя играла по-немецки. Она говорила: айнс, цвай, драй, и поезд уходил... Теперь она играет в более взрослые игры, и я не принимаю в них участия. Мне это не к лицу. Катя требует, чтоб ее взяли на гимназическое утро. Раз я иду на Мольера, она пойдет на «Бежин луг». Но у нас не будет приглашенных со стороны. Придут ученицы младших классов и все преподаватели, так что если мы оскандалимся, это не выйдет за пределы гимназии.

Надежда Игнатьевна надеется, что мы ее не подведем. На репетициях она преображается. Вся ее важность куда-то исчезает. Она даже показала, как надо лежать у костра. А как будет с печеной картошкой? Оказывается, вместо нее нам дадут шоколад Фишера. Держать его надо в кулаке, чтоб не было заметно. В антракте буфет, но заготовленный заранее. Иначе может произойти свалка. У Вовы буфет в

другом роде. Он лучше, чем в Городском театре, где, Бог знает, какие пирожные. Они не из кондитерской, а из булочной. Там бутерброды будут с паюсной икрой, бутерброды с кильками и рижскими шпротами и посреди стола настоящий живой ананас. Какой вид могут иметь наши кулечки со сластями рядом с ананасом? Будет неловко упоминать о них... Но я должна учить свою роль, а как на зло у меня не хватает времени. Дома я присутствую при том, как купают Мишу. Теперь свидетелей его купания не так много. Я прихожу смотреть из вежливости, чтоб не подумали, что я остыла. Аксюта настолько привыкла ко мне, что вчера мы с ней писали письмо в деревню. Поклонов было втрое больше, чем у Юзи. Они растянулись на целую страницу. В самом конце письма Аксюта спрашивала про своего сыночка. Как-будто он на последнем плане, а на самом деле ведь все письмо ради него написано.

Прежде я думала, что Аксюта деревянная, но это была моя ошибка. Она представляется мне девочкой из книжки с оторванным концом, но уже подросшей. Ее тоже выгнала злая хозяйка, и она бежит по дорожке в своих ситцевых лохмотьях и трясется от холода... У нас Аксюту закармливают. Ей надарили массу вещей, она их не носит. Все, все она кладет в сундучок. Юзя нашла его на чердаке и притащила вниз: «Пусть пользуется!». Юзя говорит это с презрением, она не понимает, как можно быть такой замухрышкой. У Юзи не сундучок, а полный сундук платьев. Она важничает: кузина Маня подарила ей шарф с расплывшимися розами. Это воспоминание о докторе, а оно Мане ненавистно. Доктора надо забыть, вырвать его из сердца. И хотя у Мани очень мало вещей, этого шарфа ей совсем не жалко. Вообще, Маня не из дающих. Брать она тоже не любит: у нее бездна гордости. Маня это не отрицает.

Ей нравится быть гордой. Да, она ест обрезки, завернутые в серую оберточную бумагу, но с достоинством. Не понимаю, зачем ей достоинство, она употребляет его исключительно на мелочи. Ее не трогают страдания других. Она хочет жить любовью и ради любви. Революцию делают стриженые девицы, им терять нечего. А она, Маня, может потерять свое достоинство.

Мне кажется, что для нее нет выхода. Она ходит мрачная, как туча. Если я скажу правду, она окончательно помрачнеет. Кроме того, я не люблю под видом правды говорить неприятности.

56.

Недавно Ася стала доказывать, что я слишком много о себе воображаю. Первым это заметил ее папа. Тут я почувствовала, что во мне закипает такой гнев, как в Иоанне Грозном, убивающем своего сына. С той разницей, что он потом каялся и проводил дни в постах и молитве, а я не почувствовала ни малейшего раскаяния. Ненавижу притворщиков! И подумать, что он предложил мне сесть к нему на колени... Но я с Асей не поссорилась, а только ответила, что очевидно она и ее окружающие пристрастны ко мне в обратном смысле. Я воображаю о себе не больше, чем ее аккерманские кузины. В этом Ася сама могла убедиться. Недавно старшая, Вера, приезжала на два дня: она влюблена в студента с односложной фамилией, но это не Кац. Зовут его Андрей, Андрюша. К несчастью, он из простой семьи и поэтому в дом к ним прийти не смеет.

Ася переменила разговор и начала ко мне подлизываться. Не хочу ли я, чтоб она почесала у меня за ухом? Я не хочу. В таком случае она одолжит мне «Вестник Иностранной Литературы». Вестник я тоже не захотела. Я должна ее подергать за веревочку. Пусть не обижает свою лучшую подругу. В одной вовиной книге, кажется, это альманах, написано, что наша жизнь — огромный театр марионеток. Все веревочки в руках хозяина, а он бестолковый старик, и

часто дергает не ту, что нужно... Вове неприятно, он сказал, что автор определенно кощунствует. Из-за этого он назвал Жору воинствующим атеистом, и Жора смертельно обиделся. На его месте я приняла бы это как комплимент. Ведь воинственность в нем не ночевала. У него плоские щеки и маленький подбородок. Сын артиста считает, что что признак безволия. Но когда-нибудь Жора отпустит бороду и станет волевой личностью. А пока он много бы дал за то, чтоб иметь четырехугольный подбородок. Я могу предложить ему следующее: пусть стиснет губы и раздувает щеки, тогда подбородок станет шире.

До этого я додумалась после упражнений перед зеркалом. При свидетелях я в зеркало не смотрюсь. Мне нужно оберегать мою репутацию. Но когда все выходят, я бросаюсь к зеркалу. Меня преследует мысль, что я длинноносая. Это случилось внезапно, неожиданно. Надо будет посмотреть в асино венецианское зеркало, оно не соврет. Я хотела знать, замечают ли это другие? Но все молчат, каждый занят собой. Если я спрошу дедушку, он рассмеется очень искренно, от души. В его глазах я чуть ли не первая красавица. Дедушку утомляет каждое слово и поэтому меня к нему не пускают. Какая несправедливость! Я сижу там тихо-тихо. Слышно, как муха пролетит. Это не преувеличение. В дедушкиной квартире из-за жары и натопленных печей всегда есть мухи. В последний раз дедушка дремал, только шевелил губами. Больше всего я боялась, что он опять заговорит о выигрышном билете. Но он спросонья говорил о каких-то совсем незнакомых людях. Несколько раз он улыбался и мне стало страшно. Те, кого он называл, как будто вошли в комнату и стали у его постели. Я знаю, что он их видел, иначе, зачем ему было улыбаться. Дедушка ведь не из тех, кто расточает улыбки... В это время ворвался доктор и начал гово-

рить так громко, что лекарства на ночном столике запрыгали и чуть не свалились. Он притоптывал ногой, потирал руки и делал вид, что ему страшно весело. Чем хуже больному, тем доктора веселее. А стоит им выйти за дверь, как физиономия у них вытягивается на целый аршин. Поэтому, когда дедушкин доктор начал хлопать по одеялу, я чуть не запустила в него будильником. Он довольно тяжелый и мог бы его поранить. Но это мечты. Доктор Ашевский никогда не смеется, у него плохо развиты лицевые мускулы. Они раз и навсегда застыли в выражении какого-то безразличия и покорности судьбе. А когда он говорит, кажется, что заскрипели пружины и тюремные ворота сейчас со скрежетом закроются.

Странно, что доктор Ашевский не следит за своим здоровьем. Ему необходимо пить розовую микстуру. Может быть он не верит в ее целебные свойства? Постараюсь узнать у провизора Зайдмана или у его помощника, как они к ней относятся. Зайдман, по всей вероятности, выкрутится. Зато помощника я обязательно выспрошу. Он очень симпатичный и делает вид, что я ему нравлюсь. По правде говоря, ему нравится Юзя. И его комплименты косвенно предназначены ей. Я просто — ширма. А этого я терпеть не могу. Матя меня, слава Богу, уже не берет на второстепенные свидания. Она боится, что я начну говорить колкости ее кавалерам. Как можно быть такой недалекой! Неужели она меня еще не изучила, как я ее? Колкости говорят особы, вроде мадам Блазнер и дочки доктора. Несмотря на разницу в возрасте, я нахожу в них массу общего. Дочка доктора могла бы быть духовной дочерью мадам Блазнер. Ее собственные дети ей меньше подходят: это — бесхарактерные плаксы. Они плачут ежеминутно, по всякому поводу. Слезы их защита. В нашем классе чаще всех плачет Поцелуйкина. У нее слезы, как у артисток из «Золо-

той серии». Они очень большие и текут медленно... Так медленно, что самые черствые сердца должны дрогнуть от жалости.

Слезы Поцепуйкиной бьют на эффект и поэтому я им не верю. Но когда Васса заплакала, это было совсем другое. Она долго сдерживалась: брови у нее покраснели и глаза стали, как две щелочки. Вдруг из этих узеньких, почти невидных глаз, фонтаном брызнули слезы обиды. Их было столько, что весь ее передник промок, а лица не было видно. Она так на меня подействовала, что я тоже разрыдалась. Девочки, одна за другой, начали сморкаться. Еще минута и случилось бы наводнение, но в класс вошла мадам Тюрбо, и мы должны были экстренно прекратить наш общий плач. Антуанетта Фердинандовна уже начала пожимать плечами и поводить носом... Она не любит слез, от них пахнет сыростью. Если послушать ее, она в жизни не плакала. Даже в день смерти своей бедной матери. Она окаменела от горя. Сзади непочтительно хихикнули. Это была Тоня Калиниченко. Она, наверно, представила себе, как мадам Тюрбо окаменевает и становится похожей на свой собственный памятник. А мне не смешно. Мне жалко, что мадам Тюрбо такая одинокая и замкнутая. Слезы бы ей помогли, но она не может выдавить из себя ни единой слезинки.

Считается, что женские слезы — вода. Но мужские не лучше. Боря Гаевский обещал достать брошюру, где подробно объясняют, что такое слезы, и где слезный мешочек показан во всевозможных разрезах. Боря делает это с воспитательной целью. Он собирается отучить меня от излишней слезливости. Я хотела ему напомнить, какой он чувствительный, но удержалась. Сам Женя, несмотря на свою безумную ревность, говорит, что Боря Гаевский — комок нервов. Я это слышу впервые. Я его не обижала по дру-

гой причине, мне всегда казалось, что ему как-то не по себе. Летом ему жарко, жарче, чем всем. Зимой — холоднее. На праздники я не хочу его огорчать, а в будни — тем более. У меня нет подходящего момента, чтоб сказать ему несколько горьких истин, а он думает, что всегда и во всем прав. Теперь, когда я узнала, что он комок нервов, я буду молчать, как рыба. А наша докторша выдумала, что у меня легкая нервная возбудимость. Она что-то нацарапала на моей груди и след оставался в течение целых пяти минут! У других он тоже сошел не сразу. Я посмотрела на часы, и по-моему у Аси он держался не меньше шести с половиной минут. Напрасно докторша так мной интересуется. Удовольствия от этого я не жду. Она напугала маму тем, что я хрупкий сосуд и со мной надо обращаться крайне бережно.

Мне про сосуд ничего не сказали, я это подслушала. Обычно я презираю подслушивание, но от одного разу ничего случиться не может. Тут есть что-то для меня обидное. Я это почувствовала, когда без всякого повода к нам пришел рыжий доктор с Канатной улицы. Мама тогда уже носила мой нелюбимый капот, но доктор не обратил на это внимания. Он стал с места в карьер говорить о пользе гидропатии. Далеко ходить не надо, у него гидропатическое заведение. За этим страшным названием никаких ужасов не кроется. Просто ванны, души и укутывания. Берут здорового человека и заворачивают его в шерстяные одеяла. Все подробности я узнала потом, от кузины Мани, она уже ходила на гидропатию. А в первый момент у меня мурашки поползли по спине. Никаких специальных ванн мне не нужно, хватит с меня нашей ванны. Она совсем новенькая, эмаль отбита только в двух-трех местах. В визите рыжего доктора было и приятное: он сказал, чтоб на меня не наседали с едой. Я могу есть все, что хочу

и когда захочу. Он ничего не имеет против кондитерских. Бедный, он не знает, что это я сама себе прописала давным давно. И не только я, это было бы самохвальством, а почти все учащиеся. Даже пианистка Мара Гольберг, все свои карманные деньги тратит на пирожные эклер. Было бы понятнее, если б она покупала сонаты или песни без слов, но нет, ей нужны пирожные с шоколадным кремом.

После ухода доктора я на всякий случай попросила двадцать копеек: я иду в кондитерскую. До сих пор я таких заявлений не делала, а просто отправлялась к Гетингу или к Исаевичу. Правда, мне дали только десять копеек, но у меня оставались кой-какие деньги. Дедушка почти насильно мне их сунул. Я, действительно, не хотела брать. Деньги сами были горячие, они лежали в кошельке под подушкой и от жары слиплись. Они тоже больны — эти деньги, как и все, что в дедушкиной спальне: стулья, занавески, ковер, потертый оттого что передвигали мебель. Мне стыдно тратить их на пирожные. Лучше подожду прихода шарманщика и брошу их из окна. Шарманщик будет удивлен. Обычно ему бросают двухкопеечные монеты, завернутые в газетную бумагу. К таким суммам он не привык. Но они ему пригодятся, у него ведь большие расходы, хотя с тех пор, как я себя помню шарманка играет: «Ветерок чуть колышет цветочки...» За эти годы от чахотки умерло несколько обезьянок в красных штанах, сам шарманщик сгорбился, но шарманка не меняется, у ней все тот же валик.

Когда-то мне сказали, что это заграничная машина, и она может еще сто лет играть. Все это очень грустно! Если б дедушка был здоров, я бы не подумала о шарманщике. Дядя уверен, что добрые дела могут продлить человеческую жизнь. Но тут ничего доброго нет, я поступаю так из суеверия. А добрые

дела делают без долгих раздумий, сразу. Человек падает, и ты бросаешься ему на помощь. Или он тонет и ты его спасаешь... Пока мне никого не удалось спасти, но это придет. Я не верю в добрые дела по предписанию, о которых говорит дядя. Он хотел бы за каждый свой приличный поступок тут же получить награду. Дядя уверен, что его молитвы рано или поздно дойдут до Господнего престола. А я в этом сильно сомневаюсь. Дедушка из Вознесенска ничего не требует, ничего не просит, он только благодарит Создателя за хорошее и за плохое. Он молится даже, когда молчит. Я угадываю это по дедушкиным глазам, они полузакрытые, а борода его тихо колышется как-будто ее качает райский ветерок. Наш дедушка верующий человек, и таких как он, мало. Большинство верит, потому что им это внушили. А некоторые боятся загробной жизни. Я уже наполовину потеряла веру и мне это очень неприятно. Я не обязана верить в Бога, я могу верить в справедливость. Но может быть это и есть Бог, только под другим именем.

Все это неясно. А недавно мамин молитвенник упал на пол, и я его быстро подняла и поцеловала. Почему, не знаю... Мне самой было странно, что я целую облезлый кожаный переплет. Я сделала это подсознательно. Вова уверен, что большинство наших поступков идет из подсознания. Это новая теория, и она мало кому известна. Близнецы тоже говорят о подсознании, но они статьи не читали, а повторяют с чьих-то слов. Я могу притвориться, что открыла подсознание, но мне никто не поверит. Для этого надо перейти какую-то черту. Но когда ж я ее перейду? Летом, на даче, Надежда Моисеевна уговаривала меня не спешить. Все придет в свое время. Ей жалко моего необыкновенного детства. Она пра-

ва, но как можно чувствовать себя счастливой, когда вокруг столько горя?

Нельзя только ныть, как делает вечный студент. Все свои неудачи он приписывает мировой скорби. Он болен мировой скорбью. Из-за нее ничего не стоит провалиться на экзамене. После того, что он поселился у отца иностранного корреспондента, одна из перезрелых девиц тоже заболела этой болезнью. Очевидно, по симпатии. Вова говорит, что она напрасно старается. Студенту нужно по целым дням валяться на неубранной постели и курить папиросы толщиной в палец. О браке он не думает. Девица по всякому поводу приносит ему чай с франзолью, и поэтому он ее терпит. Больше всего он любит горячий сладкий чай с белым хлебом. Вова сказал, что в его комнате так накурено, что не видно, где стены и где потолок.

Вова очень доволен, что студент съехал. Дядя так скоро не уедет. Он расположился надолго. У него третейский суд с компаньоном. Он требует, чтоб устроили третейский суд, и папа был судьей с его стороны. Он уверен, что папа защитит его интересы. О том, что у папы могут быть другие заботы и огорчения, он не думает. Я его давно раскусила! Это самый обыкновенный эгоист. По теории нашей начальницы все дядины дети должны быть альтруистами. Она сказала на уроке английского языка, что поколение эгоистов дает поколение альтруистов. Особого альтруизма в Мате и ее сестрах я не заметила. Самая большая альтруистка в их семье — Таня. Ей ровно ничего не нужно. Платья у нее еще со свадьбы. А свою незаложенную драгоценность, брошку из слоновой кости, она готова в любой момент подарить одной из дочерей. Беда в том, что их три, а брошка одна-единственная.

Мама тоже знает, что дядя эгоист, и моя покой-

ная бабушка это знала. И чем больше дядя ей льстил, тем сильнее она боялась за судьбу своей старшей дочери. Она выплакала себе глаза. Эгоистов видимо-невидимо. Но сын артиста так мелко не плавает! Он — эгоцентрик. Это гораздо значительнее. Все великие люди были эгоцентриками. Я большой разницы не вижу, но он настаивает. Чтоб меня убедить, он говорит, что я будущий эгоцентрик. Сейчас мне это не по плечу. Я хотела бы быть альтруисткой, как Паша, бывшая подруга Веры Львовны. Это она написала мне некрасовские стихи: «Иди к униженным, иди к обиженным, по их стопам...» Паша сама попросила у меня альбом. А недавно я допрашивала Ланю, дружит ли еще с ней Вера Львовна? Ланя хотел увильнуть, но я его прижала к стенке: оказывается, что бывший холостяк невзлюбил Пашу. Она ему неприятна. Он дошел до того, что его раздражает пашина котиковая шапочка и короткая меховая жакетка. А какое ему дело до ее шапочки? Он просто сбрендил. В общем, они почти что раззнакомились.

Не представляю себе, чтоб какой-нибудь муж мог заставить меня раздружиться с Асей. В Асе я не уверена. Она способна была бы найти оправдание для мужа Веры Львовны, как она находит его для остальных мужей. Пока что мне жалко Пашу. Она потеряла свою лучшую подругу. При случае скажу ей, что буду беречь ее стихи: «Иди к униженным, иди к обиженным...» Жаль, что Паша поставила кляксу на самом верху, где три звездочки. Она разволновалась и рука дрогнула. Конечно, виноваты перья Александровского. Он начал давать плохой товар. Вова думает, что не сегодня-завтра он прогорит и тогда его опишут. Не в «Одесской почте» и не в «Голосе Одессы», а придет судебный пристав и всюду поставит печати. После этого магазинчик закроют, и тетради мы будем покупать у Шермана. Так могло бы случиться, но

Александровский не дурак, он пойдет к папе и напомнит ему, что они в родстве и кроме того, из одного города.

Александровский обижен, что его забыли пригласить на обрезание. Я первая забыла. А теперь мне совестно. Александровский может подумать, что его не позвали, как бедного родственника. А как узнать, кто бедный, кто богатый? Это на носу не написано. Вообще, мы не любим богатых. Они подчеркивают, что каждый день меняют воротнички и летом ездят худеть в Мариенбад. На обратном пути муж папиной богатой сестры останавливался у нас. Щеки его висят. Но через несколько дней он опять становится похожим на человека. Геня приписывает это своим балабушкам под коричневым соусом. Секрет их приготовления она откроет лишь на смертном одре. Перед отъездом дядя округляется, и надо думать о худении. Дядя сказал, что мы с ним будем гулять по аллеям Мариенбада. Но не так скоро — он любит племянниц повзрослее.

Александровский тоже не из последних, хотя живет он за перегородкой. Воздух там ужасный. Не знаю, откуда такой берется? Мне показалось, что мою голову засунули в корзину с грязным бельем. И все потому, что у него нет жены. Ему нужна семейная жизнь. Я спросила Геню, не хочет ли она выйти замуж за Александровского. Она безумно обиделась. Как я могу при живом муже предлагать ей женихов! Но я ничего не предлагаю. Я только хотела справиться. Хорошо, она сосватает ему свою сестру со Старого базара. Все равно она все дни проводит у нас. Ей надо было бы только спуститься, и она уже в лавке. И потом она вдова, и Александровский вдовец, им полагается быть вместе. Я имею в виду еще одну невесту, Тетю Сашу, но она вряд ли пойдет за него, она кончила прогимназию. Это было

давно, так давно, что Тетя Саша успела забыть все, чему ее научили. Она помнит только, что была первой по рукоделию и по чистописанию. Эти предметы мне никак не даются. Мое чистописание можно смело назвать грязнописанием. Стоит мне взять в руки тетрадку, как она покрывается чернильными пятнами величиной в кулак. Я жертва промокашек от Александровского. От них маленькое пятнышко может превратиться в Черное море...

Ася отличается невероятным постоянством. С трудом уговорила ее переменить угловой греческий буфет на тот, где вафельная машина. Если б не эта машина, Ася ни за что бы не отказалась от старого грека с его баклавой, засиженной всеми одесскими мухами. На утренниках она всегда в амфитеатре. Это лучше, чем галерка и не так нарядно, как партер. Я предпочитаю галерку, но Ася важничает: ей и ее сестре дали по семьдесят пять копеек. А я была с Вовой на галерке и публика мне очень понравилась. Вова сказал, что это интеллигенция. И что он отдыхает душой. С сыном артиста он ходил в партер по контрамаркам, у них есть даже свои любимые кресла. То, что справа, изрядно просижено театральным критиком одной газеты. Какой, я не скажу. И так все догадались. Критик приходит в театр ровно за полсекунды до начала действия и грузно опускается в свое кресло. Его соседи негодуют: мешает слушать. Но критику наплевать. Спектакль ставят для того, чтоб на следующий день он мог написать рецензию. И если он захочет, то всех сотрет в порошок.

Я пристаю, чтоб меня повели в еврейский театр. Бухгалтер Миша давно обещал, а теперь отнекивается. Спектакль продолжается слишком долго. Артисты играли бы до утра, но публика в конце концов начинает покидать зал. Довольно, она получила все, что можно было получить за небольшие деньги. Ко-

гда-нибудь мы пойдем, и я услышу, на каком замечательном еврейско-немецком языке там объясняются в любви. Хуже всего то, что зрители постоянно меняют места. Посреди действия они выходят из своего ряда и начинают рыскать по чужим рядам и всем наступать на ноги. Попробовали бы они это делать в Городском театре! Их немедленно вывели бы за дверь.

Меня больше всего волнует тишина в зале. Слышно только, как шуршат программы. Какой-то мальчик с треском разгрыз конфету, и на него обернулись. Чихнуть и то неудобно. Изо всех сил удерживаю свой чих и кажется, сейчас лопну... Но если крикнуть: «Пожар!» — все бросятся к выходу и будут давить женщин и детей... Это я прочла в одной переводной книге, где описывается пожар в парижской опере. А мне говорили, что нельзя поддаваться панике. Наверное, и посетителям оперы это говорили, а когда пришла опасность они стали хуже диких зверей. Я видела однажды, как дочка доктора потеряла свой человеческий облик. Ей показалось, что у нее украли альбомчик из сафьяновой кожи. Она страшным хриплым голосом кричала, что здесь сборище воровок и мошенниц. Да, ее обокрали, и не в первый раз. У нее уже вытащили из парты заграничное зеркальце с гребешком. И каждый день тащат бутерброды. Она бы так орала Бог знает, сколько времени, но подошла Муся Логинская и очень спокойно по слогам сказала: «За-мол-чи!». Услышав, что с ней говорят по слогам, дочка доктора немедленно переменила тон. Она вовсе не орет. Нам это показалось. Я давно знаю, что нахалы бывают трусами. У Вовы в классе есть несколько таких крикунов. Но стоит им пригрозить, и они сразу становятся шелковыми.

Никогда бы я не подумала, что Муся умеет приказывать. До сих пор я считала ее только человеком

долга. Она мне еще сильней понравилась, но дружить с ней я по-прежнему не в состоянии. Когда я смотрю на мусин ровный белый пробор и на ее косы с узенькими лентами я начинаю находить у себя решительно все недостатки. Ее честные глаза меня разоблачают. Я не готовлю уроков, я лентяйка. Прихожу за десять минут до звонка, чтоб наспех просмотреть то, над чем Муся добросовестно корпела целый долгий вечер. Правда, она будет помнить это всю жизнь, а я тут же забуду. Вова сказал, что наши учебники устарели. А сын артиста знает, что никакого призвания князей не было! Это выдумка летописца. География тоже вещь темная. А что касается арифметических задач, то их проще всего решать алгебраическим способом.

После таких разговоров у меня руки опускаются. Но выхода нет, эти предметы входят в гимназическую программу и без них нельзя получить аттестат. Матя свой прячет, в нем нет ни одной пятерки, а у кузины Мани были только пятерки, но она относится к ним пренебрежительно. Они ничего не изменили в ее жизни. Зачем же она так старалась? Кузина Маня забыла, что в то время была влюблена в трех учителей сразу. И главной ее любовью был учитель словесности. Никто мне этого не говорил, но я предполагаю, что она не может жить без любви. В учителя я не влюблюсь ни за какие блага. Вместо того, чтоб испытывать блаженство, как в романе, я должна буду ждать, что меня вызовут к доске. А что если от волнения мел выпадет из рук и раскрошится... Шестиклассница со змеиной головкой другого мнения, но я остаюсь при своем.

Самый мужественный человек в гимназии это служитель Афанасий. У него богатырская грудь, покрытая множеством медалей. А у наших учителей никаких медалей. Есть, правда, один с орденом, но

он его стесняется. Он слишком передовой человек, чтоб получать правительственные награды... Это он будто бы говорил Эсперансе. Скорей всего она выдумала. Эсперанса делает вид, что гимназия и уроки — не для нее. Она такая же непонятая натура, как наш вечный студент. Вова мне сказал под строжайшим секретом, что отец иностранного корреспондента умоляет папу переговорить с ним. Он должен знать какие у студента намерения относительно его дочери. Если серьезные, то семья готова перемучиться и продержать его в квартире, пока он сдаст государственные экзамены. Папа всегда на стороне обиженных, но к сожалению он уверен, что студент экзаменов не сдаст, за три года он не был ни на одной лекции.

Я понимаю, почему отец иностранного кроррес-пондента врос в землю и скоро ему придется подбирать полы свой шубы. Он сгорбился от горя. И дочки его пилят, и жена въедается в печенки. Гене все рассказала лавочница с Малой Арнаутской. Геня туда ходит, хотя лавочка далеко. Это земляки... Ее просили покупать в другом месте, но Геня не уступает. Поэтому сахар иногда попахивает керосином, а в муке уже попадались мелкие гвозди. «Ну что ж, — говорит Геня. — Муку все равно просеивают... А мелкий гвоздь лучше большого гвоздя, тот может разрезать ваш желудок пополам». Если б лавочники не были ее земляками, Геня метала бы гром и молнии. Чужим она ничего не прощает. На меня она дуется: со вчерашнего дня я перестала ходить на кухню. Выяснилось, что немецкие мещанки признают четыре «к» и одно из них — кухня. Остальные меня не касаются. Конечно, они говорят о готовке, но если я буду торчать на кухне, то может быть сама начну стряпать. Боюсь, что долго я не вытерплю. Кухня притягивает, как магнит. Я люблю когда при мне

растапливают плиту. Сначала ничего не выходит и Геня обзывает угольщика всякими нехорошими словами. Но вот вырвалась первая струйка огня и плита начинает шипеть и бурлить. Скорей, скорей, ставьте кофейник. Пришла с базара генина сестра, а у нее от разговоров с покупательницами все горло пересохло. Чтоб показать, какое оно сухое, генина сестра покашливает. Для меня она не должна кашлять, я ей верю. Но почему на кухне постоянно пьют кофе? В столовой ведь говорят, что от этого бывает сердцебиение. Наверное, это другой кофе. Он называется цикорий. Прачка Оля пьет его с халвой. Раньше она давала мне отщипнуть кусочек и ее халва мне нравилась больше, чем блестящая и жирная от Дуварджоглу. Олина была цвета замазки.

Вова смеется над моим пристрастием к дешевым сладостям. Он сказал, что мне важней всего количество. На качество я не обращаю внимания. Но он сам непрочь съесть полфунта простой халвы. Это помогает сосредоточиться. А близнецам для того, чтоб сосредоточиться, нужна плитка шоколада Сиу. Самого толстого и твердого. Их папаше такой плитки не разгрызть: у него вставная челюсть. Вечером он кладет ее в стакан, а утром у него опять чудные белые зубы. Они похожи на зубы людоеда. Но это обман зрения. На самом деле ими нельзя разгрызть самого маленького орешка. Но ему не нужна вставная челюсть: у него железные пальцы... Поэтому, он раздает щипки — направо и налево. Теперь близнецы подросли, и он ограничивается оплеухами. Близнецы пока терпят, но они сказали Вове, что все висит на волоске. И в один прекрасный день может сорваться. Тогда их папаша проклянет день, когда он появился на свет Божий.

К остальным детям это не относится. Тиночка, например, днюет и ночует в Театральной школе. Она

немного побледнела от ежедневных репетиций. И ее болезненная мама в отчаянии. Она советовалась с Вовой, что бы такое сделать, чтоб ее персик не превратился в сморщенное яблоко... «К чему ей сдалась сцена!.. Ну, сцена — еще полбеды. Но что за сценой?». Вова против того, чтоб Тиночка бегала на репетиции, тем более, что они по большей части происходят не в Театральной школе. Тиночку уже видели в парке с одним почти-что-актером, но пока еще учеником. Вова знает, что они танцевали модный танец в постановке балетмейстера Казимирова и запонка почти-что-актера врезалась ей в декольте.

Конечно, Вова не сказал ее нервной маме ни про актера, ни про запонку. При всех обстоятельствах он остается джентельменом. Он только вежливо намекнул, что Тиночке хорошо было бы пить сливки Чичкина: она сейчас же пошлет близнецов. Кончилось тем, что Вова охладел к театральной карьере. Он уговорит велосипедную девочку пойти на историко-филологический. Это самый жениховский из всех факультетов. Пойду на любой, но не на историко-филологический. С арифметикой у меня нелады. Когда я вижу черную доску, исписанную мелкими цифрами, у меня начинает кружиться голова. А учительница в сильных очках, как на зло, медленным и тягучим голосом диктует нам задачу. Должны ее решить без посторонней помощи. А как это сделать? Лида Радиопуло покусывает новую ручку из красного дерева, а Берта Креде просто сидит, как чурбан. Чтоб отвлечь внимание учительницы, начинаю решать, но, кажется, я на ложном пути. Смотрю на Мусю Логинскую. Она сдвинула брови и что-то быстро и аккуратно пишет. Мне хочется выйти из класса. Поднимаю руку. Но учительница, хотя она мямля, на этот раз не соглашается. Во время письменного ответа нельзя выходить. А если нужно? У меня такое ли-

цо, что она в конце концов уступает. Потом скажет, что я пускаюсь на хитрости. Но мне безразлично. Никто не застрахован от злословия, как говорит тетя Лиля, когда ее упрекают в том, что она часто ездит за границу.

На уроке истории мне никогда не хочется выйти. Я готова отвечать на самые трудные вопросы. Владимир Мономах? Но ведь всем известно, что он сказал: «Да, тяжела шапка Мономаха...» Галина Петровна потрясена: я что-то путаю. Ну да! Это ведь говорит Борис Годунов! Странно, а мне показалось, что так говорил сам Владимир Мономах на съезде князей... Галина Петровна оторопела, она даже не сердится. Ей неловко сердиться: она большая и толстая, а я невысокого роста и когда надо, могу стать совсем маленькой. И это не притворство. Вся моя самостоятельность уходит в трубу и я чувствую себя беззащитной. Но длится это недолго и мне стыдно моего малодушия. Нет, я не хочу быть Топсиком номер два. Она, правда, миленькая, гораздо милее меня, но зато какая трусиха! Все объясняется ее ростом. Она боится, что в суматохе могут отдавить ей все пальцы. Мурзик в ужасе от своих детских ног. Она наивна и не понимает, что маленькие ножки — мечта всех девиц. Матя готова идти на все, лишь бы нога выглядела маленькой... А любимые лакированные туфли так жмут, что она сбрасывает их в прихожей. Недаром Вова назвал ее мученицей моды.

У меня целый список таких мучениц, но я их не жалею. Свои страдания они переносят молча, а некоторые даже улыбаются, как будто им подарили коробку конфет от Абрикосова. Прежде Матя твердила с утра до вечера: «Для того, чтоб быть красивой, надо страдать». Это будто бы французская поговорка. Я справилась у мадмазель, и она повторила

это слово в слово. Но ведь речь идет о низменных страданиях, а не о тех, что облагораживают. Матя пускается в спор. Почему я так презираю красоту? Сам Пушкин сказал, что можно думать о красоте ногтей. Матя торжествует. Пушкин для меня — авторитет. Она уверена, что последнее слово останется за ней. Но гордость не позволяет мне отступить. В конце концов и гении могут ошибаться. Тем более, что сын артиста сказал мимоходом, что у Пушкина было много слабостей. Мате вовсе не нужна лекция о Пушкине. Если б она захотела, то могла бы в любой день пойти на доклад. Детей там не бывает, а только студенты и курсистки. Дочка доктора сказала, что отец ее тоже читает доклады в медицинском обществе. Названия она не помнит. У нее вдруг отшибло память. Васса меня толкнула в бок. Это означает: дочка доктора не успела еще придумать. Завтра она явится в класс с готовым названием, длиной в три аршина.

Про ее папу я как-то спросила у моего доктора, и он в ответ загадочно покачал головой. Вова говорит, что врачебная этика не позволяет ему дурно отзываться о коллегах. Неужели нет ученической этики или просто человеческой, а только врачебная и адвокатская?.. На Тубенкопфа она не распространяется. Он любит критиковать других адвокатов. Ругать он их не ругает, он говорит с притворной жалостью: «Бедный такой-то». По мнению Вовы это обозначает, что «бедный такой-то» недавно выиграл процесс. Со временем Тубенкопф распухнет от зависти, но пока он тощий, как жердь и кажется чудовищно элегантным. Никто из наших знакомых не закидывает ногу на ногу, один только Тубенкопф. Вова всегда подозревал, что он носит шелковые носки и, вообще, он сноб. Зато его жена напоминает немолодую интеллигентную акушерку из провинции. Но

брошка и двойной подбородок выдают ее: она — мать семейства, а также жена выдающегося юриста.

Мужья и жены часто преувеличивают. На свадьбе у дяди Семы родственник, похожий на древнего римлянина в штатском, называет свою безобразную жену Солнышком и Котиком. Солнышко ушло, Котик пришел... Мама сказала тогда, чтоб я не смела фыркать. Родственник уверен, что его жена-солнышко. Странные люди, как они могут закрывать глаза на правду? Если бы я была уверена, что любовь, действительно, творит чудеса, я постаралась бы полюбить самого безобразного человека в Одессе. Интересно знать, что бы из этого вышло. Но Вова говорит, что не стоит трудиться: любовь приходит неожиданно, этом гром посреди безоблачного неба. Любить по принуждению — невозможно. Значит, для родственника с римским профилем гром прогремел, а для его жены все осталось на месте. Ну, это пустяки. Отец велосипедной девочки называет ее маму: Цыпленочек, а она такая упитанная, что с трудом помещается в кресле. Есть еще Мушка, напоминающая старую паучиху и Песик, жена директора банка. Она бывает на званых обедах. Глаза Песика навыкате. Можно подумать, что сейчас она их потеряет, но смеяться над этим грешно. Каждую минуту она способна умереть. О том, что мадам Тубенкопф и сестра ее бывают то рыбками, то птичками, я уже говорила. Мне очень неприятна мысль, что когда-нибудь и я превращусь в Мушку или Мышку... И по вечерам мой муж будет ходить по аллеям нашей большефонтанской дачи и звать меня: Мышка. Мышенок! А я заткну уши, чтобы не слышать.

57.

Когда я злюсь, мне хочется быть нетерпимой, как Боря Гаевский. Он ничего не прощает, и об уступках не может быть и речи. У меня это не получается, я уступаю! Даже дочке доктора. Ну ей, потому что она слишком приставучая и может довести до белого каленья. Она требует, чтобы мы ее вранье принимали за чистую правду. Конечно, если бы говорили одну правду, стало бы страшно скучно. Но лживость и ложь я презираю. Мне нравятся выдумщицы, вроде Вассы. Она может часами рассказывать о местах, где никогда не была. Например, о деревне со смешным названием, где она проводила лето. И тут же она говорит, что летом оставалась в городе в полутемной квартире, потому что ее приемная мать сама уехала, а ставни велела держать закрытыми. Если выцветут обои или старые портьеры — ей будет за это отвечать! Васса ходила на кухню, где стены побелены и нечему выцвести. Она собиралась к нам на дачу, но не было денег на трамвай. Боже, как я себя ругала. Я должна была насильно дать ей деньги. Васса бы отказывалась, она не выдержала бы моих слез. Васса любит представляться отчаянной, но на деле она чувствительнее не только Топсика, но и Мары с ее артистическими наклонностями.

Неужели же мы просто сопливые девчонки, как

выражался когда-то Боря Гаевский? В его черствость я плохо верю! Однажды, он попросил у меня Желиховскую. Он будто бы хочет дать ее на прочтение одной сопливой кузине. Я знала, что кузина это предлог, и он сам будет проливать слезы над Желиховской. Я уже видела, как он, будто невзначай, перелистывал «Задушевное Слово». Но дразнить его я не собираюсь, это слишком жестоко. Мало ли кто притворяется? Сын артиста называет себя человеком отчаянной жизни. А это чистейшая фантазия. Жизнь у него как у всех.

Не стоит дразнить судьбу. Геня это испытала на своей шкуре. Она всегда была разборчивой невестой и клялась, что за попрошайку не выйдет. И что ж? Она стала женой нищего служки. Что случилось дальше, вы знаете. Теперь служка ходит по чужим хатам и ему кое-что перепадает. Не знаю, под какой звездой она появилась на свет, но, вероятно, под самой маленькой. А я никак не могу решить, чего у меня больше: удачи или невезения. Бывают дни, выкроенные по счастливой мерке. Например, прошлая суббота, когда в классе читали мое сочинение про татарское иго. Галина Петровна удивилась, откуда я знаю, как уничтожали людей? А я ей ни за что не скажу, что вспомнила вдруг учителя Айзенштадта и его рассказы про еврейские погромы в Одессе. Бедный Айзенштадт, он был один раз у папы и больше не приходит, ему стыдно. Дела не идут. Стоило ему открыть лавочку на Прохоровской, как рядом пооткрывали его конкуренты. Чтоб он ни продавал, за все они берут на копейку меньше. А эта копейка — весь его заработок! С Айзенштадтом мне было интереснее, чем с Хейфецом. Тот слишком занят своей персоной. Он каждый раз приносит другие книги, как будто бы очень серьезные, но мы не читаем, потому что Хейфец должен рассказать мне о своих

успехах. Время летит. Поговорили, и урок прошел. Хорошо, что никому в голову не приходит проверить мои знания. Вот бы поразились! А Хейфец всем раструбил, что разбирает со мной стихи Бялика. Но я о них понятия не имею. Самого Бялика я видела, он часто проходит мимо нашего дома. Вова сказал, что Бялик не уступит библейским пророкам. Он нечто среднее между Державиным и Пушкиным. По виду это самый обыкновенный рыжий мужчина. Но смеется он, как ребенок. Я один раз слышала его смех и мне без всякой причины стало весело.

Такое веселье самое приятное. Когда мы с Асей хохочем, прохожие на нас оборачиваются. Они думают, что мы сошли с ума. А мы уже не помним, с чего началось. Кажется, я сказала что-то смешное, и Ася затряслась от хохота. Тоня Калиниченко тоже хохотушка: стоит ей показать палец, как она уже смеется! По-моему при виде пальца с грязными ногтями можно скорее плакать. Мы смеемся, когда Лида Родиопуло вместо пелеринки говорит перелинка... Она же говорит «колидор». И за это ей влетело от Надежды Игнатьевны. Лида не виновата. У них дома все говорят: «колидор». С этим она родилась и с этим сойдет в могилу.

Мне нравится, что Лида так отстаивает свою правоту. Дочка доктора нередко вступает в спор с учителями, но она хуже Родиопуло. Наша немка не выдержала и сказала ей, что самохвальство воняет. Понемецки это вышло не так грубо, но дочка доктора смертельно обиделась. «Как, она воняет!». Никто ей таких вещей не говорил, даже Антуанетта Фердинандовна, а всем известно, какое у нее замечательное французское обоняние. Немка сама была не рада своей поговорке. Она принялась объяснять, что это не относится к дочке доктора, как таковой, а к ее моральным качествам. Объяснение только подлило масло

в огонь. Дочка доктора захлебывалась от слез и повторяла, что моральные качества выдумали педагоги. В общем, у нас в классе все нервные и постоянно обижаются. Но самый нервный класс — седьмой. Семиклассницы ходят попарно и шушукаются. «Он сказал, я сказала...» Одна из них толкнула Топсика в живот. И та выдержала характер. Зато семиклассница позеленела от страха, она пыталась все замазать, но Топсику не нужны подачки. Даже если у нее дыра в животе, она не побежит жаловаться.

В тот день я полюбила ее за мужество и может быть сделаю своей третьей подругой. Несмотря ни на что, Ася на первом месте. На втором — Васса. Но если Ася пронюхает, она меня заест. Когда она не приходит по болезни, а это случается редко, Васса торжествует. Получается, что я между двух огней, как героиня одной любительской пьесы. Ставили ее на Среднем Фонтане на даче, где был театр под открытым небом. Меня туда не взяли и я отомстила тем, что поставила «Деньщик подвел», тоже под открытым небом. Пьесу пришлось немного переиначить, так как я ее знала с чужих слов. Публики было немного: Геня, Юзя и несколько прислуг с соседних дач. И всем очень понравилось.

Теперь я не стала бы заниматься подобными глупостями. Я вижу, как Вова вживается в свою роль в «Тартюфе». А сын артиста снизошел до того, что просит Вову его прослушивать. Сын артиста страшно волнуется. Но стесняться не следует. У всех больших артистов бывает сценическая лихорадка. Спокойны только посредственности и полезные работники. Вова и сын артиста заразили меня своим волнением. Мне снилось, что я играю в «Тартюфе» и роль, до последнего словечка, вылетела у меня из головы. А зрительный зал уходит все дальше и дальше. Передо мной только суфлерская будка, такая же высокая

как дом, где магазин господина Букинери. В ней сидит Мольер. Но на самом деле это не Мольер, а наш гимназический служитель, Афанасий. Очень странный сон. Я его не рассказываю, он может испортить настроение Вове и другим исполнителям. А их режиссер, артист с реденькими волосами, сказал, что вся игра построена на настроении. В последний раз он сделал Вове большой комплимент. Он сравнил его с артистом Гетмановым из Херсона. Вове конечно было бы приятнее, если б он сравнил его с каким-нибудь москвичем. Впрочем, Вова узнал, что в Херсоне совсем не плохой театр. Там были постановки в сукнах.

Близнецы не заняты в «Тартюфе», и они шипят: им противно думать, что дают такое старье. Вот у Тиночки в Театральной школе репетировали пьесу Косоротова «Весенний поток», это была настоящая первоклассная драма! Но, конечно, учащиеся должны жевать Мольера. Все это говорится из зависти. Я когда-то позавидовала Мусе Логинской, мне захотелось, почти что до слез, иметь такую, как у нее, толстую твердую косу, с бантиком в конце. В тот же день Муся заболела и ее на извозчике отправили домой. А я чуть не умерла от раскаяния и страха, что остригут ее каштановые волосы. Но температура упала и все пошло по-старому: мусина коса еще туже заплетена, и я стараюсь на нее не смотреть. Давным давно дедушка говорил мне, что тетя Ида страшно завистливая. Ей кажется, что все остальные богатые и только она, несчастная, должна жить в трех комнатах. Она приходила в старой меховой жакетке, где вместо котика гладкая черная кожа. Но дедушка пожимал плечами: он ничего в мехах не смыслит.

Сейчас дедушка таких историй не рассказывает. Он даже не говорит о том, как обворовывают папу, а это его любимая тема. Единственный раз в жизни

он рассердился, когда я сказала, что мамины родственники вовсе не попрошайки и что ее семья более аристократическая, чем дедушкина. «Хорошенькие аристократы, — грохотал дедушка. — Они пустораты, вот они кто... Что с того, что они кушают компот, когда им нечем заплатить за мясо». Мы с трудом пришли к заключению, что дедушкина семья тоже аристократическая. Уже папин дед жил в двухэтажном доме и у него была несгораемая касса. Зато моя прабабушка с маминой стороны заказывала шляпы в Вене. Но я промолчала. Эти шляпы могли бы надолго испортить отношения. Дедушка и так любит повторять, что в этой семье все моты и бездельники. Для мамы он делает исключение. Она святая. Как бы я радовалась, если б дедушка опять стал ругать мамину семью. Я бы, кажется, от радости ему поддакивала! Но дедушке все безразлично. Я заметила, что брови у него стали еще гуще. Они совсем белые.

Хармаку тоже не нравится дедушкино состояние. Он приходит каждый день, садится в угол и молчит. Иногда дедушка спрашивает: «Что, старый Хармак здесь?». — «Он здесь», — отвечает Хармак таким хриплым голосом, как будто выкурил десять сигар подряд. Потом опять молчание. И тогда Хармак начинает сморкаться. Он делает это долго и старательно, как настоящую работу. Второй дедушкин друг, Бебеле, не такой тихий. Он непоседа. Все ему нужно знать, и всем он задает вопросы. У меня он спросил, почему так редко измеряют температуру. А что я могла ему ответить, я ведь не заведую градусником. Дедушка никому его не доверяет. Держит он его очень долго, вдвое дольше чем полагается. Потом нужно придвинуть лампу, и дедушка с большим недоверием рассматривает столбик ртути. Наконец он наклоняет градусник и ртуть поднимается еще на

одну десятую. Но градусник прячут, и дедушка снова впадает в забытье.

Не представляла себе, что он может стать таким. Прежде он кипятился, раздражался, негодовал. Он не мог понять, почему мой вознесенский дедушка всегда молится. Неужели он думает, что Богу нужны его молитвы? А я уверена, что дедушкины молитвы доходят. Он ведь не просит ни здоровья, ни заработка... Все в руках Божьих. Его набожность не придуманная. Остальным он все прощает. Ему, конечно, обидно, что дядя Сема курит в субботу, но что поделаешь. Я сердита на Сему. Он мог бы один день в неделю обойтись без папирос. Когда-нибудь он пожалеет, что огорчил своего кроткого замечательного отца, и будет поздно. Дедушка с Пушкинской до своей болезни делал все, что не полагается, но при закрытых дверях. Он говорил, что не нужно дразнить гусей... Главное он по целым дням читал книги в потертых кожаных переплетах. Когда-то за них могли выгнать его из местечка и объявить неверующим, что хуже смерти. Но в те далекие времена еще не было Бялика и других еврейских поэтов. Недавно Генина сестра сказала мне, что хочет умереть в Палестине. Имею ли я понятие, какой там виноград? Два человека несут одну виноградную гроздь. Это она видела этикетку на вине «Кармел» и приняла ее всерьез. Не знаю, как быть? Разочаровывать мне больно. Кажется, что я отниму у нее самое дорогое. Нет, лучше буду молчать. А вдруг случится чудо и в Палестине начнет расти именно такой виноград.

В поездку гениной сестры я не верю. Она боится воды и огня. Огня, потому что помнит, как во время пожара выскочила на двор в сорочке и нижней юбке. Остальные бебихи сгорели, а ей повезло: ни одна искорка не упала на ее сундучок. После этого они уехали в Одессу искать счастья, но не по воде, упа-

си Боже. Палестину она выдумала, чтоб было не так скучно сидеть на базаре. А по-моему там не соскучишься. Я бы каждый день ходила на базар, но меня не берут. Это бессмысленная трата времени. Для гулянья базар — место неподходящее: лучше просто ходить по улицам, чем вдыхать запах сморщенных яблок и гнилой капусты. Гулянье, вообще, никому не нужно. Я согласна идти пешком из гимназии, но с заходом к Геттингу или Исаевичу.

Сейчас у меня большое событие. Неделю тому назад в наш класс поступила девочка с широко расставленными глазами и с косой, как у Муси. Лицо у нее матовое, такое матовое, что Лида Родиопуло лопается от зависти. Зовут ее Таня, а фамилию не скажу. Таню приняли посреди года и она сразу стала у нас важной персоной. Но в хорошем смысле, не так, как дочка доктора. Два дня мы присматривались друг к другу, а на третий я почувствовала, что Таня входит в мою жизнь. Я не тороплюсь, я знаю, что мы будет друзьями, но Таня недоверчивая — у нее уже была лучшая подруга и они разошлись. С Таней дружить нелегко. Она властная и хочет, чтоб ей подчинялись. А со мной этот номер не пройдет. Сын артиста сказал, что душа поэта требует свободы. Это относилось не ко мне, а к Пушкину и Лермонтову. Но и я не могла бы жить в оковах света, как некоторые жертвы предрассудков. Вове я рассказала про Таню и он недоволен ее матовой бледностью. Если б Таня была в пятом классе, он рассуждал бы по другому. Впрочем, бледность теперь не в моде. Матя как-то натерла щеки красной бумажкой, и стала страшно вульгарной. Она испугалась и заклинает меня, чтоб я никогда, никогда не красилась.

Матя не сомневается, что со временем я буду употреблять косметику: под этим она подразумевает пудру и различные притирания. Она мечтает о креме

«метаморфоза», но ей неудобно пойти за ним в аптекарский магазин. Я обещала, что куплю «метаморфозу». Мне безразлично мнение провизора. Для общего спокойствия я могу сказать, что меня послала тетка из Херсона. Но когда придет папина племянница, Лизочка, я обязательно спрошу про флаконы с розовой жидкостью. От нее лицо становится фарфоровым. Матя подскочит до потолка когда я преподнесу ей такой флакон. Я сделаю это осторожно, с тактом. Никто не должен знать, что от природы кожа у нее совсем не фарфоровая и не прозрачная, как у одной ученицы по классу пения. Матя не понимает, как в ее возрасте, а ей за тридцать, можно иметь такую кожу. «Она светится» — говорит Матя, и в голосе у нее отчаяние. Ей обидно, что ее собственная кожа не светится. Когда-нибудь я поделюсь этим с Таней, а пока на второй перемене она рассказывает всем, кто только хочет слушать, что ее кузина — премированная красавица. Зовут ее Нина Рафаиловна, но поклонники, вместо Рафаиловна, говорят: «Рафаэлевна»... «Нина Рафаэлевна...» Мне это не понравилось, но я промолчала. Не хочу из-за какой-то Рафаэлевны портить нашу дружбу. Мне немного неприятно, что Таня так восхваляет своих родственников. Надо быть объективной. Вечный студент стремится к объективности, поэтому он заявил, что сестра папиного корреспондента со всеми ее чаями надоела ему хуже горькой редьки. Но ведь это грубость. Было бы честнее, если б он съехал с квартиры.

Студент на всех перекрестках кричит о том, как он одинок. Его удел: одиночество. Это всегда роднило его с великими людьми. Но Вова тут же ставит его на место. Он говорит, что великие люди, наверное, отказались бы от родства с ним. Вова выразился еще более резко, но не буду это подчеркивать. На самом деле студент не прочь был бы снова переехать

к нам и устроиться в Вовиной комнате, на диване. Это ему не удастся. Черта с два! Вова хочет выселить дядю, но это не так просто. Дядя Сема пожилой человек и кормилец семьи. Он надеется, что сыновья пойдут по его стопам, а дочери — по стопам тети Тани. Но кто тогда будет кормить немощных родителей? Об этот дядя не подумал. Мне непонятно, что Матя смотрит на него, как на Господа Бога. К другим она не так снисходительна. Невесту Зиновия она разделала под орех: у той, будто бы, кривые ноги и глаза, как булавочные головки. Какая странная выдумка! Они были у нас с визитом и мне невеста понравилась. У нее, правда, есть признак малокровия: бледные десны. Но Вова меня успокоил. Невесту подкормят, и все будет хорошо. Он уже видел на своем веку немало малокровных барышень. Не проходило и года, как они превращались в упитанных молодых дам, а затем в солидных мадам с бюстом на десять персон. Я начинаю перебирать в уме наших знакомых. Действительно, худеньких среди них кот наплакал: докторша Ашевская, тетя Лиля и еще две-три. Им не помог виноградный сезон. А к некоторым худоба перешла по наследству. Тетя Лиля хвастает, что у них все худые. «У нас парижские фигуры», — говорит тетя Лиля. Стоит кому-нибудь из ее семьи войти в театр или в ресторан, как начинают шептаться. На каком основании она думает, что это шопот восторга? А что если один другому шепчут: «что за драные кошки!».

Мне нравится моя мама, но из принципа я молчу. Она гораздо красивее всех оперных артисток от Александровского. Рядом с мамой они какие-то грузные и фальшивые. Со сцены они лучше, особенно если видеть их с галерки. Певицы должны быть толстыми, у них нет выхода. Как только они начнут худеть, голос пропадет и останется писк и визг. Я сказала это

дочке доктора, так как она собирается стать певицей. Поднялась целая буча. Откуда я знаю! Что за клевета! У меня самой нет талии, а у нее есть и она может мне доказать. Завтра же она принесет в класс сантиметр. Мне абсолютно безразлично. За талиями я не гонюсь. И потом неизвестно, принесет ли она сантиметр. Дочка доктора хотела принести золотую медаль своего папы, замечательные швейцарские часики без пружин, чучело райской птицы и много других предметов. В результате она все забыла дома. А на днях Тоня Калиниченко рассказала мне под строжайшим секретом, что в нашем классе некоторые носят лифчики от корсетницы. У Лиды Родиопуло лифчик на китовом усе. Меня это преследует. Я хотела бы забыть про китовый ус. В нем что-то неприличное. Теперь я понимаю, почему Лида Родиопуло издевается над Вассой и надо мной. «У вас вечно падают носки!». Ну и пусть падают. Это приятно. Самое глупое, когда они натянуты так, что смотреть противно. А что на гамашах не хватает пуговиц, — не моя вина. Юзя не позволяет мне их пришить, я это делаю на живую нитку. Вот у Вовы все пуговицы на месте. Их можно вырвать только с мясом.

Я спросила у сына артиста, кто ему пришивает пуговицы? Он отмахнулся: «Пуговицы, что за ерунда!». Для того чтоб быть элегантным, необходима складка на штанах. По дружбе сын артиста готов поделиться с Вовой своим опытом: за неимением портного можно класть штаны под тюфяк, получается настоящая складка. Надо будет сказать вечному студенту, а то он весь мятый и жеванный. Носит он только русские рубашки черного цвета. Такие будто бы у Горького и у Скитальца. Студент решил нас ошарашить: он уже три года не вылезает из рубашки... Как, из той же самой? Даже странно подумать.

Он вообще странный. Единственно, что мне у него понравилось, это коржи. Он привозит их из дому. От них пахнет овчинным тулупом, но они вкуснее гениных деликатных коржиков — каждый из них — толщиной в кулак. И это доказывает, что в глухой провинции живут люди, понимающие толк в коржах.

Если послушать Надежду Моисеевну, в приднепровском городке умели пользоваться жизнью. Летом там устраивались пикники. А клубные балы? Надежда Моисеевна танцевала на одном из них с доверенным банка. После этого она решила, что она невеста, и сын доктора сгорал от ревности. Но доверенный даже не приехал к ним с визитом. Что было дальше, я не знаю. Надежда Моисеевна рассказывает медленно, со всеми подробностями. И в последнее время мы почти что не видаемся. Она — дежурит у своей глухой старухи. Та каждый год умирает и до сих пор жива. Никто ей не верит, все считают что это штучки. Вот они будут удивлены, когда она на самом деле умрет. Надежда Моисеевна жалеет старуху. Она очень одинокая, даже внуки к ней не приходят. А я готова переехать на Пушкинскую и по целым дням караулить дедушку. В спальне у него перетоплено и там появились мухи. Одна из мух, самая злая, как будто прилипла к кафельной печке. Видно было, что она чувствует себя как дома. Целый вечер она не выходила у меня из головы. Я вспомнила, что дедушка любил убивать мух. Матя один раз сказала, что это неаппетитно, и я ее чуть не растерзала. Пусть лучше критикует своего папу. Вслух я не выговорила ни слова. Я спорила с ней мысленно. И возможно, что она не догадалась. Через некоторое время я мысленно с ней помирилась. Бог с ней, пусть считает себя эфирным созданием. Она не менее эфирная, чем наша семиклассница, Эсперанса. Кстати, Эсперанса опять хочет стать Надеждой, но

ей неловко так часто менять имена. Над ней будут издеваться. А Эсперансе важно иметь много поклонниц и поклонников: она собирается на сцену. Она немного картавит, ну что ж, она возьмет себя в руки и на зло всем освободится от этого дефекта. У нее будет изумительная дикция... Когда она дает мне сдачу, я прислушиваюсь к тому, как она бормочет: бдт, бдт, бдт, брррр... Она просит меня сказать: «о, лазурное царство!». И я говорю. «О, лазугное цагство» — повторяет Эсперанса. Но я ведь сказала правильно! Неужели она не слышит? Потом выяснилось, что меня она отлично слышит, она не слышит себя.

«Никто не знает своего голоса» — говорит Эсперанса, и ей кажется, что она открыла Америку. А мне еще с прошлого года известно, что никто не уверен в цвете своих волос и в форме своих ушей. Если б я сказа Эсперансе, она бы не поверила. Я ж не виновата, что Эсперанса — старшая в семье и ей не у кого справиться. А у меня столько научных сведений, что голова кругом идет. Меня пичкает ими Ланя. Стоит ему прочесть журнал «Природа и люди», как он сейчас же передает его содержание своими словами. Даже то, что напечатано мелким шрифтом на последней странице, у Лани становится грандиозным. Но кто ж сам изобретатель? — Он француз с тройной французской фамилией. Бывают и немецкие изобретатели, у них обыкновенные имена с окончанием на «штейн» или на «берг». Ланя тоже хотел быть изобретателем, хотя у него неподходящая фамилия. А Вова немного охладел к науке: он увлекся Мольером.

День спектакля приближается, они уже почти сыгрались. Еще две-три репетиции и дело в шляпе. Сын артиста не отходит от трюмо. Он и Вова теперь заняты мимикой. Неизвестно, у кого она сильнее развита. Но сын артиста считает, что выгоднее быть по-

ложительным героем. Он — Тартюф, отрицательный тип и его заранее все презирают. А вместе с тем в конце спекталя ему должны устроить овацию. Как никак — он главный, это видно по названию пьесы. Попробовала заговорить с Таней о Мольере. Она им не интересуется. Вот ее двоюродный брат, Ананий, написал ученый труд о Бальзаке. Бальзак — классик. Не могу понять, откуда у Тани столько двоюродных братьев и сестер? И все необыкновенные. Один в ссылке, другой в пересыльной тюрьме, третий — приват-доцент... Есть певец, он гастролирует в провинции. И самое смешное, что все правда. Таня не врет. Она любит правду почти, как Муся Логинская. Но почему-то мусина правда более правдоподобная. У Тани все наворочено и если чуточку переборщить, правда ее может рухнуть.

Меня поразило, что Васса была у Аси в гостях. Сделала она это за моей спиной. Ася, конечно, пригласила ее назло мне. А ведь она всегда была против Вассы и распространяла о ней Бог знает какие слухи. Я ей не напомню, но мне немножко противно, что она говорит гадости, а потом лезет в дружбу. Воображаю, как они проезжались на мой счет! Ася уверяла, что я легкомысленная и непостоянная, и Васса с ней на каждом шагу соглашалась. И все из-за Тани. Они не понимают, что я нашла в ней. Она такая и сякая и любит делать замечания, а сама не лучше других. Больше всего их огорчает, что Таня даже не смотрит в их сторону. Она, вообще, сдержанная. Улыбается она редко и еще реже смеется. Но ко мне ее сразу потянуло. Мне важно знать, чем кончится дружба Аси с Вассой? Они ведь подружились на почве ревности. А я ничего с собой поделать не могу. В глубине души я боюсь Тани. Она может быть резкой, как Надежда Игнатьевна. Таня требует, чтоб и я была не такой, как все. Но я не умею быть особенной по

заказу. С утра это трудно. Нужно делать вид, что тебе ничего не хочется. А я еще по дороге, в трамвае, начала мечтать о горячих бубликах с семитатью.

Таня не уважает меня за пристрастие к бубликам и шоколаду Фишера. Это не мешает ей съедать все в один миг. При этом она, как-будто, отсутствует и получается, что я обжора, а она не от мира сего. И в ней есть какая-то загадка. Но какая? Я не была у Тани, поэтому мне кажется, что у них дома не как у других: Танина мать посвятила ей свою жизнь. Таня сказала это довольно небрежно. Но разве другие матери не посвящают свою жизнь детям? Мне неудобно было допытываться, и я промолчала. Это когда-нибудь откроется. Как откроется и то, действительно ли у Тани самая большая коллекция открыток.

Я завела новый порядок: каждый день я покупаю у Александровского одну или две открытки и перед началом занятий сую их Тане. Она краснеет от удовольствия. Значит, у нее таких нет. С Александровским никто не может соперничать. Он сам не подозревает, какие у него богатства! Я лучше его знаю, что в каждой коробке, и Александровский всецело на меня полагается. Таня не может понять, откуда такие сокровища? Но я молчу, это моя тайна. На последнем уроке русского языка Таня нарисовала несжатую полосу. Она решила теперь делать иллюстрации ко всем стихотворениям из хрестоматии. Она могла бы сделать иллюстрации для нашего журнала, но я боюсь об этом заикнуться. Вова и так спрашивает меня по всякому поводу, что поделывает загадочная натура, то-есть Таня? Это сплошное издевательство. Вова и сын артиста давно прожужжали мне уши сфинксами без загадки. Но почему же они придают такое значение словам велосипедных девочек и других пятиклассниц? Для них, значит, законы не писаны! Боря Гаевский к моим рассказам о Тане

отнесся довольно холодно. Он не любит людей с широко расставленными глазами. Это будто бы признак себялюбия и ограниченности. Я уверена, что он выдумал. Боря во что бы то ни стало хочет меня расхолодить. Он называет Таню: «принцесса-греза». Название это он стащил со столба с афишей Городского театра.

Как странно, никто еще с Таней не знаком, а все уже против нее. Таня ничего не подозревает. Она по-прежнему окутана тайной. Но когда в коридоре начальница спросила, что у нее за воротничок, и почему он грязный, мне стало мучительно стыдно. Грязный воротничок у принцессы-грезы, этого быть не может! Это клевета и гнусный поклеп. Мы вышли на Елисаветинскую, там было очень светло и мне пришлось зажмуриться. И я нечаянно увидела, что воротничок несвежий. Я изо всех сил старалась не смотреть на него. В конце концов у каждого могут быть слабости и, все-таки мне было неприятно. Если б это случилось со мной или с Вассой, меня бы это ни капельки не тронуло. Мы простые смертные, а Таня, Таня не такая, как все. Никакие расхолаживания Бори Гаевского помочь не могут, я в ней не разочаруюсь! Никто не может приказать мне, чтоб я разочаровалась!

Но мне почему-то неловко, когда Таня говорит, что ее мама хотела бы, чтоб она занималась с нашей мадмазель. И дает ли мадмазель уроки или она только демиплас? Я ответила, что спрошу. Не могу же я сказать Тане, что мадмазель приходит потому, что стала частью нашей семьи. Она поет с Катей песню про злую овечку и не совсем подходящую песенку про сына адвоката. Она их пела со мной, а когда-нибудь будет петь с Мишей. К тому времени она станет старенькой. Впрочем, я не знаю, сколько ей лет. Вова тоже понятия не имеет. Этот вопрос его не ин-

тересует. «Что-то около сорока». Нет, быть не может, она не такая старая. Если б кто-нибудь сказал, что ей под сорок, она бы умерла на месте. Один раз я спросила дедушку, сколько ему лет, и он страшно обиделся. — Почему я, собственно говоря, спрашиваю? Не кажется ли мне, что он слишком долго задержался на этом свете? Он надеется, что впредь, я таких вопросов задавать не буду, иначе он перестанет считать меня своей любимой внучкой.

Взрослые забывают о своих годах. Зато о чужих годах они говорят с большим жаром. Дядя, например, всем набавляет годы. «О, старик Копельман...» — «Какой же он старик, дядя, он ведь моложе вас!» — «Моложе меня!» — дядя смеется горьким смехом. Что за безумная идея! Когда дядя ходил в хедер, Копельман уже был женихом. Но дело доходит до Мати, и тут дядя неумолим: ей двадцать один и ни одного дня больше. А сколько лет Якову Соломоновичу? Он ведь товарищ дедушки из Вознесенска. Но дедушка белый, как лунь, и носит старомодные сюртуки, а Яков Соломонович душится, его заграничные галстуки признают даже Вова и сын артиста. А они строгие судьи. Сын артиста сказал, что в России фрак носить умеет только артист Юрьев. Откуда это известно? Сын артиста разводит руками: известно и никаких разговоров быть не может. За одного фрачного любовника дают десять рубашечных. Я вижу, что он испугался слова любовник, а для меня оно совсем неновое. Я сто раз встречала его в книгах. У знакомых мадам Ашевской масса любовников. Не знаю, зачем они им, и что они с ними делают? Насколько я понимаю, с любовью это ничего общего не имеет. В танину кузину, например, влюблены два помощника присяжного поверенного. Хромой, но талантливый и другой, похожий на артиста Максимова из «Золотой серии». Кузина предпочитает Макси-

мова и хромой претендент безумно страдает. Он готов на все. Вот это любовь! Таня на стороне хромого, она недовольна своей легкомысленной кузиной.

Мы всю дорогу проговорили о любви. Я сказала Тане, что хочу, чтоб у меня на надгробным камне было написано: «Мою любовь широкую, как море, вместить не могут жизни берега». Таня думает, что это слишком длинно. Надо придумать выразительную и короткую надпись. Но у меня есть время для этого. Сама Таня надгробными надписями не интересуется. Она еще не решила, какую карьеру избрать. У нее два пути: музыка и живопись. Музыка... Это меня испугало. Неужели Таня хочет соперничать с Сахно и Марой Гольберг? Живопись мне больше нравится: это благородное и тихое занятие. Таня обещает подумать. Возможно, что когда-нибудь она нарисует мой портрет. И посетители выставки придут от него в восторг, как от репинского Пушкина. Некоторые дамы будут его рассматривать в лорнет, а одна скажет: «Какое прелестное одухотворенное лицо! Не знаете ли Вы, кто она?». И тогда со всех сторон начнут говорить, что это подруга художницы, известная поэтесса или артистка, в зависимости от того, кем я стану. Потом я напишу книгу и посвящу ее Тане и опять незнакомые будут спрашивать... В общем, все, все впереди. Но Таня ждет от меня слишком много, и я поневоле должна ждать от нее самых невероятных вещей! Я только боюсь, чтоб Ася и Васса об этом не пронюхали. Они мне не простят портрета и книги с посвящением. Васса и так думает, что я задаюсь. Но пока мне нечем задаваться. Книга еще не написана. И, может быть, я никогда ее не напишу. Настоящие писатели встают в шесть часов утра и только ночью отрываются от письменного стола.

58.

Писательство — тяжелый труд. Вова уже в третий раз переделывает статью для журнала. Он не хочет, чтоб говорили, что в его стиле есть погрешности. Редактор не может себе позволить никаких погрешностей. Зато близнецы пишут, как придется. Главное, выгонять строчки. Вова советует им не увлекаться. Он не собирается платить построчно. Вообще, гонораров журнал платить не будет. Близнецы это отлично знали, но почему-то физиономии у них вытягиваются. — А они думали... Вова в бешенстве. Он не представлял себе, что его друзья такие меркантильные и все переводят на деньги. Если они хотят пригласить редактора в кондитерскую, это дело другого рода. Но деньги, кто говорит о таком низменном предмете! Я начинаю жалеть, что у меня нет копилки. Мои расходы растут. Я опустошила магазин Александровского и теперь мне надо найти другой магазинчик, чтоб поражать Таню необыкновенным выбором открыток. Я могла бы продать учебник, но я смертельно боюсь господина Букинери. Он запустит все свои пять пальцев в свою курчавую шевелюру и начнет буравить меня острыми карими глазками, и тогда я отдам ему книгу за четверть цены.

Я уже мысленно заходила в его магазин. Мне даже приснилось, что господин Букинери гонется за

мной с поднятой тростью и требует, чтоб я вернула деньги. Он в пелерине и широкополой артистической шляпе. Сейчас он поймает меня и спрячет под пелерину, где темно, как в пещере. Это глупый сон, но после него я проснулась, облитая слезами. Очевидно, у меня совесть нечиста. Сын артиста и Вова не так чувствительны. Они продают господину Букинери учебники, а при встрече едва с ним раскланиваются. Стоит им получить деньги, как он становится для них пустым местом. У меня не хватает выдержки. Но возможно, что она придет с годами. Хотя Вова сказал, что продавать книги не женское дело. Он советует мне выбросить это из головы. Недоставало еще, чтоб я занималась различными комбинациями и менами. Но почему же близнецы вечно что-то обменивают: например, старый микроскоп на новый фотографический аппарат? И всегда находят дураков. По большей части мальчиков из провинции. Близнецы пускают им пыль в глаза и так их запугивают, что те готовы отдать решительно все, лишь бы они отцепились. Близнецы хотели обменять моего Гоголя на пенал с шестью отделениями. Я сразу почувствовала, что тут жульничество, потому что они вдруг стали похожи на Макса и Морица, только в более зрелом возрасте. Они меня здорово обкрутили, и я уже пошла за Гоголем, но тут вернулся Вова и так им наложил, что они до конца своей жизни не смогут очухаться. Это не моя выдумка, они сами это сказали. Не понимаю, что со мной стало, ведь пенал — игрушка для маленьких детей. У нас одна Муся Логинская имеет пенал, он перешел ей от сестры Ираиды и на нем ни пятнышка.

Муся исключение. Она живет по правилам, напечатанным на ученическом билете. Мой билет я два раза теряла, и это было очень неприятно, так как Исаевич не хотел давать скидки на пирожные. — Да,

он помнит меня, но смутно. Ему нужен билет, а то окажется, что я самозванка. В последний раз билет нашелся у Аксюты под подушкой. Я ей показывала и забыла про него. Аксюта ничего не поняла, она неграмотная, и решила, что это паспортная книжка. Подписываться Аксюта не умеет, вместо подписи она ставит крест. Я предложила, что буду давать ей уроки русского языка, и Аксюта испугалась. А что, если из-за уроков пропадет молоко. На кухне все ее отговаривают. Геня сказала, что это не аксютиного ума дело. Ну что ж, не буду навязываться, я только хотела помочь, но раз моя помощь не нужна, я пойду к себе и под видом уроков буду сочинять стихи, для Тани. До сих пор у меня ничего не получается. Мне трудно писать о себе в мужском роде, чтоб вышло, что я кавалер, а Таня — прекрасная дама. Нет, лучше я буду дамой, а Таня моим верным рыцарем. Но ей это не по вкусу. Она хочет, чтоб я была рыцарем. Боже мой, какая у меня трудная жизнь! И почему Таня приехала из своего Геническа? Она могла бы отлично учиться в тамошней гимназии. Но мне уже стыдно моей несправедливости, и я готова хоть до десяти часов вечера грызть остаток карандаша.

Язык у меня почернел и во рту вкус свинца, как будто я проглотила несколько дробинок, но вдохновение не приходит. Я чешу затылок, так делает Ланя, когда ему задают глубокомысленный вопрос, я читаю вслух: «По небу полуночи ангел летел» и все напрасно. Завтра я приду в гимназию с пустыми руками и в глазах у Тани будет безмолвный укор: я не выполнила своего обещания. Хорошо тем, кто не сочиняет ни стихов, ни рассказов. Они могут критиковать других и крутить носом, если им покажется, что стихотворение украдено у Лермонтова или у Пушкина. Но есть беззастенчивые поэтессы, вроде дочки доктора. Она берет чужое стихотворение,

чуть-чуть его переиначивает и выдает за свое. Одно из ее произведений начинается так: «Детство тяжелое пало мне на долю...» Я прочла Вове, и он долго хохотал. «Да ведь это Надсон: «Тяжелое детство мне пало на долю», но испорченное неграмотной дурой». Он даст мне книгу и я могу понести ее в класс. Я отказалсь. Какая дочка доктора ни хвастунья, мне не хочется прижимать ее к стенке. Но если она будет приставать ко мне, я обязательно ее разоблачу. Я знаю, что она начала сочинять стихи, чтоб досадить мне. У нас в классе две пианистки, про Таню она еще ничего не знает, так пусть будет и две поэтессы! Мало того, что на уроках пения она со мной состязается, и мы так орем, что из соседних классов прибегают посмотреть, не режут ли кого, она хочет и в остальном быть первой. С гимнастикой ей не повезло. Учительница рассердилась и сказала, что она неуклюжая. Конечно, в передовой гимназии это не полагается, но дочка доктора может вывести из себя даже святого. Это ее специальность. На уроке гимнастики она позавидовала Тоне Калиниченко, ей видите ли захотелось быть в первом ряду, когда делали гимнастику с флажками. Она забывает, что Тоня у нас настоящий сокол, а она похожа на курицу.

Что касается меня, то я пожаловалась, что растянула сухожилие, как Уточкин на гонках, но учительница отказывается мне верить. По ее мнению нельзя три месяца подряд растягивать сухожилие. Если это так, то мою ногу положат в гипс. Пришлось стать в последний ряд и тоже махать флажками. Но почему-то, когда Тоня Калиниченко поворачивала их направо, они у меня сами, без моего участия, поворачивались налево. Учительница говорит, что я нарушаю стройность и что это форменное безобразие. Я делаю это нарочно. Она не поверит, если я ей скажу, что никогда ничего не делаю назло. Я предпо-

читаю сидеть, сложа руки. С учительницей гимнастики трудно договориться, она полна предубеждений. Меня она зачислила в категорию неисправимых. Таня тоже не долюбливает гимнастику, особенно приседания. Она боится, что у нее будут хрустеть кости, как у нашей «В» и Лиды Родиопуло. А хруст костей — первый признак старости.

Но Родиопуло и «В» не старые. Если б от меня зависело, я отменила бы старость. Ученые должны найти эликсир вечной молодости. Это не так трудно. Но они охотнее занимаются электричеством и всякими грамофонами и телефонами, хотя без электричества можно обойтись, а молодость нужна всем. Вова со мной несогласен. Я не понимаю законов природы: человек рождается для того, чтобы умереть. Этого я как раз не хочу! Я боюсь, что он имеет в виду дедушку. Я слышала, как дядя Саша сказал отцу иностранного корреспондента, что дедушка совсем плох. Ему легко говорить. В конце концов он только муж нелюбимой дочери. Правда, он играл с дедушкой в шестьдесят шесть, но он имеет и других партнеров. Для него не обязательно, чтоб дедушка жил. А я не могу себе представить, что вдруг не станет квартиры на Пушкинской улице, и я буду переходить на другую сторону, чтоб не видеть номера на фонаре. Сегодня должен приехать старичок-профессор, на него вся надежда. Больных он не посещает, потому что сам болен, но его уговорил мой доктор. Мне казалось, что я начинаю охладевать к дедушке, но это был самообман. Когда я услышала в трубке его голос, я почти захлебнулась от радости. А когда голос спросил: это Надюша? — я, как последняя дура, начала хихикать. Теперь я вспоминаю мое хихиканье и готова от стыда провалиться сквозь землю. Надежда Игнатьевна всегда повторяет, что хихикают идиотки и тупицы. При этом она смотрит

на Берту Креде. Но Берту так легко не проймешь — она вся такая пухлая и неподвижная. Ее можно расшевелить только разговорами о кассиршах. Берта будет кассиршей. Она безумно завидует тем, кто продают бублики в гимназическом буфете. Это высшие существа. Никак нельзя ей объяснить, что буфет благотворительный, а за стойкой обыкновенные пятиклассницы и шестиклассницы.

Васса издевается над Бертой Креде. Она называет ее: идол. А я за нее заступаюсь. По правде говоря, мне тоже хочется продавать в буфете. Но Вассе я этого не скажу, она будет считать меня «буфетчицей». Васса самая нетерпимая девочка в нашем классе. Горе тому, кого она невзлюбила. Но зато в любви у нее нет границ. Она способна отдать все. И у нее просто страсть приносить себя в жертву. Я должна обязательно помирить ее с Таней, тогда все будет хорошо. А пока я иду с Таней по коридору и вижу, как Ася и Васса стоят у входа в чуланчик, где сохнет наша лепка, и шушукаются. Я знаю, что Таня следит за тем, не слишком ли часто я поворачиваю голову. На сердце у меня неспокойно. Я опять попала в дурацкое положение. Кажется, есть всего один выход: я заболею и у моей постели они поклянутся в вечной дружбе. А я буду лежать бледная, с закрытыми глазами, как будто я уже не жилица на этом свете.

В действительности у меня ни насморка, ни царапинки в горле. Болезни приходят, когда они никому не нужны. Притворяться слишком трудно. Я не могу даже сказать, что у меня выдох в легком. Такие выдохи бывают у сына артиста перед письменным ответом по геометрии и поэтому Вова прозвал его умирающим гладиатором. Говорят еще, что при болезни сердца прекрасно выглядят. «Ах, она прямо расцвела, у нее, наверно, порок сердца». Но и тут никто мне не поверит. Придется запастись терпением. У меня его

очень мало. А «терпение и труд все перетрут» — это азбучная истина. Боря сказал, что в нее верят дети из «Золотой библиотеки». Я с ним спорю. Терпение — вещь не совсем бесполезная, а вот труд — другое дело. Я еще не выяснила, благословение он или проклятие. Надо будет поговорить с теми, кто любит трудиться. Мнение лентяев мне давно известно.

Ведь я сама лентяйка. Больше всего я люблю читать и думать. И, конечно, разговаривать. Когда в столовой никого нет, я иду на кухню. А если там все заняты — в коридор, где ждет отец иностранного корреспондента. Юзя возмущена тем, что он просиживает стулья. Но это ее не касается: он пришел по делу и может сидеть, сколько хочет. Со мной он очень вежлив. Он подает мне руку и справляется о здоровье. Непонятно, что у здорового спрашивают о здоровье, но я охотно ему отвечаю. Мне даже лестно, он разговаривает со мною, как с лицом, заслуживающим внимания. Чтоб отблагодарить его, завожу разговор о вечном студенте. Старичок им недоволен. Он слишком много курит. Так можно докуриться до чахотки. И потом это стоит целое состояние. Отец иностранного корреспондента тяжело вздыхает. Он, наверно, вспомнил, что студент уже два месяца, как не платит за комнату. Я это слышала на кухне, но не подаю вида. Пусть отец корреспондента не думает, что я вмешиваюсь в его семейные дела.

На кухне знают все. Приходит мастерица от венгерки и начинает перебирать заказчиц. Выходит, что они дряни и ломаного гроша не стоят. Жена коммивояжера, например, по десять раз переделывает каждую кофточку. То узко, то слишком широко, то жмет подмышками... Мастерица готова их всех истерзать. Венгерку она тоже терпеть не может. Втайне она мечтает о том, чтоб стать заказчицей и мучить ее почище коммивояжерши. Иногда на кухню забегает

прислуга портного Питкина. Она плохо причесана и носит башмаки на босу ногу. Прислуга Питкиных дико крикливая. Она перекричала мадам Питкину, эту старую дуру с фальшивой косой. «Она хочет причесываться у Розы, она желает каждый год рожать, а жалованье зажиливает!» — орет прислуга Питкиных. И все ей сочувствуют. «В самом деле, — говорит Геня, — зачем этой Питкинше причесываться у парикмахерши Розы. Она же не дама. Она не станет дамой, даже если Питкин откроет магазин готового платья». Не понимаю, почему Геня к ней придирается. Жена Питкина не хуже мадам Блазнер. Обе хотят иметь столовую из магазина Фишера и самую лучшую ковровую скатерть.

Вова спрашивает, была ли я в английском клубе? Под этим он подразумевает нашу кухню и ее посетителей. Я изображаю все в лицах. Вова и сын артиста покатываются со смеху. «Тысяча одна ночь и еще один день! — выпаливает сын артиста. — Это настоящие тайны мадридского двора!». Вова не знает как быть. Он вспомнил, что мне совсем не пристало так валандаться. Я не возражаю. Завтра мы идем на «Тартюфа», и я не хочу нарушать гармонию. При чем тут гармония мне не совсем ясно, но это любимое Матино выражение. Она верит в гармонию чувств и гармонию отношений. Все должно быть гармонично. Близнецы сказали бы, что это брехня. Но с их мнением я не считаюсь. Они встретили меня на Базарной угол Ришельевской и затащили к Боярскому. Там они пили сельтерскую воду с тройным сиропом. Мне они предложили двойной сироп. Когда пришло время платить, они открыли вдруг, что у них не хватает пяти копеек. Пришлось выручать. Они взяли у меня новенький гривенник и сдачи у них не оказалось. В общем, не они меня, а я их угощала. Чтоб выйти из неловкого положения, близнецы сказали,

что это мелочи жизни и на них не следует обращать внимания. Деньги они вернут при первом же случае. Их первый случай я хорошо знаю: он никогда не наступает. Все начинается со второго случая. Вова изучил все штучки близнецов, но по старой дружбе всегда их идеализирует. Возможно что я идеализирую Таню. Но ведь невооруженным глазом видно, что Таня особенная. Разве обыкновенные люди умеют часами молчать? И не ходить в иллюзион потому что это некультурно? Как бы я ни была уязвлена, долго молчать не умею. Меня начинают душить слова. Они застряли у меня в груди, их надо обязательно выговорить. Васса, та заикается от волнения, ей не хватает воздуха. Из нашего класса, кроме Тани, молчит одна Сахно. Она барабанит пальцами по парте, как будто это немой рояль, а она великая пианистка. Помалкивает еще Топсик, но потом она срывается и начинает говорить быстро, быстро своим тоненьким сверлящим голоском. Остановить ее невозможно. Когда мы начинаем возражать, она затыкает уши. Вова сказал, что она истеричка. Но мне не верится. Истеричками бывают немолодые барышни, вроде кузины Мани. А Топсик избалованная девчонка. Ей все прощают за ее маленький рост и за то что у нее нос пуговкой.

Почему-то получается, что одним все можно, а другие должны отвечать за малейший проступок. Где же хваленая справедливость? Наша начальница вечно говорит о справедливости, но это не мешает ей придираться к Вассе, к одной третьекласснице, а главное, к Эсперансе. Она преследует Эсперансу за то, что та напускает волосы на глаза. Она подозревает, что Эсперанса пудрится. В седьмом классе нашли старую пуховку. Это, наверное, Эсперансина... Если так будет продолжаться, она провалится на выпускном экзамене. Что сказал бы Короленко, если б узнал, как пре-

следуют бедную Эсперансу? Ему бы вряд ли понравилось. Мысль о человеческой несправедливости не дает мне покоя. Из-за этого я перестала готовить уроки. Раз мир так плохо устроен, не стоит быть примерной ученицей. Вдобавок умер ребенок Аксюты. По имени его никто не называл. Для кухни и для остальных он был просто — ребенок. Я боюсь, что у него были паучьи ножки, как у ребенка рыжей нищенки с Дерибасовской. Тот издает странные звуки, плакать он не может. У него нет сил.

От Юзи я узнала, что нищая взяла его напрокат. До сих пор я видела стулья, взятые напрокат. И один раз мы повезли на дачу прокатное пианино. Мама сказала, что оно от мадам Любошиц. Она молодец, работает за двоих и у нее замечательные дети. Пианино мне понравилось. В нем был модератор. Если потянуть его на самый низ, звук становится приглушенным. Как будто ему наступили на горло. Марки пианино я не помню. Золотые буквы почти что стерлись, видно до нас оно побывало во многих домах. Но прокатные дети, с этим я не могу примириться! От них пахнет кисленьким. Юзя уверена, что они делают под себя. Ну и пусть делают! У них нет нянь и ванночек. Но почему все принимают это, как должное? Ведь прокатного ребенка можно завернуть в теплое одеяльце и увезти к себе, в тепло, подальше от страшной, растрепанной женщины. Вова говорит, что мы имеем дело с социальным злом. Его нужно уничтожить в корне, а не делать какие-то жалкие попытки. Но пока будут уничтожать, ребенок умрет. Он уже совсем синий. Раскритиковать меня легко, труднее придумать выход из положения.

Когда я была у прачки Оли, из соседних дверей вынесли маленький белый гроб. По величине он напоминал коробку от Окуня. Значит и сына Аксюты

положили в такой гробик-коробку и отвезли на кладбище.

Я прочла рассказ про упыря. Он сидел на могиле и глодал кость, как в стихотворении «Трусоват был Ваня бедный». Теперь, когда я вижу людей с ярко-красными губами, немедленно перехожу на другую сторону. Скорей всего это выдумка, однако, полного спокойствия у меня нет. Если б можно было поговорить с той девочкой, что верит в домового. Но я боюсь ее. Она решит, что ее полку прибыло. А Надежда Игнатьевна пронюхает и будет меня презирать. На вчерашнем уроке русского языка она окатила нас холодной водой. «Вы лентяйки, все без исключения!». Даже Мусю Логинскую она не пощадила. И только потому, что у нее болел зуб мудрости. Это самый ненужный зуб, но он причиняет больше всего неприятностей. Если зуб вырвут, Надежда Игнатьевна подобреет. У нас уже есть опыт. Когда у нее выскочил прыщ на губе, она тоже здорово бесилась. Удивительная привычка срывать свое дурное настроение на ни в чем не виноватых. Надежда Игнатьевна, вообще, самодур. В прежнее время она была бы барыней-помещицей, а сейчас она только учительница и никакой власти над нами, кроме плохих отметок, не имеет. И все-таки, мы ее любим.

Надежда Игнатьевна хочет быть грозой нашего класса. А стоит ей раскрыть Гоголя, как я переношусь в другой мир. «А что это у Вас, любезнейшая и достопочтенная Солоха? — Шея!» Я все бы отдала, чтоб так читать... Тут я вспоминаю про «Тартюфа». Ни одна душа не знает, как я волнуюсь. Стоит мне подумать о спектакле, я начинаю буквально трястись от страха. Мысленно я играла уже все мужские и женские роли. В Вове я уверена и, все-таки, не могу забыть, как знаменитый трагик споткнулся на середине фразы. Сын артиста рассказывает и о таких, что

пичкали публику отсебятинами. На вовином спектакле это невозможно. В первом ряду будут сидеть директор и инспектор и отсебятин они не потерпят!

В сыне артиста я тоже уверена: у него достаточно апломба, чтоб сыграть какую угодно роль. Что касается велосипедной девочки, как мне ни грустно я должна сказать, что и она принимает участие в спектакле, то за нее бояться нечего. Другую женскую роль дали старой вовиной знакомой. Она из той семьи, где сыр держат под колпаком. Раньше Вову колпак потрясал, а с тех пор, как у нас появилась такая же штука, он окончательно охладел. Велика важность! Это выставлено в окне у Гальперина и каждый может приобрести за рубль девяносто девять копеек. В этом же окне колесница для масла и уксуса и подставки для вилок и ножей из металла, похожего на серебро. Все в одну цену. Тот, кто ее придумал — не дурак. Но это никакого отношения к «Тартюфу» не имеет! Не знаю, талантлива ли вовина старая знакомая? Вова уверен, что она изумительно носит стильные платья. А велосипедная девочка? О, та еще изумительнее! И Вова и сын артиста в один голос твердят, что состав у них первоклассный. Это сильно преувеличено, но я не возражаю. Нельзя постоянно быть скептиком и вливать бочку дегтя в каплю меда. Хватит и того, что близнецы в алфавитном порядке критикуют всех исполнителей. Они предсказывают невиданный еще провал. Но никто к ним не прислушивается. Только Андрокардато сказал, чтоб они убирались не знаю куда, а не то он им набьет морду. Андрокардато спит и во сне видит «Тартюфа». Он влюблен в него. На вечере Андрокардато собирается так аплодировать, что у некоторых лопнут барабанные перепонки. Он заткнет за пояс клаку в желтых перчатках. Ему никакие перчатки не нужны. И без них будет слышно в последнем ряду.

Не подозревала, что он такой театрал. До сих пор он говорил о цирке и о своей наезднице. Он с ней незнаком, но она будто бы ищет его глазами и улыбается именно ему, а не остальной публике. Когда она выходит раскланиваться, то смотрит в его сторону. За Андрокардато шествует легенда об его любви к наезднице. И я ему сочувствую. Я обожаю коротенькие юбочки, усыпанные блестками. Когда наездница должна перепрыгнуть через пылающий обруч, сердце у меня замирает. Я лечу вместе с ней. Цирковый оркестр наигрывает «Волны Дуная», потом музыка, как по команде останавливается, бьют барабаны, она прыгает и сразу же обрушивается волна аплодисментов... Таня не понимает моего восторга. «Цирк — не искусство!». Я готова держать пари, что это искусство, но воздерживаюсь. Таня может обидеться.

Мне жалко, что мы не можем взять ее на «Тартюфа». Но число мест строго ограничено. Кроме мамы, папы, меня и, конечно, Мати, с нами идет папин племянник Левочка. Он приехал на каникулы. Они еще не начались, но для Левочки сделали исключение. Пока что он уже два раза уходил с папой в его кабинет и оставался там довольно долго. Вова не сомневается, что это по части денег. «Опять пришли вымогать...» Мальвина к нам не ходит. Она обижена и к тому же она опять в интересном положении. Почему это называют интересным, мне никто объяснить не смог. От этого положения все становится страшно неинтересным. Жена Абрамского похожа теперь на голодающего индуса. Лицо у нее вытянулось и глаза стали страшно грустными и желтыми. Мать Абрамского страдает. Она не может понять, почему ее сын женился на уроде. Она не права, сам Абрамский не такой уж красавец. У него недоделанное лицо и жидкие усики. Но Вова его отстаивает: «Раз мужчина

немного лучше черта, он красавец». Близнецы с ним согласны. Для них мужская красота заключается в росте и широких плечах. Но сами они узкоплечие и как видно рассчитывают на военного портного Гофмана. Он может каждого превратить по крайней мере в чемпиона французской борьбы. Вот и Левочка в своей новой форме похож на адъютанта и, наверное, будет сводить всех барышень с ума. Недаром дядя Саша спросил меня, видела ли я подобного красавчика? Я промолчала.

Левочка не в моем вкусе. Он слишком кукольный. Даже Матя сказала, что он не герой ее романа. Но Левочка и не пытался за ней ухаживать. Тетя Ида внушила ему, что он не должен себя продешевить. Поэтому на нем написано: «Я политехник и цену себе знаю». Левочка рассчитывает, что его, как в прошлый приезд, пригласят в Городской театр, в ложу бенуара. Интересно, возьмут ли меня? Отчасти это зависит от репертуара. Если что-нибудь не очень классическое, смело могут оставить дома. Такие случаи бывали. Почему я не могу смотреть «Дикую утку», когда одно название говорит за то, что в пьесе нет ничего предосудительного! В остальном, мои родители, скорее, передовые люди. В них ни на унцию отсталости. Но пока «Дикая утка» меня не волнует. Я полна «Тартюфом». Единственный французский писатель, заслуживающий внимания — это Мольер. Мадам Тюрбо восхищается Мольером. У него была странная судьба. Его похоронили за церковной оградой. Мадам Тюрбо говорит это с таким нескрываемым ужасом, что я начинаю бояться за душу бедного Мольера. А мадмазель к Мольеру равнодушна. Но она боится за меня. Для моего будущего важнее всего то, как я ставлю ноги. Мольера, в крайнем случае, может заменить Расин или Поль Бурже. Возможно, что мадмазель обижена: ее не пригласили. Вообще число

обиженных растет. Ланя так разобиделся, что ему в последний момент устроили место рядом со мной.

Узнав, что он идет на Тартюфа, Ланя сразу повеселел. В последнее время он у нас, вообще, веселенький. Никто к нему не пристает: Вера Львовна и старый холостяк уехали в Петербург, а у бабушки целый день гости. Она угощает их печеньями от Эйнема и Ланя не обязан присутствовать. Он уходит к себе в комнату, чтоб изучить там карту Южной Америки. Он подумывает о том, как он сбежит, но ему жалко расстаться с Вовой. Вряд ли Вова поедет в такую даль. Мечты о путешествиях Вова оставляет ученикам приготовительного и первого класса. При мне он сказал сыну артиста, что от себя человек уехать не может. Сын артиста отнесся к этому довольно несерьезно. Он спросил, где Вова вычитал сии мудрые слова? Он подчеркнул «сии», чтоб чувствовалась скрытая ирония. Но Вову не так легко сбить с позиций: «Что за ерунда, — Альманах «Шиповник» и «Сборник Знаний» тут ни при чем — это плод его ночных раздумий!». В общем, мы победили! Мы, так как все, что касается Вовы, я частично переношу на себя. Поэтому он просит меня не раскланиваться, когда его будут вызывать. В шутке есть доля правды. Но почему Вова так уверен в успехе? Не притворяется ли он? Наверное, его гложут сомнения, и он бравирует. У них в классе один другого хочет перещеголять своим хладнокровием.

Недавно первый ученик Галкин чуть не испортил всей картины: он получил четверку с плюсом вместо всем надоевшей пятерки и неожиданно всхлипнул, как сморкатый приготовишка. На перемене его хотели бить, но он ловко выкрутился. Оказывается, он плакал от счастья: наконец-то ему удалось поймать четверку! Тогда решили, что не стоит пачкаться, и просто послали его гулять. Несмотря на свою при-

мерность и на свое хорошее поведение, в «Тартюфе» Галкин не участвует. У него миллион способностей, но зато никаких дарований. Вова говорит, что он играл бы как сапог. Самый умный мальчик, Жора, тоже не принимает участия в спектакле. Это ниже его достоинства. Он верит исключительно в древнегреческий театр, а любительские постановки для него никакой ценности не имеют. Ему подавай Софокла и Еврипида. Вова чуть с ним не поссорился. Потом он вспомнил, что Жора один из основных сотрудников нашего журнала и вовремя смолчал. Но про себя он выругал его полуинтеллигентом и помощником провизора. Если б он сказал это вслух, все было бы кончено.

Жора давно побил рекорды обидчивости. В этом смысле он хуже Галкина. Тот под конец сошел с пьедестала: он будет проверять билеты. «А как насчет распорядительских значков?» — «Нет, на спектакле значки ни к чему. Бал другое дело». Но как же тогда узнать, кто распорядитель? Вову распорядительский вопрос оставляет холодным. Главное, чтоб публика не шаркала ногами, как в дешевом иллюзионе. Хорошо, что в занавесе есть глазок, можно наблюдать за поведением зрительного зала. Сын артиста перебивает: «Глазок, в театральных занавесах, а у них ведь самодельные кулисы». Артистическая уборная в третьем или в четвертом классе. Дамы, конечно, отдельно. Я думаю, что велосипедная девочка будет каждую минуту выскакивать в коридор: ей всегда чего-то нехватает, и она страшно любит давать поручения. На Вове она обожглась. Он терпеть не может поручений. Вова — единственный, кого мадам Трейн не посылает за брынзой, в красильно-прачешное заведение. Даже меня ей удалось уломать и я пошла за хлебом, но, к счастью, купила не то, что нужно и запуталась в сдаче. Больше поручений мне не давали.

59.

Вовина старая знакомая, участвующая в спектакле, сдержанней Веруси. У нее своя особенность: всех мальчиков она называет по фамилии. Вова сказал, что она слишком рано эмансипировалась. Я не знаю, что это значит и знать не хочу. Наверное, какой-нибудь выпад по адресу женщин. Несмотря на то, что старая знакомая эмансипировалась, на следующий день после спектакля, у нее соберутся все исполнители. Будет вечеринка. Я никогда еще не присутствовала на вечеринке, и хочу знать, что там происходит. Оказывается, ничего особенного. Играют в летучую почту и ухаживают. Вова говорит, что самый интересный момент, ужин. Тогда все оживляются и начинают острить. А мне казалось, что только взрослые радуются, когда их зовут в столовую! Геню это возмущает: можно подумать, что они из голодного края. Она, счастлива и горда, что делают комплименты ее фаршированной курице и вместе с тем, она не устает возмущаться апетитом гостей. Родители старой знакомой славятся своим гостепреимством. Они любят, чтоб всего было вдоволь: телятина куском и какая-то таинственная буженина тоже куском. Вова описывал это со всеми подробностями. Я помню, как Матя сказала, что они приманивают женихов. Какая она смешная. Разве Вова и сын артиста женихи? А близнецы? Им это настолько не подходит, что при

одном воспоминании я трясусь от хохота. Скоро она и Борю Гаевского будет считать женихом. Она интересуется исключительно женихами. Даже музыка отошла на второй план. Вову это не удивляет. «Что у кого болит, тот о том и говорит!». Еще недавно каждого приличного молодого человека дядя считал будущим Матиным мужем. Молодые люди не подозревали, что дядя в уме устраивал Мате квартиру за счет жениха и определял количество комнат. В одной из них будут жить матины младшие сестры... Несомненно, они приедут в Одессу, чтоб там устроиться. «Родители не должны жить с взрослыми детьми» — рассуждает дядя. Это невыгодно для обеих сторон. Дядя, как видно, предпочитает оставаться у нас. В данный момент у него нет выбора: матина квартира, ее помолвка и свадьба, такая, что все лопнут, пока только в дядином воображении. Но он не теряет надежды. Может быть Матя на «Тартюфе» встретит кого-нибудь. На все Господня воля...

Матя будет в платье жандармского цвета. Юбка плиссированная и верх тоже. Но только спереди. Венгерка сказала, что если сделать плиссировку на спине, Матя будет напоминать воздушный шар. Она помешана на сравнениях. Меня она почему-то сравнивает с тепличным растением, хотя во мне нет никакой тепличности. Я постоянно теряю перчатки, ем мороженое на улице и, когда никого нет по близости, покупаю косхалву и маковники. Венгерка это вряд ли поймет. Ей покажется ненормальным, что я презираю условия. А я должна быть с ней в хороших отношениях: она мне шьет новую форму. Старая окончательно постарела и износилась. Не могу же я в таком виде пойти на вовин спектакль. Венгерка тянет. «Тартюф» уже завтра, но форму не принесли... По моему настоянию два раза посылали Юзю. Она уходила ровно на минуточку и пропадала там по часу.

Меня тошнило от волнения. И поделом мне: надо было пойти к мадам Рабинович. Она не подведет. Мы с ней давно знакомы, и она понимает мои переживания. Она ставит себя на мое место. А я никак не могу решить, что бы я делала на ее месте. В первую голову я подняла бы материи с пола и положила модные журналы на подзеркальный столик. Комната сразу стала бы чище. А затем я бы открыла окно. Пусть входит воздух. Он лучше, чем комнатная вонь, состоящая из многих запахов. Главный и самый сильный — запах пригоревшего молока. Иногда вдруг начинает пахнуть лекарствами: это муж мадам Рабинович вышел из своего закутка. Я скоро стану специалисткой по запахам. Но я никак не могу понять, отчего некоторые пахнут кухонным полотенцем, а у других брокаровский «Ландыш» не может заглушить противный запах пота. Если лень мыться, пусть выливают на себя по крайней мере полбутылки одеколона.

Вова и сын артиста издеваются над моими советами. Они говорят, что на одеколоне далеко не уедешь. Ну, смотря на каком. Тот, что с японкой, пахнет так, что все начинают чихать и выходят в коридор, чтоб там проветриться. Во время Мольера дамы носили на шее, не то медальоны, не то шарики с отверстиями, предназначенные для ловли блох. Тогда красавиц не пугало то, что их кусают блохи. Это было в порядке вещей. Наверное, и у венгерки есть блохи, она постоянно почесывается. Лишь бы одна из них не устроилась в моей новой форме! Наконец-то ее принесли, на вытянутых руках, как больного ребенка, и тут же повесили в шкаф. Мастерица сказала, что они сделали выточки и теперь у меня будет фигура, как у взрослой барышни. Мне не понравилось слово: выточка. У портных есть свои слова: пройма, выточка, выкат и тому подобное. Они при-

думали их, чтоб пугать заказчиков. В общем, я довольна, что так скоро не увижу венгерку и не надо будет по черному ходу идти на примерку. Форма никого не поражает: только Катя провела по ней грязной ладонью и сказала: «Шерстит». Получается, что мне сшили форменное платье из обыкновенной колючей материи, в то время, как это самый дорогой материал и куплен он на Александровском проспекте. Но не стоит обращать внимания: Катя еще не разбирается в материях. Она любит все мягкое и бархатное. Перед сном я опять подхожу к шкафу и осторожно вынимаю мою новую форму. Я ищу выточки. Их как раз и нет. Мастерица решила мне польстить. Недаром Юзя говорит, что она неискренняя. А мастерица упрекает Юзю в том, что она полька. Но ведь это замечательно. Значит она, вроде Марины Мнишек, невесты Самозванца. Он известен еще как Лжедмитрий, и это знают решительно все. Шестиклассница, похожая на лисичку и другая, со змеиной головкой, разыграли сцену у фонтана из «Бориса Годунова». А Змеиная головка на большой перемене для меня ее повторила:

«Царевич я! Довольно! Стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться...»

Если присмотреться к Юзе, в ней можно найти какое-то сходство с Мариной. Она тоже гордая и обязательно хочет носить шляпку с вишнями или с чайными розами. Шляпы часто переходят к ней по наследству. От меня, к сожалению, она ничего не может унаследовать. На моих шляпах нет ни роз, ни вишен. Была одна с незабудками, но такими мелкими, что их никто не принимал за цветы. Они имели вид голубой кашицы. Зато у Гени шляпа с двумя огромными шляпными булавками. Она купила ее по слу-

чаю. Геня не покупает, как все люди. Ей нужен магазин, где полная ликвидация. По дороге в гимназию я нашла такой, но я его помню с незапамятных времен. Товары там навалены в кучу и написано, что по случаю смерти владельца все распродается. По моим соображениям должно было умереть уже несколько владельцев, но надпись не меняется. Она только полиняла и красные буквы стали почти что черными.

А Мате повезло! Она на какой-то распродаже купила лайковые перчатки до локтя. На них было несколько желтых пятен, но Матя отчистила их бензином. Она положила перчатки на мое окно, так как по ее мнению, оно залито солнцем. Перчатки она возьмет на «Тартюфа», чтоб держать их в руке, для красоты. Это дополняет туалет. Чтоб его закончить, она берет с собой заграничную сумочку. В ней с трудом помещается носовой платок, но Матю это не смущает. Сумочка из Карлсбада и куплена в том помещении, где пьют минеральные воды. В своей наивности Матя и меня считает наивной. Она специально подчеркнула, что минеральные воды ничего общего с искусственными минеральными не имеют. У настоящих — масса целебных свойств и по вкусу они напоминают слабительное. А искусственные минеральные — это баловство и ненужная трата денег. Можно пойти домой и выпить воду из-под крана, во время эпидемии — кипяченую.

Вовы при этом не было. Представляю себе, как бы он возмутился. «Если считаться с Матей и ее подобными, пришлось бы закрыть чудесное, замечательное заведение Искусственных минеральных вод. А без них Одесса не была бы Одессой! Там, в этом храме клюквенного кваса, отдыхаешь от будок с зельтерской водой и греческих буфетов с обязательной машиной для вафель. А клюквенный и лимонный

квас будут продаваться на спектакле. И даже рядом с пожертвованным ананасом и тортами от Фанкони они постоят за себя. Матя просто хочет показать, какая она серьезная и хозяйственная. Но от ее рассуждений на меня нападает тоска и хочется сейчас же истратить все, без остатка. В крайнем случае скажут, что я транжирка. Я и Таню научила после гимназии заходить в кондитерскую. Иногда нам не терпится, и мы идем в первую попавшуюся. В одной, что наискосок гимназии, так пахло пеленками и горшечками, что мы еле унесли ноги. А хозяйка с дряблым бюстом кричала нам вслед, что это безобразие и распущенность. Мы, наверное, стащили по пирожку. После этого Таня уже не хочет заходить в маленькие кондитерские. В каком-то отношении она чистюля и боится всяких приключений. Я уверена, что она все рассказала своей маме и та ее отчитывала, но очень деликатно. Она должна щадить Танину нервную систему.

Теперь много говорят о нервных системах. Кузине Мане врач прописал бром, и она очень довольна. Конечно, от брома теряют память, но зато такие лекарства дают далеко не всем. Для этого надо иметь тонкую нервную организацию. Маня смертельно бы обиделась, если б я ей сказала, что доктор с Канатной хотел прописать мне малюсенькие дозы брома, но я так долго отказывалась, что он порвал рецепт. Я признаю только микстуру доктора Ашевского. Ее розовый цвет успокаивает. Значит, не все еще потеряно. Сегодня мне никакой бром не поможет. Я, наверное, проведу бессонную ночь и буду до самого рассвета думать о Тартюфе. А утром спросят, почему у меня опухшие глаза, и я отвечу, что не сомкнула их ни на секунду. У меня тоже нервная система не в порядке и, вообще, я имею полное право волноваться. Другие волнуются из-за пустяков, а у меня собы-

тие. Завтра мой брат будет подвизаться на настоящих подмостках. Так говорит сын артиста, и я ему верю. Он знаток театра! Меня только смущают подмостки. Ведь все происходит в обычном актовом зале. Но сын артиста от меня отмахивается. Он, можно сказать, родился в театре и лучше меня знает, что такое подмостки...

Неужели же я всю ночь напролет буду думать о «Тартюфе»? Сейчас у меня какие-то точки пред глазами, а если их зажмурить в голове начинает раскачиваться главная люстра Городского театра. Она то вытягивается, то растет в ширину и, о стыд и ужас, я засыпаю. Но еще не по-настоящему. Я насильно стряхиваю сон и несколько раз приказываю себе: волнуйся! Ничего не получается. Точечки продолжают сыпаться и опять зажигается люстра. Что было дальше, я не помню. Посреди ночи, мне все-таки удалось проснуться. Юзя поторопилась и оставила щелку. Все залито лунным светом. А может быть и это сон? Я хочу сказать кому-то невидимому, что от луны светло, как днем. Но невидимое лицо не отвечает.

Утром мне не верится, что предстоит событие. Я давлюсь холодной яичницей. С удовольствием бы заболела, но тогда меня не возьмут на «Тартюфа». Приходится быть здоровой. На сегодня Вову освободили от занятий, и я должна за всех отдуваться! В столовой тихо и тепло. Самовар потух и это знак, что пора собираться. Я всегда считалась с разными приметами. Даже адреса я запоминаю так: они живут в доме, где магазин с тремя пупочками на вывеске. На улице вспомнила, что не попрощалась с Мишей и кажется взяла не те книги. Если вызовут, объясню, что сегодня вечером спектакль. Впрочем, Ася говорит, что это известно всем — от приготовишки под названием «Белая Мышь» до самой начальницы. И

что при слове «Тартюф», все будто бы затыкают уши. Но если б не Таня, она была захлебывалась от восторга. А теперь она старается подчеркнуть свое равнодушие. Оно напускное, но от этого не легче. Тем более, что сегодня я хочу дружить с Асей. Она могла бы меня понять. В душе она молится на Вову и однажды, в мпылу ссоры, сказала, что я недостойна иметь такого брата! Но дуракам — счастье!

Ясно, что она мне завидует. А я ей ни капельки. Асина сестра мне совсем не нравится. У нее нос картошкой и, вообще, вся она, как разварная картошка. Ася интересуется вовиными делами и, конечно, хотела бы знать, как пройдет «Тартюф», но гордость не позволяет ей сделать первый шаг. Хорошо, я его сделаю, я не такая упрямая и у меня меньше самолюбия! Но на лестнице Таня меня перехватывает, и я сразу завожу с ней увлекательный разговор. Она спрашивает, когда я к ней приду? Мне трудно ответить до «Тартюфа». Но я вижу, что Таня упорно не желает говорить о «Тартюфе». Для нее это ученический спектакль и ничего больше. В субботу она будет слушать Баха. Таня требует от меня поклонения Баху. А это дикая скучища. Когда Матя играет фуги, я ухожу на кухню и один раз даже заперлась в ванной. Каждый палец она поднимает отдельно и долго держит его в воздухе. При этом у нее лицо не вдохновенное, как ей хотелось бы, а фальшивое. Танина учительница музыки говорит, что Бах — готический собор. Возможно, но тогда это другой Бах, а не матин.

Таня под влиянием своей учительницы. Мне смешно подумать, что мадам Трейн могла бы иметь на меня влияние. Я даже не знаю ее музыкальных вкусов и по правде говоря, не желаю их знать. Но когда я начала, с ошибками, разбирать «Турецкий марш» Моцарта, она сказала, что с сегодняшнего дня я пе-

решла на классический репертуар. Я знаю, что Таня возвеличила Баха, чтоб отвлечь меня от «Тартюфа». А я про себя повторяю монологи сына артиста и подаю Вове реплики. Он меня научил этому. Не думаю, чтоб в нашем классе еще кто-нибудь мог подавать реплики. Некоторые при чтении запинаются. Надежда Игнатьевна говорит, что их надо отправить обратно в младший приготовительный. У меня другое положение: я сестра Вовы и поэтому особа во всех отношениях привиллегированная. Есть один минус: я знаю, что Вова и его товарищи за спиной безбожно всех критикуют. Даже велосипедной девочке достается. Когда Вова не в духе, он говорит, что у нее одно плечо ниже другого. Это выдумка. В остальное время он считает ее чуть ли не совершенством. А до совершенства ей далеко. Она миловидная, хотя брови у нее какие-то взъерошенные. Мне стыдно сказать ей, что брови причесывают. Но сначала их надо чуть-чуть послюнить. Меня научила наша мадмазель. Она дала еще несколько полезных советов, они могут пригодиться. Мадмазель очень запасливая и думает о будущем. По ее мнению я слишком расточительна и небрежно обращаюсь с вещами. Ей легко рассуждать: ее будущее уже наступило, а когда наступит мое — неизвестно.

Я давно поняла, что время тянется и все разговоры о том, что оно летит — бессмыслица. Сейчас большая перемена, а мне нужно дотянуть до вечера. Как на зло, у нас на завтрак котлеты. Внутри они сырые, а снаружи клейкие. Я полна отвращения, но продолжаю жевать, так как рядом уселась Галина Петровна, учительница истории, и смотрит мне прямо в рот. У нее неприятные круглые глаза и авторитетный голос. Сейчас она скажет, что грешно оставлять еду на тарелке. Представила себе, что у меня расстройство желудка и я должна проглотить шесть кап-

сюль с рициновым маслом. Приносят какао, и я совсем скисаю: оно теплое и приторно сладкое. А на кружке, миллион трещинок... Но я пью, и чтоб убить время, считаю глотки. К счастью у нас сегодня четыре урока — четвертый французский. Мадам Тюрбо вряд ли меня вызовет. У нее своя система: она вызывает то с начала, то с конца. В прошлый раз отвечали те, что на А и на Б. Значит сегодня очередь Э. Ю. Я. Моя фамилия почти посередине. Конечно, мадам Тюрбо может передумать и тогда будет плохо. Басни я не выучила, она мне не понравилась. И у Крылова ее нет, значит, просто Лафонтен. В общем, басни — сплошное подражание. Лафонтен брал их у Эзопа, а Крылов у Лафонтена. Но это не мешает им быть знаменитыми. Сын артиста сказал бы, что я рассуждаю по-детски, а мне все равно. Я охладела к басням. Главное, я хочу домой.

Там, наверное, готовятся к спектаклю. Вова требует, чтоб ему дали растертые желтки или ржавую селедку. Одно из двух! И желтки и селедка прочищают голос. У него как будто появилась легкая хрипота. А мне нужно выслушивать рассуждения мадам Тюрбо о том, что во Франции дети чуть ли не с пеленок знают наизусть все басни Лафонтена. Она набрасывается на дочку доктора: «Мон Дье, что за произношение! Так говорят извошники...» Класс тихонько ржет. Никто не может понять, что слово «извозчик» для мадам Тюрбо недостижимо. Я не смеюсь, мне не до смеха. Но раздается долгожданный звонок, я бегу в раздевальню, кой-как напяливаю на себя пальто, калоши и все прочее и мчусь на Херсонскую. Все это я проделываю, как лунатик. На остановке, куча народа: Родиопуло, Эсперанса, дочка доктора... В последний момент появляется Таня. Она идет медленно, с достоинством. Она хочет наказать меня за то, что я удрала, не попрощавшись. В другое

время я бы страшно мучалась, но сегодня меня это раздражает. Я не хочу говорить о Бахе. Если она начнет восхвалять Баха, я нарочно вспомню тетради Ивана Маха, и тогда Таня перестанет со мной разговаривать. Это ее обычный прием. Но она и без того молчит целых три остановки, а потом ей надо пересесть.

Я еду прямо. Конечно, я не ошиблась: дома у нас переполох. Все что-то теряют, находят и опять теряют. Матя в погоне за мамиными ключами. Она ищет их под столом, под стульями. Лицо у нее становится бураковым. Она еще раз наклонилась и шнурки от корсета не выдержали. Теперь она начинает копаться, и из-за нее мы непременно опоздаем. Она до сих пор не отучилась вытряхивать свою юбку и каждую вещь подносить к свету. Но я напрасно так волнуюсь, есть еще уйма времени. В таком случае я буду читать последнее приложение к «Ниве». Я довольно ловко вытянула его из под груды других приложений. Как это ни странно, не понимаю прочитанного, мне трудно сосредоточиться. Я посматриваю на шкаф, где висит моя новенькая форма. С удовольствием бы переоделась, но мама говорит, что лучше это сделать в последний момент. И вообще, не нужно быть в растрепанных чувствах.

Мои чувства вовсе не растрепаны, но обижаться не стоит: слишком мало времени до начала спектакля. К тому же обида мне не к лицу, я становлюсь похожей на дочку доктора, когда ее неожиданно вызывают к доске. Приходит Ланя. Он просто неузнаваем. Волосы его напомажены и блестят за пол версты. Ланя это отрицает. Помады он в глаза не видел, он даже не знает, что такое помада. Тогда я говорю: «Без дураков!» — и он сразу сдается. «Да, это помада, но какая! Она способствует рощению волос». Кроме того, от Лани разит уксусным одеколоном. Этого я ему

не скажу. Посмотрим, как будет разодет наш Левочка. Он ведь любить франтить, недаром на кухне его называют «шик, блеск, имерэлегант...» Я сказала Мате, что хочу, чтоб все зрители считали Левочку ее женихом. В ответ она фыркает. Матя не верит в студенческие браки. Она выйдет замуж за человека с положением. Прекрасно, но где она его найдет? У нас есть только один кандидат, мой доктор, но его я Мате не уступлю. Кроме того, он для нее слишком стар. А для меня, никогда старым не будет: я смотрю на него глазами любви. Что же касается Левочки, то он холоден, как лед альпийских вершин. Таким холодным бывает только сын артиста, когда к нему пристает какая-нибудь некрасивая гимназистка. Он называет ее «рожей», но это слишком жестоко. Как женщина, я не могу допустить чтоб другую женщину называли «рожа».

Матя вовсе не рожа, она прехорошенькая. У нее как у многих — два лица. Ее лицо для каждого дня нельзя назвать красивым, но стоит ей приодеться, и щеки ее начинают гореть. Если б она каждую минуту не облизывала губы кончиком языка, было бы еще лучше. Вова говорит, что она помогает природе. Ей хочется, чтоб у нее был влажный полуоткрытый рот, как у знаменитых красавиц. Сегодня она особенно эффектна. Платье жандармского цвета сразу же бросается в глаза. Венгерка не мало над ним помучилась. Сначала она его испортила, но после трех переделок платье начало походить на модель. Так сказала венгерка, и это подтвердили все ее мастерицы. Они просто без ума от платья.

За глаза мастерицы говорят про венгерку всякие гадости. Стоит ей сказать какую-нибудь глупость, и они поддакивают. Это настоящий хор льстецов. Ученицы мадам Рабинович сделаны из другого теста. Они соглашаются из приличия, или чтоб угодить за-

казчице, но в остальное время они не перестают с ней пререкаться. Мадам Рабинович им все прощает: они ведь жертвы. И муж ее жертва и она сама и жертва и мученица. Но один раз, на первый день Пасхи, я встретила ее недалеко от дедушкиного дома. На ней было боа из перьев и маленькая шляпка с вуалью. Я так была горда за нее, что мне хотелось закричать: «смотрите, вот мадам Рабинович из кошачьего переулка! Она в сто раз лучше и красивее ваших дам!..».

Не понимаю, почему я вдруг вспомнила об этом. Надо поскорее проверить часы. Столовые отстают на четверть часа, а мои спешат. Можно было бы узнать у Вовы. Его часы, как хронометр. Но он заперся у себя в комнате и просит, чтоб ему не мешали. Остаются Ланины часы. К сожалению он слишком часто сам их починял. Как только Ланя видит что-нибудь механическое, как сейчас же начинает ковырять своим перочинным ножом. Особенно его привлекают часы. Он готов чинить их даром и даже приплачивать из своего кармана. Бывший холостяк тоже пошел на удочку, и Ланя разобрал его часы на мелкие винтики и пружинки, а составить не мог. После этого холостяк чуть не развелся с Верой Львовной. Он говорил, что не позволит всяким сомнительным родственникам так глупо себя обирать... Ну какой же Ланя сомнительный родственник! Он самый настоящий племянник Веры Львовны. Только его мать так давно умерла, что кажется, будто ее никогда не было. Вера Львовна не осталась в долгу. Она вдруг вспомнила, что у нее самый препротивный характер и так разнесла холостяка, что он потом три дня и три ночи просил прощения. Все это я говорю к тому, что на Ланины часы ни в коем случае нельзя полагаться. На них даже нет секундных стрелок. Они потерялись во время починки.

Кроме Вовы и меня никто не волнуется. Но у него

артистическое волнение, а у меня самое обыкновенное, человеческое. От него начинает крутить в животе. Я бегаю в уборную, но стараюсь проделать это очень тихо, чтоб не заподозрили, что у меня серьезное расстройство. Все это крайне неаппетитно. Надо во что бы то ни стало отвлечься. Но вдруг ко мне входит Матя в нижней юбке и в старом маминой матине. Она ищет шпильки-невидимки. У меня ни шпилек, ни невидимок! Я еще не пришпиливаю мои волосы. Когда-нибуь я буду накручивать их на уши, а ла Клео де Мерод. Пока в нашем классе причесывается одна Родиопуло. Ей уже влетало, но она не дорожит своей репутацией. Родиопуло идет на то, что ее рано или поздно выкинут и она выйдет замуж за богатого человека. Тоня Калиниченко тоже мечтает о замужестве. Любовь для нее важнее богатства. Ей попался в руки дневник старшей кузины и там на первой странице красными чернилами было написано: «я хочу любить и быть любимой». Тоня без конца повторяла эту фразу. И тогда я обратилась к Вове: не знает ли он, откуда это? И Вова нисколько не был потрясен. Такую глупость может придумать любая учительница младшего приготовительного. А вот одесский поэт, бывший репетитор Андрокордато, написал: «я жду любви, как позднего трамвая». Тут есть мысль, есть стиль и, вообще, это стихи на ять. Не понимаю, почему все нужно сравнивать. Какое отношение имеет кузина Тони к репетитору! Ей всего четырнадцать лет. И она ведь не поэтэсса, а ученица гимназии Кандыба. Есть такая. Но я бы не хотела там учиться. «В какой вы гимназии?» — «Я у Кандыбы». От стыда можно сквозь землю провалиться, такая это неблагозвучная фамилия.

60.

У Вовы в «Тартюфе» совсем маленькую роль играет мальчик со смешной фамилией, она кончается на «чук»... Он хотел взять псевдоним, но инспектор его чуть не уничтожил. «Что за безобразие, не воображает ли он себя Щепкиным или Мочаловым». Мальчик с фамилией на «чук» смертельно испугался. Он никогда не слышал о Мочалове. А кто такой Щепкин? Но спросить он не посмел. Это робкий болезненный мальчик. Ему совсем не подходит смешная фамилия, но он тут не причем. В каждом классе есть свои вожаки и свои жертвы. У нас жертвой была девочка с солитером. Но ее увезли в местечко Березовку и дочка доктора решила, что новой жертвой должна стать Берта Креде. Из этого ровно ничего не вышло. Как она ни приставала к Берте, та оставалась невозмутимой. Она пришла в гимназию, чтоб отсидеть пять уроков. А ссориться ей лень. Лучше считать мух на потолке. Берта оживляется только когда заходит речь о пирожных. Она знает в какой кондитерской трубочки посыпаны крупным сахаром и какой вышины наполеоны у Исаевича. Одним словом, жертвы у нас в классе не оказалось.

Пока я перебираю в уме моих соучениц, стрелка подвигается всего на полчаса. А мне казалось, что прошла целая вечность. Я места себе не нахожу. Но мне не хочется показать, как я волнуюсь. Это ниже

моего достоинства. Я должна быть выдержанной как английская мисс из библиотечной книжки. Молодых англичанок я в глаза не видела, а пожилых англичан встречала довольно часто. Некоторые из них притворялись, что они англичане и нарочно говорили с английским акцентом. У Вовы на спектакле будет один чистокровный англичанин — их преподаватель английского языка. А наша начальница только жила в Англии и то потому, что ее муж был политическим эмигрантом. Он будто бы не поладил с правительством. Потом за него вступился какой-то важный чиновник и ему позволили вернуться. За это время наша начальница написала учебник английского языка. Вовин англичанин тоже написал руководство по английскому языку. На вид это серьезная книжка и господин Букинери дает за нее полцены. За учебник начальницы можно получить только четверть, Вова недавно прицениваился. Учебник уже хотели поставить на полку, но Вова почти вырвал его из рук разъяренного Букинери. Оказывается, он не хочет, чтоб его даром беспокоили. У него как в булочной: «Тронутое руками — считается проданым». Подобного притворщика я не встречала! Он не только перелистывает книгу и каждое пятнышко отмечает своим желтым прокуренным ногтем, он трясет ее, и при этом говорит, что переплет отклеивается. На Вову заявления Букинери не действуют. Он просит его поосторожнее обращаться с чужим имуществом. Я бы, конечно, растерялась и выбежала из магазина. У меня еще нет жизненного опыта. Вова сказал, что на таких именно особах, как я, Букинери сделал состояние. Но где же оно? Он всегда в той же бархатной куртке. А его шляпу с большими полями знает вся Одесса. Может быть он копит деньги и после его смерти в тюфяке у него найдут много кредитных билетов и золотых монет. Но Вова не хочет и слышать об этом.

«Как я не понимаю, что Букинери вкладывает свои деньги в товары! На одну проданную книгу приходится десять купленных». Теперь у меня в голове начинает проясняться. У Букинери есть страсть, страсть к книгам. По ночам он бродит среди своих книжных сокровищ. Берет то одну книгу, то другую и вспоминает, как он ловко надул гимназиста с прыщами на лбу.

Размышления о господине Букинери продвинули стрелку еще на десять минут. Юзя уже вынула из шкафа мою новую форму. Она лежит на кровати, выглаженная с торчащим воротником. Страшно к ней подойти! Она почти как живое существо. Я к ней только притрагиваюсь и тут же отскакиваю. «Ай, я укололась!». Венгеркина мастерица забыла вынуть булавки. Если бы это заметили на «Тартюфе», решили бы, что я вся на булавках. А это бросает тень на всю нашу семью. Теперь мама начинает меня торопить. Я не вовремя размечталась. Сейчас позовут к столу! Но ведь на «Тартюфе» будет буфет. Я предпочитаю буфетные бутерброды! Мама меня успокаивает: «Ничего, в буфет мы тоже пойдем. А пока надо подкрепиться». Странно, что у Левочки такой зверский аппетит. При его худобе он может съесть целого гуся. Правда, по маленьким кусочкам. Матя повязала шею салфеткой. Она забывает, что по правилам хорошего тона салфетку надо класть на колени. Это написано черным по белому в книге, как стать душой общества. Ее подарил Юзе студент со второго этажа. Юзя мне ее передарила. Потом студент написал что собирается поднять ее до себя. Юзя обиделась и хотела задать ему на орехи. Но я ей отсоветовала.

Студент смотрит на меня с высоты своего величия, хотя это не так легко: он выше меня всего на полторы головы... А вот отец его — вежливый господин. Недавно при встрече со мной он снял шляпу.

Яков Соломонович еще вежливее: он пропускает меня вперед, а сам старается делать мелкие шаги. Интересно знать, вежлив ли он со своими дочерьми? Матя говорит, что некоторые мужчины с чужими очень вежливы, а дома они тираны. Я спросила, знает ли она это по опыту или по наслышке, и Матя обиделась. Ей ничего не стоит изобразить самую жгучую обиду. Она начинает хлопать своими замечательными ресницами и всем воображаемым обидчикам становится неловко. Она заранее обижена, что ей придется сидеть на скамейке вместе с Левочкой. Мама и папа будут на главном сиденьи, а я в виде исключения у папы на коленях. Вова и Ланя уедут раньше. Вова, как один из главных исполнителей должен придти за час до начала спектакля. Его будут гримировать.

С париком опять-таки немало возни. У Вовы большая голова и ему нужен большой парик. У сына артиста голова тоже порядочных размеров. Он сказал, что театральный парикмахер чертыхается. Он не может понять, откуда такие головы! Вряд ли они распухли от учения. Парикмахер испытал это на собственной шкуре: у него сын — реалист и порядочный лодырь. Но если б парикмахер присутствовал при том, как мне когда-то покупали шляпу на Александровском проспекте, он понял бы, что большая голова — это особенность нашей семьи. Почему она большая у сына артиста — неизвестно. А хозяйка шляпного магазина сказала маме, что я, наверное, очень умная девочка. Но уступить она ни за что не хотела, у нее цены без запроса. Под конец она запарилась и отдала шляпу почти даром. По дороге мама повторяла, что мы переплатили и все из-за моего телячьего восторга. Но ведь шляпа была из настоящей соломы, она отливала золотом, и я опасалась, что хозяйка магазина передумает. После первого дождя солома перестала блестеть и я больше не восторгалась. За науку надо

платить. Прежде чем Вова стал футболистом, ему пришлось порвать не одну пару штанов и ничего, он это пережил. А близнецы купили ручную типографию, они хотят набирать наш журнал и таким образом зарабатывать на текущие расходы. В первый же день они растеряли все буквы и им не удалось даже напечатать своего имени и фамилии. Но они копят деньги на покупку более усовершенствованной типографии. Первая — была только для ознакомления с типографским делом. Они слишком раздувают свои типографские заслуги. И вообще, картонная картонка не может быть типографией. Недаром Вова им сказал, что если они собираются конкурировать с Фесенко, их дело — семнадцатое.

Мне он про семнадцатое дело не советует распространяться, это типичный блатной язык. А я обожаю этот язык, и хотела бы бегло говорить по-блатному. Вова меня стыдит: он думал, что я поэт и вдруг я увлекаюсь Бог знает чем. Что ж, придется примириться и забыть это увлечение. Меня утешает только, что близнецы никогда не научатся набирать. Нельзя злорадствовать, говорил мой дедушка из Вознесенска, но я не могу быть такой безгрешной, как он. У меня это не получается. Я злюсь на моих родителей, что они медленно собираются. Уже ушла парикмахерша Роза и рассеялся запах от ее щипцов. Крохотные пуговички на мамином платье застегнуты, все до одной, нашлись и папины запонки, а мы все не едем. Я будто бы напрасно тороплю. Мы и так будем первыми. А я люблю приходить раньше всех. Тогда можно видеть, как театр наполняется. Сначала какие-то мушиные точки, а потом зрители идут сплошным потоком.

Перед началом спектакля, когда занавес начинает медленно ползти вверх, являются две старые дамы. У них места в середине третьего ряда. Воображаю,

как злятся их соседи. Но дамам это безразлично, они ходят по чужим ногам и с удовольствием наступают на чью-то юбку. А как будет в ненастоящем театре? Там ведь не кресла, а стулья. И некоторым толстякам нужны, по крайней мере, два стула. Я могу отдать кому-нибудь половину моего. Когда я сижу, то занимаю совсем мало места. Зато, когда я разговариваю, мне нужно порядочное пространство для жестикуляции. Неужели я переняла ее у Тубенкопфа? Он тоже делает жесты. Нет, скорее всего я научилась этому у еврейского учителя Хейфеца. Хейфец постоянно торчит у зеркала. Он стискивает губы и как-то странно выпячивает грудь. Потом он отходит на три шага, рука его поднята к потолку, и он рассматривает свою растопыренную ладонь. Она не первой чистоты, но это не имеет ровно никакого значения. Хейфец спрашивает, похож ли он на знаменитого оратора. Я молчу. Не могу же я сказать, что у него невзрачная фигура. Но Хейфецу мое молчание не по душе. Почему я не сравниваю его с Диогеном? Ни с того ни с сего он начинает горячиться и размахивать руками. Он хотел бы делать благородные жесты. «Тогда благородным жестом головы он откинул свисающую на лоб седую прядь». Я предпочитаю благородные жесты в переносном смысле, когда отказываются от чего-нибудь в пользу другого.

Недавно я хотела отказаться от иллюзиона и купить на эти деньги несколько открыток для Тани. Но мне не удалось, картина была слишком соблазнительная, в ней участвовала моя любимая артистка, Франческа Бертини. Когда я хожу на Франческу Бертини, мне потом целую неделю кажется, что она — это я в будущем. Я буду носить большие шляпы с перьями, от них лицо становится загадочным. А загадочность — первое условие успеха. Все, что ясно — обречено на неудачу. Так говорит кузина Маня. Но

если б она была загадочной, то не жила бы на квартире, где пахнет застоявшейся фаршированной рыбой. Она покупала бы пальто у Берзона, а не у Осетинского и не рассуждала бы о том, сколько стоят обрезки колбасы. А вместе с тем, когда все уходят, и мы с ней остаемся в столовой, она говорит, что нужно оторваться от мелочей, они засоряют жизнь. Она хочет, чтоб я верила в ее загадочность. И я притворяюсь, хотя я отлично знаю, как трудно быть загадочной, имея мало средств в жизни.

Все ругают дядю Авдея Ильича. Он старый лицемер. Ага, значит он Тартюф. Потому что Тартюф это воплощение лицемерия, — говорит мадам Тюрбо. А ведь Мольер ее национальный писатель, вместе с целой кучей других: Расином, Корнелем и прочими. Я начинаю считать французских писателей: Виктор Гюго, Альфонс Доде, и тут меня зовут... Матя уже в шляпе, а Левочка в фуражке с молотками. Пора ехать.

В передней—отец иностранного корреспондента. Он сидит на самом неудобном стуле и тихонько качает головой. Он забыл про «Тартюфа», а я ему все подробно объяснила. Очевидно, он недослышал. Он посидит еще немного и пойдет домой. Их прислуга сказала, что дома у него грусть-тоска. Вечный студент съехал с квартиры и одна из дочерей не вылезает из капота. Стоит ли наряжаться, ее жизнь разбита. Я знала, что вечный студент переменил комнату, но сейчас мне на него наплевать. Лошади вдруг понесли, и я чуть не свалилась с папиных колен. А все потому что я хочу принимать участие в разговоре. Я спрашиваю Левочку, какая погода в Петербурге и бывают ли там посреди зимы такие теплые вечера, как сегодняшний. Левочке неинтересно мне отвечать. Для него это лишняя трата энергии. А он страшно себя оберегает. Даже тетя Ида сказала, что

он дрожит над собой. Но остальные не смеют об этом заикнуться, она им глаза выцарапает.

Я заметила, что у Левочки острые колени. Видно брюки нельзя подбить ватой, как тужурку. И мне смешно, что он изо всех сил старается не прикасаться к Мате. Когда она придвигается, он отодвигается на самый краешек и часть его туловища висит в воздухе. Но он напрасно принимает такие позы, Матя абсолютно им не заинтересована. Она считает, что он не годится даже для флирта. А флирт, насколько я поняла, это игра в маленькую любовь. Не в огромную, со всякими жертвами, а именно в маленькую. Но мы приехали. И не мы одни. Впереди нас кто-то расплачивается, а сзади едут и едут. Какой съезд! Можно подумать, что это Зал Биржи или Городской театр. У меня от волнения начинают стучать зубы. Сейчас мы переходим порог здания, где учится Вова. Он говорит о нем довольно небрежно, а на самом деле он им безумно гордится. Входим в раздевальню. Там вешалка, где выдают номерки. Мы сдаем все на один номер. И я не совсем довольна, но никто с этим не считается. За нами длинная очередь родителей. Я узнала маму первого ученика Галкина. С ней какая-то старуха в очках — его тетка. А в самом конце отец близнецов. Его рыжая борода светится на расстоянии. Их мама не пришла: она плохо слышит. Для того, чтоб она услышала, ей надо кричать в ухо. Кто-то из родителей показал пальцем на двух молодых людей в штатском. — Посмотрите на братьев Андрокардато, они держат себя, как в Северной гостинице. А мне они понравились. У них плечи, вроде тех, что у борца Ивана Заикина. Усы их я не одобряю, такие Катя пририсовывает ко всем безусым лицам. Билеты проверяет Калиниченко старший. При этом он щелкает каблуками, как будто хочет пригласить на тур вальса. Все нарядные и удивительные тор-

жественные. Самое сильное впечатление на меня произвел старичок на кривых ножках. Он выступал, как маленькая цапля. Я решила, что это директор или инспектор, но оказалось, что это классный надзиратель. Личность, не заслуживающая внимания. Ланя уже сидел на своем месте. Он пришел давным-давно, с Вовой, и почти целый час слонялся по коридорам. Я рада, что он мой сосед, и если нужно будет, я могу схватить его за руку. Другим я не хотела бы показать своего волнения, но Лани я не стесняюсь. Ведь он сам волнуется не меньше моего. И мне даже показалось, что я слышу как бьется его сердце.

Зал почти полон. Теперь приходят одиночки, имеющие обыкновение опаздывать. Публика начала шевелиться. Господин из последнего ряда сморкается. хмыкает, еще раз сморкается... Вместо того, чтоб смотреть на сцену, все смотрят на него. Но вот пробежал главный режиссер, артист Драматического театра. Он сделал знак рукой, означающий: сейчас начнется! — и скрылся. Мне надоело ждать. Воротник новой формы сдавливает мне шею. Спинка стула врезалась в спину и страшно болит то место между плечами, где у дам горбик жира. Таких неудобных стульев я в жизни не видела! Когда ожидание становится почти невыносимым, занавес раздвигается и в один миг боль проходит. «Тартюфа» я знаю наизусть. Вова никогда мне его на руки не давал, зато когда он выходил из комнаты, я на него набрасывалась, как на драгоценную добычу. Но здесь другой «Тартюф», не похожий на книжного. Все, как будто, во сне. Я вижу Вову, сына артиста, велосипедную Верусю — и не узнаю их! Хотя они освещены так, что заметна каждая складочка... Ланя потянул меня за юбку. Он предупреждает, что я шевелю губами. И он прав, я слежу за тем, чтоб исполнители не пропустили ни одного слова из своей роли.

На самом интересном месте — антракт. А я настолько увлечена, что забыла про буфет. К нему все равно нельзя пробраться. Папа сует Левочке хрустящую трехрублевку, и он с трудом протискивается к столам, заставленными бутербродами, пирожными, пышками, пончиками, пирожками. Через минуту Левочка, растрепанный и красный, как после верховой езды, появляется в проходе. Над головой он держит тарелочку с бутербродами. Они очень маленькие, аристократические. У меня от волнения пропал аппетит, но из вежливости я беру три штуки. Рядом со мной папа близнецов ест пончик. Сахар сыплется на рукав его визитки, но он не замечает. Братья Андрокардато стоят в стороне. Они вышли из зала, чтоб покурить. Многие дамы напудрены, а у одной брови, каких в природе не бывает. Они чернее черного. Матя сказала, что они нарисованы специальным карандашом. Ее не проведешь, она знает все секреты женской красоты. Почему же она ими не пользуется? Она могла бы выровнять свой нос, чтоб он не так утолщался и немного удлинить шею. Но видно легче критиковать чужую красоту, чем подправить свою!

Ланя ходит за мной по пятам. Он потрясен игрой сына артиста и Зовиной... «На них держится спектакль!» Вот молодец, я не подозревала, что он такой знаток театра. Ланя немного недоволен тем, что суфлер слишком громко подсказывает. Но я с ним абсолютно несогласна. Парики, по словам Лани, могли бы быть побольше, а то они торчат на макушке головы. Это придирка — я чувствую, что он сам не верит ни в парики, ни в суфлера. Мы с ним не можем дождаться начала второго действия. Публика еще в буфете, а мы уже заняли наши места. Почти на всех стульях лежат программы, кое-кто даже оставил бинокль. Ланя говорит, что в Кобеляках это было бы невозможно, бинокль тут же стащили бы. В Полтаве тоже не-

безопасно оставлять бинокль. Меня это не удивляет. Полтава провинциальный город, а Одесса — столица юга, жемчужина Черного моря, южная Пальмира — есть и другие названия, но они мне не приходят на ум.

Было уже два звонка, а публику никак нельзя вогнать в зал. Мама и папа в буфете. Они встретили знакомых. Я боюсь, что они заговорятся и опоздают к началу второго акта. Но ничего страшного не случилось — кое-как все занимают свои места. Раздается глухой удар, как это бывает в передовых театрах, и действие начинается. На глухом ударе настаивал сын артиста. С ним спорили, но он напирал на то, что теперь так принято. Актеров я перечислять не буду. Кроме Вовы и сына артиста, мне понравился один толстяк. Он старше Вовы на класс и известен тем, что носит пелерину из материи «лоден». Держит он себя на сцене очень свободно. Вова сказал, что он, развязный тип и любит одалживать деньги. Ему нужно на папиросы. Папиросы это предлог, на самом деле он тратит их на пирожные. Вовин голос звучал так убедительно, как будто Вова уже на втором курсе Драматической школы. Голос толстяка выходил точно из живота. А сын артиста был прямо, как Тубенкопф. Что же касается дам, то они все говорили немножко в нос. Но это не мешало. Мольер французский писатель, и поэтому они не могут говорить, как Марья Антоновна из „Ревизора“. Они должны во что бы то ни стало перевоплотиться. Я сама обожаю перевоплощение и хотела бы с самого раннего утра быть то тем, то другим. В общем, лучшего спектакля я не знаю.

Во втором антракте Ланя сказал мне, что видел приблизительно такой же. Но я ему не поверила. Он задается, чтоб я не подумала, что он жалкий провинциал. К моему удивлению папа близнецов со мной

поздоровался. Обычно, он меня не замечает. До седьмого класса все для него сморкачи и сморкачки. А на этот раз он протянул мне два пальца, очень скользких и ледяных. Подошел наш Андрокардато и дал мне несколько тянушек. Он не понимает, зачем притащились его братья. Больше никто к нам не подходил. Мы с Ланей одиноко стояли под портретом важной особы и давились тянушками. К концу спектакля я очень устала. От волнения отскочили два крючка на моей новой форме. Я обиделась, когда Ланя сказал, что мои ноги не достают пола. Он пошутил, но это была неуместная шутка, особенно в такой момент. Сквозь слезы я видела, как на сцену вышли Вова, сын артиста, Веруся и все остальные. Впереди шел главный режиссер, артист Городского театра. Он прижимал руку к сердцу и кланялся низко низко, он ведь главный виновник торжества: Вова кланялся очень элегантно, как д'Артаньян, а сын артиста — небрежно, рывком головы, как будущая знаменитость. Исполнительницы женских ролей делали что-то вроде реверанса. И, как по команде, все ушли со сцены.

Публика не унималась, Вова потом рассказывал, что пришлось шесть раз давать занавес. Я помню только пять вызовов, но от усталости я наверно просчиталась. Едва мы вернулись, и Юзя еще не успела закрыть дверь на цепочку, как мне захотелось петь, танцовать, вертеться у всех под ногами. Усталость, как рукой, сняло. Лучше совсем не ложиться, а утром я слегка умоюсь, чтоб не окончательно запачкать форму, и пойду в гимназию. Но я ни в ком не нашла поддержки. Пришлось идти в свою комнату. Новую форму я швырнула на стул. Пусть говорят — на этот раз с основанием — что я небрежно обращаюсь со своими вещами. Я слышала, как Вова требовал, чтоб ему сделали горячий гоголь-моголь, он натрудил горло. А мама смеялась и повторяла, что уже поздно.

Но устоять она не может, и Юзя мчится на кухню... А мне зверски не везет. Как Лане. Ему всегда зверски не везет. Я не буду присутствовать при том, как Вова пьет гоголь-моголь. Может быть, он и мне бы отлил немного в блюдечко. Я полусплю и мне снится смешной сон, приходят два брата: Пунчик и Влязло и садятся на мою новую форму... Я хочу их прогнать, но они родственники Малинина и Буренина и мне надо быть с ними в хороших отношениях. Но я ведь не сплю по-настоящему и сон я наверное выдумала... И тогда Пунчик и Влязло встают со стула: они должны закрыть ставни, лунный свет их раздражает. Ну, конечно, это близнецы, они всегда были притворщиками.

Никто мне не поверит. И без этого говорят, что мне снятся сны со значением. А это все чистая правда, чуточку измененная, чтоб было гладко. Но я никому не рассказываю, что во сне я никогда не могу достигнуть цели. Все кажется простым, стоит только руку протянуть, но возникают препятствия, и ни за какие блага я не сумею вернуться в то место, откуда вышла. Я могла бы одолжить на кухне «Сонник» и найти в нем объяснение, но мне неудобно. Подумают еще, что я верю снам. Я им, действительно, верю, но это моя тайна.

61.

Сегодня мне трудно подняться с постели. Будильник в вовиной комнате трещит, как угорелый. Можно подумать, что в доме пожар. Он на секунду умолкает и потом раздается сдавленный хрип — это Вова его накрыл старой диванной подушкой. То, что было до «Тартюфа» куда-то ушло. Начинается новая полоса: то, что после «Тартюфа». А в столовой тишина, никого нет, папу вызвали к дедушке, и он ушел еще на рассвете. Мне вдруг становится жутко. Я перестаю выковыривать желток из холодной яичницы-глазуньи. Почему меня не разбудили на рассвете? Я бы тоже пошла к дедушке. Но некому предъявлять претензию. Пока мы были на спектакле, дедушка лежал в своей постели, с резной спинкой и думал, что мы оставили его на попечение сиделки, а сами развлекаемся. Дедушка, ведь, может думать часами. Это я у него переняла. Но Вова говорит, что у дедушки железная логика, а у меня никакой.

Может быть с годами и у меня появится логика, а пока я, действительно, люблю перескакивать с предмета на предмет. Сейчас мысль уже не скачет: я вижу только дедушку, его комнату с красными портьерами, его ночной столик. На нем все лекарства. Дедушка хочет иметь их перед глазами. Он должен знать, чем его лечат. Под кроватью ковровые туфли, не такие нарядные и новенькие, как у отца тети Тани.

Дедушкины туфли видали виды. Впрочем, он ими не пользуется. Он не встает с постели. Пахнет сигарами. Дедушка уже очень давно не курит, но запах этот въелся в стены и не проходит, несмотря на то, что сиделка с большим животом каждые полчаса опрыскивает комнату сосновой водой. Она говорит, что это полезно для легких. Она все время рассуждает о том, что полезно и что вредно. Вова сказал, чтоб я не прислушивалась к болтовне младшего медицинского персонала. Это полуинтеллигенты.

Я боюсь спросить, считает ли он Надежду Моисеевну полуинтеллигенткой. Она ведь училась на фельдшерских курсах. А когда у Гени в местечке кто-нибудь заболевал, звали фельдшера. Он там был главным врачом. О фельдшерах я уже говорила. А вот звали ли фельдшериц, об этом мне ровно ничего не известно. Дедушкина сиделка ни на каких курсах не была. Но у нее такой опыт, что она заткнет за пояс всех сестер милосердия. Сколько банок она поставила, сколько клизм — считай на тысячи! В умении ставить банки ей нет равной. Меня немного смущает, что сиделка так себя расхваливает. Если ее послушать, уже неделя, как она не сомкнула глаз. И для того, чтоб ей держаться на ногах, ей надо кофе, много кофе... Поэтому сиделку нельзя дозваться, она сидит на кухне и кофейник не сходит с плиты. Она ругает Хармака и Бебеле, они провоняли всю квартиру, а для больного это яд. Сиделка выдумывает. У Хармака, правда, есть свой старческий запах, но Бебеле пахнет только мазью от экземы. А мазь, как известно, пахнет аптекой.

Мне совсем не хочется в гимназию. Таня будет дуться и настаивать на том, что ее московская тетка ходит каждый день в Художественный театр. Я ей сказала, что одесский Художественный театр — это обыкновенный иллюзион, и она обдала меня неверо-

ятным презрением. Я нарочно сказала про иллюзион. Художественный театр я знаю не хуже Тани. У меня есть даже открытка: В. Качалов в роли Глумова. Я долго думала, что его зовут Владимир. Потом выяснилось, что он Василий, и я безумно огорчилась. Сын артиста сказал мне, что знаком с Качаловым. Но Вова фыркнул и я тут же сообразила, что это чистейшая выдумка. Очень жалко. Он мог бы меня с ним познакомить. Не теперь, конечно, а через несколько лет и тогда, кто знает, может быть я ему и понравилась бы. Мечты уводят меня далеко: я — жена Качалова и играю главные роли в Художественном театре... Возможно, что у него есть жена, но я не хочу об этом слышать. Мой Качалов не женат!

Но дело не в Качалове. Сегодня первый урок — немецкий. А немка давно на меня поглядывает. Почему бы ей не вызвать Мусю Логинскую! Она в сто раз лучше расскажет, что изображено на картинке из учебника Глезера и Пецольда. Более дурацких картинок я в своей жизни не видела. Кто их рисует? Неужели отставной учитель немецкого языка? Или, наоборот, совсем юный кретин? Вова сказал, что я не могу себе представить, сколько есть кретинов на белом свете! Некоторые из них считаются умными, как, например, Жора, но Вову не проведешь: он нашел в нем зачатки кретинизма. До «Тартюфа» Жора не был кретином, но после того, что он неодобрительно отозвался о Мольере, Вова и сын артиста перевели его в этот разряд.

По-моему близнецы тоже кретины, но я не решаюсь их так назвать. До сих пор они лучшие вовины друзья, и он им все прощает. Это друзья детства. А я с Асей дружу с колыбели, и тем не менее она мне ничего не прощает. Вова хочет, чтоб я делилась только с ней одной, а Таню она ненавидит. Она внушила всему классу, что Таня высокомерная

и цедит слова. Она это придумала, чтоб досадить мне, и я не знаю, простить ли ей такое вероломство? В конце концов я прощу, потому что она страдает. Она уже изгрызла ногти почти до основания и теперь сосет кончик косы. Я не могу смотреть на чужое страдание. Надо что-то переделать, чтоб все были счастливы. Это невозможно. Мне объясняли, что страдание необходимо. А Данюша на даче говорил, что в страдании столько же красоты, сколько в подвиге... Но это ведь слова. Особенно, если они исходят от Данюши.

Теперь я страдаю за толстого мальчика, одного из вовиных товарищей по сцене. Артист городского театра сказал ему, что он мог испортить ансамбль и толстый мальчик едва не сгорел от стыда. Он не думал портить, он помешан на ансамбле. Но артист был неумолим. Вова поделился этим уже в передней, где я надевала калоши. Это была долгая процедура. Они ни за что не налезали на мои новые окуневские ботинки. В результате я увидела, что это не те калоши, мои были блестящие, с новыми буковками, а эти потертые и задник отстает. В третий раз за зиму меняю калоши. Даже служитель Афанасий сделал мне замечание. Он любит, чтоб был порядок. А это непорядок. Он сердился, и все его медали прыгали от возмущения. Я отлично знаю, что он не пойдет жаловаться начальнице, как делают некоторые. Галина Петровна, учительница географии, всегда ей что-то нашептывает. Она большая, а начальница ниже среднего роста, и поэтому ей нужно складываться почти вдвое. У Вовы тоже есть учителя-наушники. Они хотят выслужиться. Но служитель Афанасий очень гордый. Он ни перед кем еще не гнул шеи. Оттого она у него прямая, без кадыка. Афанасий встречает меня на пороге раздевальной. Калоши нашлись! Он хотел меня обрадовать, а мне безразлично. Я не умею рас-

страиваться из-за калош. Чем быстрее они постареют, тем лучше. С новыми всегда-что-нибудь случается.

В классе меня ждет сюрприз. Таня даже не поворачивается в мою сторону. Сейчас у ее парты стоит Мара Гольберг, и они говорят о музыке. До меня доносится: «Шопен, Шопен, Шопен...» Это Мара. «Нет, Шуман» — возражает Таня и я вижу, что она села на своего конька. Зачем я ей? У нее появилась музыкальная подруга, и они будут до начала урока перекидываться композиторами. Таня, как обычно, останется победительницей. Она скажет: «Шуман!» так громко и внушительно, что Шопены сразу померкнут. А ведь про Шумана она узнала совсем недавно. Мара смущена и вместе с тем довольна, что ведет музыкальный разговор. Я боюсь, что она прилипнет к Тане, и я отойду на задний план. Чтоб себя успокоить, начинаю громко рассказывать, как прошел Тартюф. Но у меня только две слушательницы: Тоня Калиниченко и Топсик. Тоню интересует были ли на спектакле военные? Я сказала, что военных не помню, но зато там был студент из Петербурга, мой кузен Левочка, а у него форма почище офицерской. Тоню Калиниченко это не удовлетворяет. Тогда я говорю, каким замечательным распорядителем был ее собственный брат, Калиниченко-старший, и она смягчается. «Да, ее брат не только самый лучший распорядитель, он еще дирижирует танцами. У него есть даже две пары белых перчаток».

Топсик не может понять, в чем дело. У них в Сибири никто не видел «Тартюфа». Ей кажется, что я все выдумала. Из деликатности она слушает. Топсик, как птичка, она всего боится. Непохоже на то, что она родилась в Сибири. А может быть ее родители случайно туда попали? У меня нет времени заниматься родословной Топсика! До урока ровно полсекунды, и вот уже в класс входит немка. Знаменитая картина,

из Глезера и Пецольда при ней. Немка с ней не расстается и переносит ее с места на место. Нарочно закрываю глаза, чтоб не видеть мальчика, бесцеремонно усевшегося под фруктовым деревом. Не знаю, что там за фрукты: сливы или яблоки? Они больше слив и меньше яблок. Это, наверное, пецольдовские фрукты, их не найдешь ни у одной торговки со Старого базара. Стало вдруг холодно и грустно. И тут Родиопуло незаметно передает мне записку, заклеенную синей облаткой. Записка от Тани. Она должна о чем-то со мной поговорить. К чему такая таинственность? Таня чувствует, что я оскорблена и ищет способ меня задобрить. Но быть слишком милой ей не хочется, это противоречит ее взглядам.

Таня в глубине души решила, что я ее лучшая подруга и останусь такой до конца наших дней. А раз она решила, то это свято. Тане нравится, что она волевая. В ее представлении я должна быть той, что парит в облаках, а на земле соглашается со всем, что говорит она, Таня. Почему же она критикует иллюзион «Двадцатый век»? Там ведь показывают картины, где героини властвуют над своим окружением! Но это высокие, стройные женщины, с талией, как у тети Лили, а здесь такая же девочка, как я, только чуть повыше. Когда нас в последний раз измеряли, выяснилось, что разница всего в два сантиметра. И, всетаки, несмотря на все мои рассуждения, я счастлива. Я верчу записку, очень осторожно, чтоб немка не догадалась и теперь мне море по колено. Как сыну артиста, когда он получает рубль на мелкие расходы. Меня могут вызвать, я готова тыкать указкой в мальчика под деревом. Все немецкие слова вдруг завертелись у меня в голове. И если так будет продолжаться, я стану первой ученицей по немецкому языку. Сын артиста сказал бы, что это игра воображения. В действительности мне никогда не удастся перещеголять

девочку с жиденькой косой. Она приходит, как тень, и после пятого урока бесшумно исчезает. И только на уроке немецкого она преображается. Она знает все склонения и спряжения, а в диктовке у нее не больше десяти ошибок. На других уроках она молчит или отвечает так тихо, что возмущенная Надежда Игнатьевна кричит: «Громче, громче!..». Как на галерке. Один раз я сама там раскричалась и Вова меня остановил: «Отчего я, собственно говоря, надрываюсь?». Было отлично слышно, но я не хотела отличаться от других. Если студент из последнего ряда и барышня в узкой юбке не слышат, почему же я должна слышать? Я ничуть не хуже их.

Несмотря на все это, я не хочу, чтоб меня вызвали. Немецкие слова могут также разлететься, как они появились. И я буду назло немке с аккуратными щеками употреблять исключительно средний род: дас. Я признаю средний род: он дает понять женскому и мужскому роду, что они зазнались. Но страхи оказываются напрасными. Учительница вызвала не меня, а Берту Креде. Потом она читает ей нотацию: как это возможно, чтоб немка, Креде, не знала, как по-немецки яблоко! Берта Креде хнычет. У них в семье не учились по Глезеру и Пецольду. Никогда еще Берта Креде не говорила так длинно. Очевидно ее здорово задела нотация. На перемене Таня отводит меня за вешалку с передниками. Я жду. Сейчас она скажет что-то очень важное. Но на мой взгляд ничего важного в ее словах нет: в воскресенье она идет в зал «Унион». Играет пианист небывалой красоты и небывалого таланта, Готфрид Гальстон. Я видела его портрет в нотном магазине Густавсона и никакой красоты в нем не нашла. Единственное, что меня поразило — это его волосы. Они были вроде лунного ореола. Потом я вспомнила, что на карточке у сына артиста тоже есть ореол. Его напустил фотограф.

Таня была крайне недовольна моим заявлением. У Готфрида Гальстона настоящий ореол. Ну, Бог с ним, ореол я могу в крайнем случае уступить. Придираться не стоит! На придирках далеко не уедешь. Таня иногда пробует ко мне придраться: «Вчера я говорила совсем другое...» Возможно, но за ночь я передумала. Тане это непонятно: она никогда не передумывает. Гальстон останется красавцем, даже если у него на видном месте выскочит прыщ, а танина учительница музыки была и будет самой лучшей преподавательницей в Одессе. А как же мадам Трейн? Ну, мадам Трейн она презирает, у нее все кончается «Песнями без слов». Танина учительница сказала, что это сентиментальные пустячки.

Потом у Тани будут другие авторитеты, но пока мнение профессорши для нее — закон. Тут между нами пропасть. Я считаю, что нужно разрушить все авторитеты, а Таня без них жить не может. Она вечно на кого-нибудь ссылается. Когда я рассказывала про вовину старую знакомую, Таня морщилась: «Сыр под колпаком, подумаешь, велика важность! У ее московского дяди все серебро позолоченное». Не знаю, как это случилось, но я сразу и бесповоротно возненавидела этого дядьку, женатого на бывшей премированной красавице. В танином окружении, вообще, масса красавиц. Представляю себе, как Таня будет говорить о Готфриде Гальстоне и заранее начинаю его критиковать. Это дутая знаменитость! Я наверное бы смягчилась, если б Таня спросила, как прошел «Тартюф». Но она таким вопросом не удостаивает. На последнем уроке у меня начинает сосать под ложечкой, как у Гени, когда она волнуется. Геня знает верное средство: надо съесть фаршированную головку карпа, и все как рукой снимет. Но генино средство мне не подходит. Я не могу смотреть на эту остроконечную голову с одним вареным глазом! У Гени все

начинается и кончается едой. У меня особая причина: я разочаровалась в моих друзьях. И ни с того ни с сего, мне становится жалко, что Натуся уехала в Николаев. С ней не нужно было говорить о Гальстоне и о московских родственниках. Натуся тихонько отливала нам из большой бутылки понемножку вишневой наливки. Я сразу опрокидывала рюмку, а она пила кукольными глоточками и говорила, что у нее кружится голова. Мы так хохотали, что ее брат, Лазарь, затыкал уши. Ему мешают решать задачи. Нет, в Натусе я не могла бы разочароваться!

Но Натуся не вернется! Она завела себе новую подружку, и они вместе хохочут, когда проходят мимо учительской. Им страшно весело и чуточку стыдно. А я должна вести себя неестественно, как будущая знаменитость. Так постановила Таня. Мы с ней представляем все виды искусства. Мы — девять муз. Так нас окрестил ее кузен Сава. Но когда же он успел это сделать? Я с ним даже не знакома. Он прошел через танину столовую в то время, как мы пили чай с миндальными печеньями. Меня поразило тогда, что печенья уже лежали на тарелочке. И было как будто отмерено: каждой по четыре штуки. В нашем доме ставят вазу с печеньями и бери, сколько хочешь. У таниной мамы другая система. Она дает много разных вещей, но всего по капельке. Она даже не спросила, хочу ли я еще одну холодную котлету. А я люблю, чтоб спрашивали. Еще лучше, когда накладывают полную тарелку вкусных вещей и говорят: «Ничего, как-нибудь ты это одолеешь!».

Я знаю, что танина мама отмеривает не из скупости, а из принципа. Но если бы моя мама придерживалась таких принципов, близнецы и сын артиста не стали бы нашими постоянными гостями. Они уже не ждут приглашения, а прямо садятся и поспешно ищут салфетку. После обеда они и Вова начинают

что-то обсуждать вполголоса. В конце концов один из них говорит: «Заметано!» — и они уходят... Но с чего Сава взял, что мы-девять муз? Держу пари, что он не сумеет назвать и трех. То, что я не знаю, меня не трогает, но Саве полагается знать. Тем более, что Таня сказала мне, что он чуткий и знающий. Она немного подражает своей маме. У ней все разделяются на чутких и нечутких.

Я боялась дышать, а вдруг она зачислит меня в нечуткие. Не уверена, что танина мама считает меня знающей. Пока мои знания очень ограничены. Я лично хотела бы знать, как заглядывают в будущее без помощи карт. В картах для меня ничего подходящего, кроме дальней дороги. А Казенный дом, это верно, гимназия. Но она не представляет ничего нового. Я изучила каждую выбоинку в паркете. Если б мне завязали глаза, я могла бы пройти по всему помещению и сказать, где что находится. Единственное место, куда я не хотела бы пойти — это физический кабинет. Там стоит электрическая машина. И когда моторчик действует, проволока в лампе становится зелено-бурой.

Есть еще одна непонятная дверь. Она ведет в квартиру начальницы. Из всего класса в ней была только моя подруга Ася и Муся Логинская. Ася сказала, что обстановка там, как у их управляющего на Хаджибейском лимане: все стулья разные. Дальше столовой их не пустили. Я думаю, что Муся держала себя с достоинством, а Асю распирало от любопытства. Она сначала присматривается, а затем начинает сравнивать. Выходит, что у них все во много раз красивее. И в этом нет ничего удивительного: ее мама из семьи... И тут она называет фамилию, довольно странную. Она мне ничего не говорит. В телефонной книге ее тоже нет. Ася возмущена тем, что я обнюхиваю телефонные книги. Она ведь сотни раз объясня-

ла, что ее мама из Бессарабии. В тамошней телефонной книге у них целая страница телефонов.

А у моего дедушки в Пушкинской нет телефона. Он не хотел, чтоб поставили: «Кому нужен телефон? — говорил дедушка. — С моим сыном я вижусь каждый день. Невестки и дети тоже бывают... А остальные могут идти на все четыре стороны». Мама, как и дедушка, ненавидит телефон. Она не может понять, откуда у Вовы такая страсть к телефонным разговорам. На это Вова отвечает, что он человек вполне современный и должен пользоваться благами цивилизации. Но теперь, если б у дедушки было два аппарата и один из них у самой постели, он не смог бы поднять трубку. Его руки лежат на одеяле, а голос стал тихим и глухим. Надо наклониться, чтоб его расслышать. Я не думала, что от болезни становятся меньше. Когда сиделка просит нас выйти из комнаты, она должна перестелить кровать или дать дедушке посуду, она так и выражается: посуду, я начинаю дрожать. А что если она сломает ему спинной хребет. У нее ведь ручищи, как у великанши. А ноги, как у Якова Соломоновича. Откуда берутся такие экземпляры? Рядом с ней Гитля-слон воздушное созданье. Но оказывается — ее огромные руки умеют быть легкими и нежными и едва-едва прикасаться к больному месту. Это с чужих слов. А мне почему-то не верится, что сиделка такая деликатная. Она слишком много говорит о своих познаниях в медицине. Но сейчас она первое лицо. И поэтому все делают вид, что не замечают ее самомнения. Вова говорит, что это самолюбование. Она любуется собой. Но разве можно любоваться тестообразным лицом и малюсенькими мышиными глазками? Правда, улыбка у сиделки довольно симпатичная: она широко раскрывает рот и кажется, что у нее зубов больше, чем полагается человеку. Я невольно сравниваю ее с мадам

Дунаевской, хотя та красавица и Екатерина Вторая, мое сравнение не в пользу мадам Дунаевской. Сиделка, по крайней мере, не говорит о новорожденных. Ее специальность — старики. К старухам она относится отрицательно: эти старые ведьмы все видят насквозь.

Сиделка меня не гонит. Я сижу у дедушки в столовой с светло-желтым буфетом и разговариваю с Бебеле. От огорчения он все время ерошит реденькие кустики волос. А Хармак заснул. Он засыпает на середине фразы, а потом вдруг просыпается и снова начинает качать головой. Я рада, что они здесь и сторожат дедушку. Но в спальню к нему они редко заходят. Там многое изменилось и стало похоже на больницу. Я это чувствую. Я уже ходила с мамой в больницу к одному древнему старику. Но он был на ногах и даже вышел к нам в коридор. Мы сидели с ним на скамейке, а мимо нас проходили больные в халатах. Старичок сказал, что лучше спрятать то, что мы принесли. Ему и так все завидуют. Потом раздался резкий звонок, и мы должны были уйти. Старичок стоял в дверях своей палаты и махал нам сухонькой ручкой. «Приходите, пожалуйста!». Мама обещала. Придти нам не пришлось: на следующий день старичок умер. С тех пор я боюсь больницы и предпочла бы не жить в больничном районе.

От дедушки мне уходить не хочеться, но мама сказала, что я могу пойти к Лене с красным носиком, он живет в том же дворе. Поднимаюсь с неохотой. «Ну что ж, идти так идти... У Лени я давно не была. За то время отца его выгнали из типографии, и он тоже в больнице. Ленина мама говорит, что во всем виновата свинцовая пыль, будь она трижды проклята. Несмотря на проклятия, она не может скрыть, что без Лениного отца в квартире стало тише. А то он с утра до вечера ругал кровавый царизм, выпивший все

его соки. Я была при том, как он критиковал правительство. На его скулах появились красные пятнышки и я была страшно рада: наконец-то у него румянец! Но Вова тогда сказал, что радоваться нечему: румянец — чахоточный.

У Лени мне не сидится, хотя его мама обязательно хочет угостить меня вишневым вареньем без косточек. Я его обожаю, особенно если оно засахарилось. Недаром сын артиста решил, что у меня плебейские вкусы. Он видел, как я покупаю сухие, склеенные пряники. Чтоб подбодрить продавца, говорю, что они медовые, но он только отмахивается: «Возле медовых не лежали». Подумаешь, какой честный дурак, его, видно, честность заела! Все это было давным давно. Но я помню, что сын артиста, буквально оттащил меня от будки. Он повторял, что это зараза! Что пряники — холерное кушанье! Что он за меня отвечает перед Вовой... Никогда не думала, что он способен так возмущаться! Но чтоб он сказал относительно вишневого варенья! Ленина мама наложила мне полное блюдечко розовой жижи, а в ней плавали мертвые мухи. Я все-таки проглотила две ложечки и начала спешить: «Мне пора идти...» Леня пошел меня провожать. Это совсем близко. Нужно пройти двор и в конце его, недалеко от голубятни, дедушкина квартира. Было холодно, и все жильцы попрятались. Мы встретили только знакомого второгодника. Он шел, заложив руки за спину, и что-то насвистывал. При виде нас второгодник остановился и пожал плечами.

Меня не ждали. Мама была удивлена, что я так скоро вернулась. Вышло, что я непоседа. На деле это не так. Я люблю ходить в гости на долго, и терпеть не могу, когда ко мне приходят на минуточку. Но тут я сразу поняла, что меня отослали, чтоб можно было поговорить о том, что я уже знаю и что боюсь

произнести вслух. Стоит мне задать какой-нибудь пустяшный вопрос, как все шарахаются. А когда я нечаянно закрыла лицо руками, мама испугалась: «Что с тобой? Что случилось?». Ровно ничего. Но я не так наивна, как хотелось бы окружающим. Мне жалко всех, кто сейчас в столовой. Они притворяются спокойными. Шопотом спрашиваю маму: можно ли зайти к дедушке? «Хорошо, но только не заговаривай его». Я вхожу на цыпочках. Дедушка тяжело дышит. Кажется он рад моему приходу. Он приподымает напухшие веки и глазами показывает на свои старые серебрянные часы. «Который теперь, собственно говоря, час?» — обращается ко мне дедушка. Я ничего не могу разобрать. Часовые стрелки исчезли. И в носу у меня пощипывает. Но если я разревусь, вот будет скандал! Надо взять себя в руки. И с отчаянной решимостью я отвечаю: «Шесть часов, а может быть пять». Это абсолютно бессмысленно. С четырехлетнего возраста я умею смотреть на часы. Но тут я сдрейфила. Дедушка уже не помнит своего вопроса. Пальцы его начинают двигаться по одеялу. Можно подумать, что он играет легкую, воздушную вещь: стаккато... В обычное время он лежит очень тихо. И из рук его все выпадает: каждый день разбивает по градуснику. Почему же он вдруг так заспешил? Я хотела бы поправить подушку, но боюсь, что сиделка будет меня ругать. Она не терпит никакого вмешательства. Потихоньку, задним ходом, чтоб не было так заметно, отступаю к дверям. И уже на пороге слышу голос, похожий на дедушкин: «А который теперь, собственно говоря, час?».

Но почему дедушке так важно это знать? Неужели он не может отличить ночи от дня? На кухне сиделка говорит мне, что дедушка плохо видит и у него перед глазами — ночь. А когда мы с Вовой идем домой, на улице еще не совсем темно. Над крышами

узенькая полоса света. Я все порываюсь вернуться, но Вова крепко держит меня за руку: Не оглядывайся! Подумают, что ты что-то потеряла. Это похоже на правду, но я молчу, как проклятая. Мне не хочется обижать Вову. Я уверена, что его попросили поскорее убрать меня из дедушкиной квартиры. Боятся моей впечатлительности. И не отдают себе отчета в том, что уже поздно. Я все запомнила и на всю жизнь.

62.

Дома у нас очень скучно. Катя гуляет. Миша спит, он засунул в рот красный кулачок. Аксюта тоже прикурнула. В вовиной комнате храпят близнецы. Они ждали Вову и прилегли. Потом будут говорить, что не думали спать, и храпели просто так, нарочно, чтоб подразнить меня. Знаю я этот нарочный храп. Все храпят нарочно. Но сейчас меня это не трогает. В общем, я довольна, что они тут. Мне было бы страшно остаться с Вовой с глазу на глаз. Ведь мы не должны говорить о некоторых вещах. Если будем молчать, может быть ничего не случится. А молчать в присутствии близнецов нетрудно. Они говорят за всех и сами себе отвечают.

Таких, как близнецы, много. Хотя Вова считает, что они побили все рекорды. Стоит одному закрыть рот, как вступает другой. А иногда они говорят в два голоса. Но это не так приятно: у близнецов голоса одинаковые, козлиные. Вова со мной несогласен. По его мнению у старшего близнеца довольно приличный тембр голоса. Младший, действительно, не того. Мне странно, что Вова отстаивает тембр близнеца. Неужели он не понял, что близнец просто горлодер. Так учительница пения называла нашу дочку доктора. Слово «горлодер» у нее вырвалось. Учительница сразу почувствовала, что это плохой педагогический прием. Такие слова неблагозвучные и их нельзя про-

износить в стенах передовой гимназии. Она густо покраснела, но было поздно. Дочка доктора уже рыдала, как тетя Ида, когда она приходит к дедушке за деньгами.

К нам тетя Ида не ходит, и я начинаю ее забывать. Мне всегда твердили о том, что забывать грешно. Но это не относится к родственникам. Их и при желании не забудешь: они напоминают о своем существовании. Я забыла мою летнюю подругу, Валю. Забыла Варюшу, и других дачных друзей. Маню, внучку часовых дел мастера. Мне кажется, что они далеко, в какой-то другой жизни. Они на секунду появляются в памяти и снова исчезают. За ней уехала ее сестра с картофельным носом. Ей нечего делать в Одессе. Кто будет делиться с ней завтраком? Кто будет следить за тем, чтоб она аккуратно укладывала книги в клеенчатую сумку? Я не знаю, что с ними за это время произошло. Но ведь сын артиста сказал, что не следует таскать за собой груз прошлого. Его надо сбрасывать с корабля. Ему хорошо, он самостоятельный квартирант и имеет что сбрасывать...

Если бы близнецы догадались, о чем я думаю, они подпрыгнули бы до потолка. И диванная пружина окончательно бы выскочила. Она и так пробила диван и угрожает всякому, кто неосмотрительно на нее сядет. Но близнецам наплевать на пружину. Они интересуются, когда будет ужин. Недаром сын артиста с ними на ножах. Он сказал, что у них нет запросов, они грубые материалисты. Впрочем, он ест не меньше близнецов. Но по-другому, он не так сосредоточен на еде. Он рассказывает анекдоты, он полон переживаний и вместе с тем не забывает отправлять в рот огромные куски жареного мяса или половину скумбрии. А близнецы, Юзя сказала, что они едят, как нанятые. Мне неловко вспоминать о том, кто сколько ест, и когда Юзя критикует едоков, я го-

това расплакаться. Я знаю, что она не любит вовиных товарищей. Один из близнецов будто бы ее ущипнул. А раньше она говорила, что Андрокардато щиплется. У нее болезненное воображение. При мне никто к ней не прикасался.

Что за радость в щипках! Их раздают такие злюки, как мадам Блазнер. Бедную Беку она выдрала за уши. Она впилась ногтями в ушную мочку. Я при этом не присутствовала, но отлично себе представляю, как задыхающаяся от злобы Блазнерша крутит бекино ухо. А Блазнершей я называю ее наперекор стихиям. Меня убедительно просили таких вещей не делать. Как странно, что я забыла Варюшу, а мадам Блазнер не могу забыть. Злое не так легко забывается. Но ужин готов, нас позвали в столовую. Мама и папа у дедушки. За столом Вова, близнецы, и конечно Матя, она заменяет хозяйку дома. Я сижу на своем обычном месте. Рядом с собой я посадила Катю. Сегодня мне хочется ее охранять. Мамы нет, и я за нее ответственна. Но Катя не понимает моего благородства. Ей хочется сидеть поближе к близнецам. Ну что ж, обойдусь без ее соседства! С Таней этого случиться не может: она единственная дочь, и весь домашний мирок вертится вокруг нее. Поэтому она и от меня требует обожания. Я готова ей дать мою любовь, но обожать я не умею. Я не Люда Власовская, и она не княжна Джаваха. Она помешана на Шумане и на Бахе, а я сотрудница вовиного журнала. У нас дома выписывают толстый журнал, но мне не удалось прочесть ни одного номера. Зато я читаю «Сатирикон», где такие штуки, что можно умереть от смеха. Вова старый любитель «Сатирикона». А я втихомолку зачитываюсь сатириконовым почтовым ящиком. Откуда берутся такие дураки? Вова меня утешает: тут много придуманного. Аптекарский ученик из Белой церкви существует только в

воображении редактора. В нашем журнале намечается такой отдел. И за читателей будет писать сын артиста. Он же должен отвечать на вопросы, но уже под псевдонимом, скорее всего женским. Например: мадам Лулу. Если получатся настоящие письма, их можно будет помещать, но с выбором. Они не так остроумны, как придуманные.

Все это редакционный секрет. Я посвящена в него потому, что Вова питает ко мне доверие. А что произойдет, если другие проболтаются? Вова и глазом не моргнул: — Он их выкинет! Он уверен, что сотрудники будут молчать, это в их интересе. За столом заходит разговор о журнале. Близнецы хихикают. Им он уже осточертел. Он выйдет, когда рак свистнет и рыба запоет! И тут же они пугаются своей смелости... Это шутка, они сказали это ради красного словца. Я вижу, что Вова уязвлен. После ужина он им покажет запас бумаги и тогда они поймут, насколько бестактно их выступление. Что же касается материала, то его, хоть отбавляй: редакционный портфель распух и скоро лопнет.

Мне хочется сказать, что никакого портфеля нет. Его заменяет картонная папка. Но я боюсь, что это доставит близнецам слишком большое удовольствие. Кто-кто, но не я... Я не буду лить воду на их мельницу. Мне и так не по себе. Я смотрю на столовые часы и каждый раз даю им пять минут срока. Если мама и папа не придут через пять минут, значит дедушке стало хуже. Пять минут превращаются в десять, пятнадцать, двадцать... Мне начинает казаться, что все зависит от этих часов. Они не должны спешить. Пусть каждая минута тянется так долго, как на уроке немецкого. Я не изнываю от скуки, меня гложет беспокойство, похожее на голод. От него сразу становишься старше. Но вот стрелки часов на мгно-

вение сошлись, а потом минутная оторвалась и поползла вверх.

От ожидания у меня стали затекать руки и ноги. Я смотрю на Вову, но он отворачивается. А близнецы как ни в чем не бывало уписывают толстые ломти варшавской колбасы. Они уже двадцать раз спрашивали, у кого мы ее берем: у Чудновского или у Литвинского? Они предпочитают Литвинского. Там есть царские маслины, каких сам царь не едал. Вова отстаивает Чудновского, хотя ему сейчас не до бочек с маслинами, не до черных хлебцев с мучным донышком, вообще, не до еды. Его раздражает толстокожесть близнецов, но он не хочет подать вида. Он спрашивает Катю, почему она так странно ест свой супчик: зелень отодвигает к самому краю тарелки. Катя очень довольна. Она делает берега. Этому ее научил Козька. Он специалист по части берегов.

Матя немного рассеяна. Больше всего ее занимает завтрашний концерт в зале «Унион». Она еще не решила, какой туалет выбрать. Концерт серьезный и поэтому неприлично быть слишком нарядной. А вместе с тем ей до ужаса надоели юбки и кофты. Она укорачивают талию. Главное, Матя боится непредвиденных событий. Они помешают ей пойти в «Унион». Вова и я понимаем ее с полуслова. Время от времени Вова что-то бурчит. Я слышу только: «бабье»... Это признак глубокого презрения. Обычно он к женщинам довольно снисходителен. Вова и сын артиста считают, что у одной умной женщины мозги, как у двух куриц... Или что-то в этом роде. Так сказал китайский мудрец. А по-моему — болван.

Не знаю, как это случилось, но я начинаю обижаться. И вдруг резкий отрывистый звонок. Катя со всех ног бросается к дверям, я бегу за ней, даже Вова бежит... Пришли мама и папа посмотреть, что у

нас делается. Не снимая шубы, папа проходит к себе в кабинет. Мама идет к Мише. Но ему что, он, конечно, спит. Такого сонливого ребенка я в жизни не видела. Мне хочется, чтоб меня взяли к дедушке. Но я не пристаю и не хнычу. Это бесполезно. Меня не возьмут под тем предлогом, что надо лечь пораньше. Я чувствую, что причина совсем другая, но о ней нельзя говорить.

Ухожу в свою комнату и оттуда слышу, как хлопнула входная дверь. Со мной даже не попрощались. Этого еще не было за всю мою жизнь. О сне я, конечно, не думаю. В прежнее время я бы вызвала Асю, но сейчас она может окатить меня ушатом ледяной воды. С Таней я не разговариваю по телефону. Ее мама считает это распущенностью. К сожалению, она стережет Таню и, чтоб убить вечер, пишет письма своим бесчисленным сестрам. В известном смысле лучше иметь родителей-картежников. Они уходят, а перед уходом у них можно вытянуть все, что угодно. Тетка — зубной врач говорит, что у Аси не дом, а цыганский табор. Что бы она запела, если б видела, как вечером каждый ест с бумаги, и горничной Глаше лень накрыть на стол! Халву у них делят сперва на глаз, а потом аккуратно разрезают ее дессертным ножиком, — не дай Бог кому-нибудь достанется лишняя крупинка. У нас веселее. Иногда набивается столько народа, что не хватает стульев. Меня и Катю пересаживают на такие, где спинка уже расшаталась. Ланя тоже готов сидеть на расшатанном стуле. А близнецы и сын артиста на такое не пойдут, это ниже их достоинства.

Вобщем, сейчас мне не с кем отвести душу. Мне безразлично, что отводят душу только пожилые дамы, вроде мадам Тубенкопф. Я могу сказать по-другому, но суть от этого не изменится. Буду ждать субботы, когда придут Женя и Боря Гаевский. Женю

я засажу за рассматривание моего альбома. Зато мы с Борей Гаевским успеем поговорить. Он любит, чтоб я к нему обращалась за советом. Женщина должна быть беспомощной. Но ведь он беспомощней меня. Чуть что его тащат к доктору и тот прописывает ему отдых в темной комнате. Решение я принимаю мгновенно; а он теребит свой ежик: он должен обдумать. И все-таки Боря Гаевский меня сразу поймет. У него тоже ворох переживаний.

Родители его по-прежнему говорят друг другу колкости. Борина мама хотела бы развестись, но отец не дает развода. Это недопустимо, у него сын, продолжатель рода. Она должна была хорошо подумать, прежде, чем выйти замуж за православного. Но Боря знает, что отец его был так влюблен, что собрался принять сильнодействующий яд. Он забыл это и страшно сердится, когда борина мама напоминает ему их бывшую любовь. Он ненавидит напоминания. Кузина Маня тоже возмущается, когда ей напоминают об ее романе с офицером. — Как, она была в него влюблена? Это сплошная выдумка! На самом деле он преследовал ее, а она из жалости отвечала на его ухаживания. Вова отрицает, что ему нравилась Тиночка, сестра близнецов. «Это было мимолетнее увлечение!». А бедная Матя отреклась от всех своих поклонников. Когда я напоминаю ей о Герасиме, она начинает сердиться: «Подумаешь, Герасим, таких у нее десятки...» Она уже успела забыть вечеринку грузинского землячества. А как она тогда огорчалась, что на белой блузке, той, что приносит ей счастье, спереди большое жирное пятно. Я помню, как его терли бензином, и оно все расплывалось.

Не понимаю, откуда такая забывчивость? Но если уж говорить по-честному, то и у меня с паматью неблагополучно. Я стараюсь забыть, что учительница арифметики во мне разочаровалась. Она видела, как

я списываю. Но почему она ко мне прицепилась: все понемножку списывают? Васса на французском скатывает у меня неправильные глаголы. А мадам Тюрбо даже не смотрит в нашу сторону. Близорукая учительница арифметики видит решительно все. От нее не спрячешься! Я перестаю верить в ее близорукость: она притворяется. Сейчас, я буду притворяться, что сплю. С такой силой закрываю глаза, что вижу черны круги. Я жду возвращения мамы и папы. Они дежурят у дедушкиной постели. И может быть придут очень поздно, у ворот они столкнутся с пьяницей нашего дома. Ему станет так неловко, что он сразу протрезвится. Пама и мама будут страшно удивлены, когда увидят, что я не сплю. Это будет для них большим сюрпризом.

Только бы не заснуть. Я буду бороться изо всех сил. Еще крепче закрываю глаза и слышу, как в самом конце квартиры говорят: «Тсс, не будите ее, она может еще поспать». Тут недоразумение: выходит, что я спала, в то время, как я бодрствовала. Приоткрываю глаза и от ужаса снова их закрываю. В комнате светло, значит кто-то заходил, была возня со ставнями, а я ничего не заметила. В один миг я проспала целую длинную ночь. Почему же меня не разбудили? Ведь ходят же по коридору, стучат, мой слух вдруг до того обострился, что я слышу, на кухне что-то разбили. Если так, я опять закрою глаза, но в эту минуту в комнату входит мама. Она какая-то чужая, странная. Мама говорит, что я могу еще полежать. В гимназию я не пойду. Сегодня на рассвете умер дедушка.

Мама хочет меня поцеловать, но я закрываю голову подушкой. — Как случилось, что дедушке дали умереть? Почему не созвали всех врачей? Дедушку надо было умолять, что б он сделал над собой усилие... Потом я пойму, как я была несправедлива. А

пока сердце мое полно негодования. Мама стоит и ждет. Она думает, что я бесчувственное создание, но у меня нет слез. Я одеревенела. В другое время мне совсем не трудно расплакаться, а сейчас я не могу выдавить ни единой слезинки. Я только спрашиваю, буду ли я носить траур. У нас в гимназии одна шестиклассница носит траур и все ей завидуют. Нет, никакого траура и на кладбище меня тоже не возьмут, только до синагоги. Но это ужасно. До синагоги я ходила, когда была маленькой. Я должна проводить дедушку. Никто с ним так много не гулял, как я. Дедушка был бы в отчаяньи от того, что меня не пускают... Но я заранее знаю, что все мои мольбы ни к чему не приведут. У взрослых есть свои предубеждения. И они с ними не расстанутся. Попросить папу не имеет никакого смысла: сейчас он занят своими мыслями. Мама сказала, что мне должно быть стыдно к нему приставать. Разве я не вижу, как он изменился за последнее время. Я отлично вижу, но я не знала, что он потерял двадцать фунтов веса!

«Горе съедает», — говорит ланина бабушка. Но она потеряла почти всех своих детей и ничего, живет и даже любит рассказывать анекдоты. Вот отец папиного корреспондента согнулся в три погибели: у него дочки на выданьи, а это хуже смерти. Но почему я вспомнила о них? Неужели и остальным приходит в голову такая чепуха? Сейчас в квартире совсем тихо. А когда в прошлом году умер коммивояжер, тот, что жил на черной лестнице, и она для него была парадной, все вопили. Геня сказала, что коммивояжерша вырвала у себя небольшой клок волос. Так полагается, у них в местечке все рвали на себе волосы. Я, кажется, рассмеялась, потому что не верю в вырывание волос. Но тишина в квартире меня пугает. Это особенная тишина, она вся наполнена звуками.

Пока я одеваюсь и чищу зубы, начинает звонить телефон. Погребальное братство. Яков Соломонович. Какие-то незнакомые люди, они из одного города с дедушкой. Мама терпеливо повторяет то, что можно повторить. А папы нет, он на Пушкинской. Он сам должен все решить и никто ему не смеет советовать. Сегодня папа отделился от нас. Он только сын своего отца. Я его понимаю, но словами это трудно выразить. Мама начинает меня торопить: «Скорей, скорей, а то на Пушкинскую придет тетя Ида». Надо спешить на выручку. Но ведь она не переступила порога, когда дедушка был болен. Неужели же она теперь закатит истерику или упадет в обморок? И все побегут за водой и будут обмахивать ее газетами? Но Вова, я знаю, не побежит, и я не побегу. Мы помним, как дедушка сказал: «Если появится тетя Ида со своим потомством, значит мой час настал». Но она слава Богу не являлась, и я считала это хорошим знаком. Другая, богатая тетка, тоже будет падать в обморок. Нет, на папином месте я не стала бы с ними разговаривать! Но папа боится их обидеть. Он оберегает память своего отца. А они после обмороков будут преспокойно говорить о том, что им следует какая-то часть наследства. Обе, и богатая и бедная, помешаны на наследствах.

До Пушкинской мы идем невероятно долго. К нам все время подходят: дворничиха, парикмахерша Роза, Александровский. На дверях его магазинчика — наклейка: закрыто по случаю смерти... Все будут думать, что умер сам Александровский. Ему это безразлично. Его дела так плохи, что он готов лечь в землю. Александровский идет на Пушкинскую, он ведь родственник. Мать его была бабушкиной троюродной сестрой. И то наполовину. Но Александровский крепко держится за это родство. Возле дома на Пушкинской нас ждет Яков Соломонович. У него та-

кой усталый вид, как будто он пришел пешком с Большого Фонтана. Сегодня я в первый раз замечаю, что он шаркает ногами. Прежде он никогда не шаркал.

В комнату меня пускают ровно на минуту. Я не успеваю даже рассмотреть небольшой гроб, покрытый черной с серебром материей. Запах сигар еще не выветрился, но к нему примешался другой, сладковатый запах. Мне не дают осмотреться. Вова почти насильно уводит меня на кухню. Там сиделка и еще кая-то женщина пьют кофе с блюдечка. Сиделку нельзя узнать. Она в черном платье, а на груди у нее брошка, вроде якоря. Другая женщина так низко склонилась над блюдечком, что я не разобрала, какая она. Мне показалось, что у нее лицо, как стертый пятачок. Сиделка предлагает мне чашечку кофе. Но если я выпью хоть один глоток, мне станет дурно. А сиделка преспокойно втягивает в себя коричневую жижицу. Ей нужно подкрепиться. Она закончила работу и теперь имеет право на отдых. Через несколько дней она опять будет дежурить у больного старика. Мне страшно. Я хочу бежать из этой кухни. Но что-то приковывает меня к стулу. А женщина со стертым лицом самым монотонным голосом на свете рассказывает, что она похоронила трех мужей. Это были честные, порядочные люди, но они, видит Бог, ничего не зарабатывали. Женщина тяжело вздыхает. Затем из приличия вздыхает сиделка. У нее тоже был муж, но в один прекрасный день он собрал свои монатки и уехал в Америку. Где он сейчас и что с ним, сиделка не знает. Он прислал два письма с обещанием денег, и на этом все кончилось.

Я уже слышала эту историю. У нас на кухне столько рассказывали о мужьях, сбежавших в Америку, что я им счет потеряла. Но сейчас это невыносимо. И почему именно я должна сидеть на кухне, пока

ходят по дому, передвигают мебель, шепчутся, так громко, что до меня через закрытую дверь доносится непрерывное жужжание голосов. Вова обещал придти за мной, но вместо него в кухню входит Хармак. Недолго думая, бросаюсь к нему и начинаю целовать его узкую длинную бороду. До нее я могу дотянуться. А где же Бебеле? Он в столовой. Сейчас я скажу Хармаку, что он и Бебеле для меня самые близкие люди. Они — частица дедушки. Вот толстый стакан, из него Хармак пил невкусный чай. И та же сахарница. Хармак гладит меня по голове. При дедушке он не решался. Дедушка терпеть не мог, чтоб до меня дотрагивались. Но куда он и Бебеле будут теперь ходить? Они ведь бездомные. Попрошу маму, чтоб она их пригласила. Пусть играют в карты с дядей Сашей и Яковом Соломоновичем.

Хармак уходит своей мелкой походкой, а я все на том же стуле. И рядом со мной Гитля-слон. Она узнала от зеленщицы, что случилось несчастье и прибежала. Трудно себе представить, что она может бежать. Это уже не слон, а гора, состоящая из многих жировых холмов. Глазки ее стали еще меньше и из них катятся малюсенькие слезинки. Мне стыдно, что я замечаю все, даже ее три подбородка. Гитля-слон просит, чтоб ей налили кофе. Ужас, как она продрогла! Она пьет кофе еще громче, чем сиделка и при этом посматривает на потолок. Наверное, она думает, что при ней было чище. А я помню, как тетя Ида говорила, что она развела тараканов. Но тетя Ида не в счет. Она боялась, что у Гитли какие-то права на дедушку. Вова все не идет. Мне начинает казаться, что обо мне забыли. Сиделка видит, что я в упор смотрю на дверь. Она меня успокаивает: еще не пришли главные... А кто они? Я этого не знаю. Она говорит, что во дворе столько народу, как-будто умер губернатор или главный раввин. Нельзя, бук-

вально, протолкаться. Большая честь — иметь такие похороны.

В последний момент выволокли меня из кухни и я увидела большую толпу. Гроб уже вынесли. Он, наверное, был совсем легким. Сиделка сказала, что от дедушки остались кожа да кости! Сейчас мы идем за катафалком: Матя, я и Александровский в самом конце. Прохожие смотрят нам вслед. Для них это развлечение. Каждый день по этим улицам проносят покойников и каждый раз они отпускают те же замечания. Рядом со мной говорят о дедушке: «Какая светлая голова, какой ум!». Незнакомые дамы впереди нас забыли, где они находятся и без умолку трещат о своих дамских делах. Я хочу их остановить, но Матя крепко держит меня за руку. Мы подходим к синагоге, и толпа становится гуще. Дальше все было, как на бабушкиных похоронах. Папу я видела со спины. Он вобрал голову в плечи и мне казалось, что горе душит его. Сбоку стояла Мальвина, в огромной траурной шляпе. На похороны она все-таки, пришла. Мне вдруг стало так обидно за дедушку, что я громко расплакалась. Когда я вернулась домой, я все еще была под впечатлением мальвининой шляпы. Я не могла забыть, что она шла, как главное действующее лицо, а рядом с ней шагал ее муж, теперь уже не похожий на англичанина.

На следующий день приехала богатая тетка. Она опоздала на похороны. Вова думает, что она сделала это, чтоб не тратить своих драгоценных нервов. Но опоздание не помешало ей упасть в обморок. Я впервые видела как люди на минуточку умирают, и лицо их становится сначала бледно-зеленым, а затем бураковым. Богатая тетка почему-то влюбилась в меня и в Вову. Я сопровождала ее даже к мадам Рабинович, где она хотела заказать себе траурное белье. Мадам Рабинович и ее ученицам тетка не понрави-

лась. Она должна все перетрогать, а журналы она перелистывает так, что страницы разлетаются в разные стороны. Они скорее всего подумали, что она неделикатная.

На обратном пути она купила мне шоколадный шар с сюрпризом. Я решила отдать его Кате, но вышло так, что я его съела. Несмотря на то, что это мне не по возрасту. Ничего, Кате я подарю сюрприз, кольцо из мягкого фальшивого золота. Тут я вспоминаю, сколько таких шаров дарил дедушка и мне невыносимо стыдно. Не знаю, что с собой делать. В гимназию я не пойду до конца недели. Меня туда совсем не тянет. Сижу у себя в комнате и слышу как надрывается звонок у парадного входа. Это посетители. Они хотят выразить свое сочувствие. Раньше я при этом присутствовала. Но с того момента, как мама Ади Немировой сказала, что раны заживают и что с потерями надо мириться, я больше не выхожу в столовую. Дедушка не простил бы мне,если б я примирилась с его смертью. Достаточно того, что меня не взяли на кладбище. Дядя из Николаева сказал, что у ворот Второго еврейского кладбища толпились люди. Вобщем, у сахарозаводчика Бродского не могло быть лучших похорон. Дядя все меряет по Бродскому. Он его родственник. Хотя Вова думает, что сам Бродский вряд ли догадывается о дядином существовании. Мне неприятно, что дядя так много говорит о похоронах. Дедушка его не особенно ценил. Он всегда повторял, что дядя — настоящая пьявка. Но с пьявкой у дяди мало сходства, и он не сосет, а выжимает.

Я не должна об этом думать. Ведь горе облагораживает. Я прочла это в прошлогоднем приложении к Ниве у Щепкиной-Куперник или у другой писательницы с двойной фамилией. Сказала это Вове, и он ответил, что ему надоели азбучные истины. А мне

они не успели надоесть, поэтому я их повторяю при всяком удобном случае. Теперь мне открылась другая азбучная истина, а именно: друг познается в несчастьи, а друг — это Ася, она вдруг подобрела и будет сообщать мне, что задано. Таня до таких вещей не додумалась. Она, верно, злится, что я не хожу в гимназию. Она не может понять моего горя. А сама полна рассказов о своих сверхгениальных родственниках. Они мне одно время так надоели, что я ей прочла стихи из Вовиного Чтеца-декламатора: «сверхпопугаем будь, но не сиди сверх клетки»...

63.

Таня дулась два дня. Она умеет дуться как никто. Ей ничего не стоит раздавить меня своим молчанием. Неудобно сознаться, что я теряю тогда всю мою гордость. Но не надолго. Таня чувствует, что перетянула нитку, и дарит меня одной из своих редких улыбок: гроза пронеслась. Иногда мне хочется, чтоб Таня была хохотушкой, как Натуся или Тоня Калиниченко, но у нее это не получается. Только раз, когда мы объелись шоколадной халвой, Таня начала хохотать как безумная. А мне было не до смеха, халва залепила все мои внутренности и я дала себе слово, что никогда в жизни ее в рот не возьму. Таня опьянела от халвы. Она улеглась поперек постели и дрыгала ногами. Хорошо что Танина мама в тот вечер ушла в театр с красавцем-Савой.

Я его красавцев не считаю. По-моему он слишком толстый, и у него грудь колесом. Но Таня говорит, что именно в этом заключается красота. В Саву влюблены все курсистки и одна даже пыталась отравиться. Она жаждала Савиной любви, но Сава был неумолим. Под строжайшим секретом Таня мне открыла, что у него связь с замужней женщиной. Значит он вроде студента из Олиного дома. Интересно знать, закрывает ли он днем ставни, как этот студент? Если это любовь, то причем тут ставни? Значит это измена. А про измены много говорит мадам Ашевская. В каж-

дом романе есть какая-нибудь любовная интрига или измена, но у мадам Ашевской это гораздо правдоподобнее.

Правда, мне ни одной ее истории не дают дослушать до конца. Под каким-нибудь предлогом меня высылают из комнаты. Ухожу неохотно, без всякой спешки, а вдруг мне удастся дослушать. Связь Савы напоминает роман со средней полки. Героиня — невероятная красавица, можно подумать, что она живет в замке. Но это просто Танина фантазия. Ей пришлось сознаться, что красавица живет с ними на одном парадном. И муж ее не такой старый как хотелось бы Тане. Мы с ним столкнулись, и он снял шляпу. Оказалось, что у него волос больше чем у Савы. Потом спустилась сама красавица и я выяснила, что она — великанша. Рядом с ней Танина мама была пигмеем из африканских дебрей. Красавица смотрит на нас сверху вниз. Это объясняется ее ростом. Сава, как видно, влюбился в ее рост! Ему не нравятся миниатюрные женщины с крохотными ручками и ножками.

Слава Богу, звонок, приходит Ася. Я тут же забываю о Таниной маме и о Саве с его красавицей. На страничке, вырванной из арифметической тетради, Ася аккуратно выписала уроки. У нее с собой общая тетрадь. В ней то, чего нет в учебниках. Мы садимся рядышком, а перед нами, в общей тетради, с одной стороны английские слова, с другой — профили! Ася разговаривает шопотом, как будто в соседней комнате покойник. У них тоже шептались, когда умерла бабушка. Я благодарна Асе за то, что она мало говорит о гимназии. Она поджала губы и старается быть серьезной.

Под конец она сорвалась и захлебываясь, рассказывает мне, какое было восстание против дочки доктора. Васса взбудоражила весь класс. Она кричала,

что пора прекратить это безобразие! Она не хочет, чтоб ею командовали. Другие могут поступать, как им заблагорассудится, но она будет их презирать, она предупреждает... Тогда все подняли крик. Им надоела дочка доктора и ее вечные претензии. Никто не пойдет покупать для нее бублики с семитатью. Конец подсказываниям! Одалживать без отдачи ей тоже не будут. Это был мятеж как на корабле. Но в самый разгар его вошла дочка доктора, и класс сразу притих. Одна Васса кричала: «вы жалкие трусихи, я вас не уважаю!». Но от нее уже отвернулись. Только Муся Логинская подошла к Вассе и пожала ей руку. Я хочу спросить, как вела себя Таня, но мне неловко. Ася понимает мое желание и определенно меня дразнит. Насколько я знаю Таню, она не принимала участия в этом восстании. Такие вещи ее не трогают. Она живет в мире, где на первом месте Бах и Шуман и «Лесная сказка» неизвестного немецкого художника.

Нас позвали в столовую. Ася не знала, как ей быть. Она боялась смотреть на маму. Было ясно, что дома она заготовила какую-то фразу и не может ее из себя выдавить. Она виновато смотрит маме в глаза и мама ее целует. Все обошлось без лишних слов. Я рада, что Ася больше не делает реверансов. Недавно еще она дрыгала ногой как молодой козлик. Но с тех пор как распалась танцовальная группа, Ася прекратила свои книксены. Она так и не выучила андалузки и матлота. Если б тетя Анна согласилась дать гостиную под танцы, Кулачев, наверное, признал бы Олю первой танцовщицей. Слава Эльзуни померкла бы... Я очень довольна, что не будет ни тапера, ни Кулачева в нитяных перчатках. Он всегда начинал от печки: первая позиция, вторая позиция, Третья... Я давилась от смеха, когда все поднимали

глаза к потолку, а сам Кулачев грациозно поправлял чью-то неуклюжую ногу: «Не так, не так!».

Не понимаю, почему мне в голову приходят смешные вещи? У нас сейчас очень скучно, каждый думает о своем. И только богатая тетка с утра до вечера говорит о каких-то невероятных переживаниях. Получается, что переживает она одна, остальные в счет не идут. Есть ли у нас лакеи? А у нее есть! Но папа ее не слушает. Он поглощен своим горем. С посетителями разговаривает тетка. Она дает им понять, что в доме своего отца получила изысканное воспитание. Ее учили музыке и французскому языку. Другие дети были в загоне. К чему им французский язык? Хорошо, что папа не слышит ее разглагольствований. Они его страшно сердят. Тетка подает Асе руку и подозрительно ее оглядывает. Она не сразу может разгадать, из какой Ася семьи. А вдруг у нее отец — портной или часовых дел мастер. Вова сказал, что тетка пошлячка. Ее распирает от денег. Она сама призналась, что когда к ней сватались молодые люди, она первым долгом смотрела, на какой подкладке у них пальто. Если не на шелковой, она с ними не хотела разговаривать. Это анекдот, а у меня такое чувство, будто царапают ножом по стеклу. Но одно лицо в восторге: это мой дядя из Николаева. Он пьет теткины слова, как чудесный напиток. По его мнению она могла бы быть родственницей Бродских!

Но существуют ли Бродские? Чем больше дядя распространяется, тем меньше я в них верю. Это миф! Однако, Вова знает, что тут есть доля правды. Такая семья имеется и один из них — сахарный король. Мой бедный дядя бескорыстно поклоняется чужому богатству и способен часами перечислять всех богачей своего родного города. Он думает, что отвращением к богатству меня заразили близнецы. Если б он знал, какие они капиталисты в душе! Кроме того они

покушаются на чужую собственноость. Недавно они уговорили меня отдать им двухцветный карандаш. Зачем он мне, а им он пригодится. Они будут делать поправки в своих статьях для журнала: один — красным карандашом, другой — синим. Вова сказал, что они у него слямзили записную книжку. Это не особенно элегантное выражение, но более подходящего он не находит.

В столовой не хватает стульев. Принесли из коридора и после этого пришел еще дядя Саша. Он как-нибудь примостится. Дядя Саша сбежал из дому. Он здорово испуган. А что если ворвется тетя Ида и начнет скандалить. Она уверена, что богатая тетка приехала недаром. Она всех перехитрит. Теперь мне ясно, почему дедушка боялся своих дочерей. Он их видел насквозь. И только еврейский писатель пьет чай и постукивает ложечкой о стакан. Он тоже пришел выразить сочувствие. Но через минуту он уже говорит о своей новой книге. Это его апофеоз. Он видит, что я пугаюсь слова: апофеоз и успокаивает меня: «ничего страшного, это греческое слово, и оно подходит, как нельзя лучше. Книга книгой, — говорит писатель, — а как ее издать? Меценаты перевелись». Он рыщет глазами по комнате, а вдруг за буфетом спрятался какой-нибудь меценат? Видно что это его больное место. Но дядю раздражают разговоры о меценатах. Если б от него зависело, он не издал бы ни одной строчки этого безбожника. Какое счастье, что дядя не меценат! Иначе писателю пришлось бы умереть голодной смертью. Он знает дядино отношение и вызывающе на него смотрит. Смеяться в такую минуту неудобно, но зато он улыбается вытянутой улыбкой и при этом показывает все свои длинные желтые зубы.

На дедушкином месте восседает Тубенкопф. В ужасе я смотрю на Вову. Он в полном бешенстве.

Но из-за никому ненужных правил вежливости должен молчать. А я хотела б пронзить Тубенкопфа моим взглядом, как пронзала когда-то надзирателей и помощника пристава! Сестра жены Тубенкопфа, настоящий мопс, спрашивает, что со мной, почему я прищуриваю глаза. Она советует носить очки. Они мне подойдут, я ведь умница. Она говорит: умница, как будто выплевывает виноградную кожуру. Ася дергает меня за бретельку передника. Ей необходимо знать, почему у мадам Тубенкопф и у ее сестры одинаковые брошки. Ася противница всего, что одинаково. Она плачет, когда ей заказывают такое же точно платье как ее сестре Вите. Это единственное, в чем она открыто несогласна с родителями. Объясняю Асе, что Тубенкопф одновременно женился на мадам Тубенкопф и на ее сестре, теперь они неразлучны.

«А что это за еврейский писатель?» — пристает ко мне Ася. Ну, этого она понять не может. Она знает Пушкина, Лермонтова, Гоголя и «Вестник Иностранной Литературы». О Чехове и Достоевском она слышала, но держать их под подушкой у нее не хватает мужества. Из столовой мы выходим незаметно, на цыпочках. Асины ботинки скрипят, но все думают, что это скрипнула дверь. Она хочет посмотреть на Мишу. Ей необходимо проверить, есть ли у него ямочки и жировые браслетики, как у сына тети Ивси. Ася очень вежливо здоровается с мамкой-Аксютой и спрашивает у нее, сколько весит ребенок. Аксюта не знает. В селе у них обвешивали и поэтому она не верит в весы. Ася настроена критически: ей кажется странным, что у ребенка длинные ногти. Но они почти не видны. «Они длинные», — изрекает Ася. Их надо стричь специальными детскими ножницами. У тети Ивси есть такие ножницы. Если б я попробовала критиковать ее семью, она бы взъелась.

А я должна молчать и быть выше этого. Чтоб разозлить ее, говорю, что Миша вкусно пахнет. Ася не сдается. Сын тети Ивси тоже пахнет. Но запах еще ничего не доказывает. Мы опять начинаем пререкаться. И вдруг я вспоминаю, что наша дружба висит на волоске и стараюсь замять разговор о запахах. В это время Аксюта начинает клевать носом. Ее коса съехала на бок и маленькие головные шпильки выскакивают одна за другой.

Они спят поочередно: то Миша, то она. В промежутках Аксюта стирает пеленки или пьет коричневую бурду, именуемую пивом. Оно совсем непохоже на бледнозолотое пиво Сансенбахера. В последний раз дедушка пил его в Аркадии. Мы сидели с ним не в главном ресторане, а в том, где вечная тень. Дедушка отлил мне немного в маленький стаканчик, и я потребовала прибавки. Тогда он стал меня дразнить: я лакомка и это всем известно. Но пиво — не лакомство: мне нравилось, что оно горькое, и я пью его наравне со всеми. Я помню, что мама за круглым столиком сказала: «Какой прекрасный осенний день»... Действительно, была ранняя осень: под ногами у нас шуршали листья. Каждый новый порыв ветра гнал их к нашему столику.

Асю раздражает моя задумчивость. Она просит, чтобы мы вернулись ко мне в комнату. Там она разглядывает висячую этажерку, как будто в первый раз ее увидела. Но на этажерке ничего нового. Все тот же флакон духов, похожий на аптечный сосуд. Я боюсь его раскрыть, а что если духи от долгого стояния выдохлись... И та же вазочка из магазина Гальперина. Она без одной ручки. Ланя еще в прошлом году обещал приклеить, и всегда забывает принести клей. Он мог бы у нас на плите сварить настоящий столярный клей, но он уже один раз что-то варил и вдруг раздался легкий взрыв. Ланя утверж-

дает, что это угольные пары. В шахтах тоже бывают взрывы. Но мне это кажется неправдоподобным. Пока вазочку я поставила боком и если не отобьют вторую ручку, она так и будет стоять.

Ася оставляет в покое этажерку и начинает перелистывать мои книги: «Казаки» Толстого и ту, где первые страницы вырваны. Это роман, он называется: «О чем пела ласточка». Я нашла его на дне шкафа среди разрозненных книг. Ася заинтересована романом. Она хочет знать, о чем пела ласточка. Обещала, что расскажу ей при случае. Сейчас у меня нет настроения. Тогда Ася говорит, что это глупый ответ. У нее тоже нет настроения и все-таки она принесла мне уроки. Ей страшно хочется сказать, что я этого не заслужила, но она вовремя себя сдерживает. Она, верно, дала зарок, что будет со мной мила. Ася постоянно дает зароки: она в течение недели не будет есть трубочки с кремом, а если ее возьмут на Лакме, она месяц подряд будет ходить только по левой стороне улицы... Мне зароки понравились, но Вова сказал, что это мелкое суеверие. И нужно очень низко пасть, чтобы придавать значение подобной ерунде. Она бы смертельно обиделась. У них все верят в зароки и в приметы. Но меня это не удивляет: картежники, вообще, суеверные. Я слышала, как двугорбый провизор бормотал: «сухо дерево, завтра пятница»... А Яков Соломонович барабанил по столу указательным пальцем что-то приговаривая. Только дедушка ничем не отстукивал и не говорил никаких слов, приносящих счастье. Вместо этого он пел. Да, он пел самые обыкновенные вещи, как например: «Уберите поскорее этот поганый туз пик...» или: «Хармак, довольно уже гладить бороду, она скоро будет пол подметать».

Когда Вова ночевал на Пушкинской, дедушка будил его своим пением: Вова закрывался с головой,

он умолял, чтоб его оставили в покое, он хочет еще поспать. Но дедушка, как ни в чем не бывало, пел: «Ты уже встаешь, Вова? Если нет, то советую тебе встать». Пел дедушка все на один мотив: у него не было ни слуха, ни голоса. Но мы любили его пение: оно предвещало массу приятного: бублики на ручке от самовара, конфеты бульдегом, полтинники... и рассказы о том времени, когда папа был маленьким. «Ваш папа всегда был хорошим сыном», — говорил дедушка. От сдерживаемого чувства глаза его краснели, а на кончике носа появлялась капелька. Он ее немедленно вытирал серым в клеточку носовым платком.

Асе неинтересно смотреть на то как в мыслях я уезжаю очень, очень далеко. Она заспешила. Ее ждут. «Ничего, подождут!». Но Ася не сдается: к ним сегодня приходит кузина пианистка. Ее приняли на младший курс консерватории. Подумаешь, какая важность! Матя на среднем курсе и скоро перейдет на старший. До этого ей надо сыграть концерт Моцарта для двух роялей. На втором играет рыжая профессорша, и Матя говорит, что у нее прямо божественный звук. Такого нет даже у Иосифа Гофмана. Я в это мало верю. Профессоршу я видела, она вся в веснушках. На руках у нее тоже веснушки. Матя сказала, что она бросает ноты на пол или прямо в голову ученикам. Так будто бы поступают все знаменитые профессора фортепианной игры. Один раз Матя всплакнула: она боится идти на урок. И вместе с тем она дико горда, что рыжая профессорша приняла ее в свой класс.

А кузина Аси это тонкая штучка. Она косит на один глаз и в семье до сих пор считалась некрасивой. И вот, чтоб доказать всем, что она высшее существо и не нуждается в красоте, кузина стала с утра до вечера упражняться. В конце концов она до-

упражнялась до того, что ее приняли в консерваторию. У нас в доме сейчас никто не прикасается к клавишам. Я окончательно забыла Андалузку и придется учить ее с самого начала. В ней есть октава до диез и до диез, и она мне не под силу. А Вова берет аккорды шутя, как будто всю жизнь этим занимался. Я люблю слушать как он импровизирует. Одна из его импровизаций, мечтательная, мне нравится больше чем «Лунная соната». Я сказала это Мате, и она подпрыгнула как ужаленная. «Конечно, Вова не лишен музыкального дарования, и это чисто семейное, но как я могу сравнить его с Бетховеном. Это кощунство!». Пропускаю ее слова мимо ушей. Если Матя может идеализировать рыжую профессоршу, то почему мне не идеализировать Вову.

Я вовсе не такая простушка, как думает Матя. Я отлично разбираюсь в Шопене. Те вещи, что играет Мара Гольберг, мне не нравятся. А вот то, что играли в зале Биржи, «Балладу» — я буду помнить всегда, всю жизнь. Ася уходит, несмотря на мои уговоры. Кузину пианистку она придумала для приличия. Никто ее на самом деле не ждет. Папа и мама собираются в клуб и их не остановит ни пожар, ни землетрясение. Они забыли, что у них есть дети и на все отвечают: «Да, да...» Главное, чтоб не приставали. Каждая минута дорога! В прихожей делаю последнюю попытку удержать Асю, но она почти не попрощавшись убегает. Становится непривычно тихо. Даже отец иностранного корреспондента не сидит на своем обычном месте. Сегодня не такой день. Но мне показалось, что я вижу на стене тень от его шубы. Он столько здесь просиживал, что тень его осталась и живет самостоятельной жизнью.

Пока все разладилось. Катя спросила, может ли она пригласить на чашку шоколада свою подругу, Мальвину, с красными губами, и мама была очень

недовольна. Как ей не стыдно говорить о приглашениях, когда у нас такое горе. Но Катя не понимает, о каком горе идет речь. У нее—никакого горя. С трудом увожу ее в коридор и там объясняю, что горе — это смерть дедушки. Тогда Катя начинает плакать обильными слезами. Непонятно, плачет ли она из-за смерти дедушки, или потому что нельзя пригласить красногубую Мальвину. Я эту Мальвину не выношу, но почему-то ее называют: француженка. Ничего французского в ней нет. Она сплетница и любит на всех наговаривать. Юзя сказала, что она цыкавая.

Но на Юзю я не полагаюсь. Она критикует всех, кроме панича Вовочки. Не хотелось бы знать, что она говорит за моей спиной. Близнецы тоже всех оговаривают. Сколько одних историй про инспектора! Непонятно, откуда они это берут? Неужели из воздуха? Так думает сын артиста. Он не верит ни одному их слову. Для него близнецы — вредный элемент. Но Вова их горячо защищает, и он в конце концов сдается. В общем его раздражает, что за близнецами право давности. Это самое дурацкое право из всех, какие существуют! Его утешает только то, что близнецы не пользуются успехом. На каждую гимназистку близнецов у него и у Вовы приходится по три. А иногда по целых пять штук. Как женщина, я с одной стороны переживаю, что он так неуважительно говорит о Милочках, Тамарах и Верусях... Но с другой — я торжествую. Близнецы не имеют понятия о том, как надо сочинять любовные стихи. А букеты они преподносят с угла Ришельевской и Большой Арнаутской. Самые лучшие продаются на Екатерининской, но им жалко тратить деньги. И с Ришельевской сойдет! Мало ли куда может довести мотовство! Вот Андрокардато покупает розы в «Царстве цветов», а наездница со сросшимися бровями, все-таки, плюнула на него.

Тихонько стучу и, не дожидаясь ответа, проскальзываю в Вовину комнату. Вова и сын артиста обсуждают обложку журнала. Как лучше: с рисунком или без рисунка. Вова против рисунка, но зато он сторонник виньеток. Всюду должны быть виньетки. «К чорту виньетки!» — горячится сын артиста. Нужна благородная простота. Вова чрезвычайно удивлен: с каких пор сын артиста переменил свои убеждения? Недавно еще он был сторонником виньеток и рисунка на обложке. Но сын артиста не сдается. Он невероятный спорщик. Вова тоже спорщик и поэтому они говорят в два голоса. Со стороны это довольно смешно. У сына артиста высокий голос, а у Вовы чуть пониже. Тетя Лиля сказала, что у него со временем будет баритональный тенор. Это совсем новый, никому неизвестный голос.

Больше всего меня пугает слово «со временем». Значит придется долго ждать. Мой первый еврейский учитель, Айзенберг, любил повторять: «Это случится, когда придет Мессия». И я не знала, говорит ли он серьезно, или со скрытой иронией. Хейфец не верит в приход Мессии. «Сначала надо восстановить нашу страну, а там видно будет». Открыто выступать против Мессии ему неудобно. Он может потерять уроки. Не у нас конечно. Папа и мама смотрят на такие вещи сквозь пальцы. Но у Хейфеца, кроме меня и Вовы, есть и другие ученики. Один из них из семьи, где по субботам не говорят по телефону. Хейфец мне жаловался, что они невероятно ортодоксальные. Мальчика я видела, он покупает у Александровского карандаши и оберточную бумагу. Иногда с ним приходит его сопливый братик, Утя, и требует, чтоб ему дали цветные мелки. Купить он их не может, у него нет денег. Мне жалко Утю, я готова подарить ему меловые карандаши, но моих средств хватает на полкоробки. Бедный Утя, пока я думаю

о нем, Вова и сын артиста продолжают спорить. Они договорились до того, что Вова назвал сына артиста претенциозным типом. Сын артиста не остается в долгу. Он говорит, что Вова — диктатор и советует ему переселиться в Южную Америку, где таких как он немало.

По конец сын артиста уступает, но с условием, что он сам будет рисовать виньетки. Вова отмалчивается. Он переводит разговор на бумагу. Ему бы хотелось издавать журнал на веленевой бумаге. Тогда я не выдерживаю. «Что это за таинственная бумага? Все говорят о ней, а я никогда ее не видела!». Вова возмущен до глубины души. Ему больно, что у него такая необразованная сестра. Он берет книгу с узенькой полки и тычет в нее пальцем. «Вот веленевая бумага!». Я страшно разочарована. Ничего веленевого я в ней не нахожу!

Еще разочарование, но не очень глубокое. Бывают и похуже. Когда Зиновий рассуждал об эмансипации женщины, я думала, что это, Бог знает, что. А потом мне объяснили и я была дико возмущена. Ведь об этом я твержу с утра до ночи. Одно время близнецы считали, что у меня навязчивая идея. Они где-то вынюхали, что есть такие идеи и могут кого угодно заподозрить. В отместку я их отчитала по всем правилам искусства. Но близнецы только пожали плечами: почему я так горячусь, тут нет ничего обидного! Навязчивые идеи были у многих великих людей. Например, у Мартина Лютера или у Коперника... Они могут привести в пример одного их близкого друга, его навязчивая идея — журнал. Они намекали на Вову. Это было слишком прозрачно. Но я ему ничего не скажу, какая бы буря не бушевала в моей груди. Терпеть не могу передавать неприятные вещи. Я не хочу, чтоб обо мне говорили, как о мадам Ашевской:

«Ах, она с таким удовольствием рассказывает о чужих болезнях. Можно подумать, что это ее хлеб!».

Вова сказал, что она ходит на все похороны и на кладбище стоит рядом с близкими родственниками. На следующий день она разносит по городу сплетни о том, кто сколько плакал и как вдова бросалась на крышку гроба. Своим живым знакомым она говорит, что они плохо выглядят. Им нужно серьезно подумать о здоровье. Но ее навязчивая идея — покойники. Как у кузины Мани — женихи-доктора. Других она не признает. Квартирная хозяйка опять имеет для нее ввиду доктора. Так сказала Матя. Он — вдовец с небольшой, но солидной практикой. Но почему квартирная хозяйка так хочет сбыть Маню с рук? Ведь она потеряет квартирантку. Вова смеется над моим незнанием жизни. Квартирная хозяйка совсем не бескорыстная. Она мечтает схватить куш. Но ей вряд ли удастся. Маня в последнюю минуту испугается и откажет вдовцу, как отказала остальным претендентам. Она боится себя продешевить.

Близнецы отравили меня навязчивой идеей и теперь я ищу ее у всех решительно. У Тани их две: Шуман и Бах. Она не знает, на ком остановиться. Незадолго до смерти дедушки мы с ней шли по Дерибасовской, и она вдруг прилипла к окну магазина Густавсона. Я думала, что она хочет посмотреть в магазине ли сам Густавсон, похожий на северного богатыря. Но нет, она увидела среди других нот светло-зеленый «Карнавал» Шумана. Таня впилась в него и я тут же мысленно дала себе слово, что куплю ей «Карнавал», когда у меня наберется достаточно денег. Я могу подарить его на день рождения. Тогда я, наверное, сумею выпросить у мамы. «Мне нужно для подарка!». В таких случаях мама не отказывает. Баха я ей не подарю, он слишком скучный.

Мне хотелось бы знать вовино мнение. Оно, ско-

рее, отрицательное. «Карнавал» не для маленьких девочек, это концертная вещь. Но я не могу отказаться от мысли о «Карнавале». Ничего, он полежит на этажерке с нотами и, когда-нибудь, Таня сыграет его с таким блеском, что слава Сахно померкнет. Мадам Трейн сказала, что у всех больших пианистов есть блеск. А те, кто его не имеют, могут спрятаться под стол. Ну, она всегда преувеличивает. Ее навязчивая идея — метрономы. Они могут развить чувство ритма до такой степени, что оно будет граничить с чудом. Так говорит мадам Трейн. А родители развешивают уши. Мать Гудулы настолько была потрясена, что купила Гудуле подержанный метроном. Моя мама в это не верит. Она стоит за практику. Надо играть полчаса в день и тогда можно достичь многого. Но она боится обещать мне золотые горы. Мама знает, что я умею бурно разочаровываться и меня трудно успокоить.

У нас появился новый сторонник метронома: Вова. Он собирается жевать под метроном. Тридцать шесть раз один кусок. Вова непрочь, чтоб и я жевала тридцать шесть раз, а то я заглатываю еду, как боа-констриктор. К счастью, вовино предложение провалилось. Можно жевать и без метронома. Нужна только железная выдержка. У Тани есть метроном, но он слава Богу, не действует: испортилась пружина. Метроном мирно стоит на столике, покрытом черным платком с бахромой. Таня недовольна, что я заплетаю ее в косички, а я не могу удержаться. И танины укоризненные глаза спрашивают: почему ты у себя дома не заплетаешь? Но мало ли чего я не делаю дома. Я там не отставляю мизинец, а в гостях иногда приходится.

И все от застенчивости. У Аси я сидела перед тарелкой с супом до тех пор, пока горничная не внесла блюдо, где гусиные лапки плавали в коричневом

соусе. Мой суп медленно застывал. Наконец, тетя Полина догадалась спросить, почему я не ем супа. — Что за новости? И тогда я с трудом выдавила: «Спасибо, у меня нет ложки»... Мне дали ложку и припадок застенчивости прошел в один миг. Чтоб загладить это, после обеда пошла на кухню и долго говорила с асиной кухаркой. Она собиралась дать мне рецепт ее замечательной вертуты. Потом она ни с того, ни с сего хлопнула себя по лбу: «Господи, с кем я разговариваю! Эта девочка может с ума свести! Все ей нужно знать». Но почему она говорит так, будто я отсутствую. Может быть асина кухарка считает, что я неодушевленный предмет. Больше я не пойду к ней на кухню. Хватит с меня и нашей. Конечно, могут быть неожиданности. За одну зиму переменилось три или четыре кухарки. Они говорят, что мадам слишком нервная. У нее то густо, то пусто. Они иногда заходят к Гене и чего только та не наслышалась? «Нет, она лучше будет прислугой за все, чем пойдет к таким господам». А для Гени прислуга за все, самое жалкое существо на свете. Все ею помыкают. Геня входит в свою роль и ей начинает казаться, что сейчас ее пошлют в лавочку или скажут, чтоб она вытирала посуду. А это страшное оскорбление.

От жалости к себе у нее спирает дыхание. Других она не жалеет. Они получают по заслугам. Вот прислуга портного Питкина. Она по целым дням сажает детей на горшок. И еще просит лавочницу, чтоб та отпустила в кредит банку с керосином. Питкин работает по ночам. Ему нужен свет. Геня издевается над питкинской прислугой. Это какая-то безмозглая дура. На ее месте она вылила бы весь керосин на голову Питкина. Но отца папиного корреспондента она жалеет. Несчастный старик! Его слезы отольются этим несчастным старым девам. Старуху-мать ей не жалко. Геня узнала через других прислуг с черного хода, что

она всегда держит сторону дочерей. Сына своего она считает дойной коровой, хотя он худой, как жердь и похож, скорее, на козла. У него острая козлиная бородка.

Вова сказал, что он хочет придать себе важность. Лично Вове нравятся бритые физиономии. Усики со стрелками кверху приводят его в ярость. Это пошло и неинтеллигентно! Но нет времени для обдумывания. Пришел Вениамин, и я должна его занимать. Он очень расстроен смертью дедушки. Вениамин ему многим обязан: дедушка внушал Вениамину, что он должен знать свое место. Ничего хорошего в этом не вижу, но мне стыдно критиковать дедушкины слова. Не успел Вениамин выразить сочувствие, как явилась Гитля-слон. На ней костюм, похожий на сарафан без вышивки. Гитля-слон сейчас же увела папу в коридор. Несмотря на закрытую дверь, можно было разобрать, что она жалуется на одиночество. Она бедная несчастная вдова с малюткой сыном на руках. С каких пор Авремл стал малюткой? Он гораздо старше меня! Но остановить ее невозможно. Я слышу, как щелкнул редикюль, значит, она вытащила носовой платок и сейчас разразится рыданиями... Папа не может этого допустить. Он ей что-то говорит и Гитля из слона превращается в кролика. «Конечно, конечно, она очень благодарна, она никогда не забудет...»

Я знаю, что папа никогда не оставит Авремля и будет ежемесячно давать Гитле-слону пособие. Но папа не любит фальшивых слез. Он всегда говорит, что думает и поэтому некоторые его боятся. Папа верит в царскую справедливость, а не во всеобщую. Он не социалист, как Зиновий, он фабрикант и собственник. На самом деле Зиновий гораздо больший собственник, чем мой папа. Несмотря на весь свой социализм Зиновий хотел бы жить в квартире со

всеми удобствами. Устроить ее должен его тесть, мануфактурщик, тоже собственник. А папа для других все устраивает, но сам ни разу в жизни не отдыхал. Я надеюсь, что не все социалисты похожи на Зиновия. Вова сказал, что многие из них на нелегальном положении и ночуют не дома, а у знакомых. Остальное время они проводят в тюрьмах. Конечно, есть изменники, вроде Герасима, и такие болтуны, как Зиновий. Они хотят уйти в подполье и почему-то не уходят.

Говорят, что один из наших учителей был в подполье, но потом он образумился. Не представляю себе, как можно образумиться. Раз ты революционер, то обязан оставаться им до самой смерти. Учитель преподает в старших классах, у него невероятно густые брови. Такие бывают у пиратов и у лесных разбойников. Глаз не видно, но Эсперанса их каким-то образом увидела и утверждает, что они как синие озера. Откуда на заросшем щетиной лице могут быть синие озера, известно одной только Эсперансе. Мне странно, что в понедельник я опять пойду в гимназию и увижу и Эсперансу, и лисичку из шестого класса, и всех моих соучениц. Они, наверное, с грустью смотрят на мою пустую парту и думают: «Бедная Надя...» А может быть я их идеализирую и никто не смотрит, а дочка доктора даже плюнула в мою чернильницу, чтоб я не зазнавалась! Все это догадки. В действительности дочка доктора не может мне простить, что на уроке пения я как-то ее перекричала. Она хочет быть первой по пению. Пациент ее папы, знаменитый, но никому не известный певец, сказал, что у нее от природы поставленный голос. Подумаешь, мой голос тоже от природы поставлен, и я этим не хвастаю.

ACHEVE D'IMPRIMER SUR LES PRESSES DE LA SOCIETE D'IMPRIMERIE PERIODIQUES ET D'EDITIONS, 32, RUE DE MENILMONTANT, PARIS (20e)
JUILLET 1973